

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН



СОБРАНИЕ ПОВЕСТЕЙ
И РАССКАЗОВ
В ОДНОМ ТОМЕ

Полное собрание сочинений (Эксмо)

Валентин Распутин

**Собрание повестей и
рассказов в одном томе**

«Эксмо»

2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Распутин В. Г.

Собрание повестей и рассказов в одном томе / В. Г. Распутин —
«Эксмо», 2018 — (Полное собрание сочинений (Эксмо))

ISBN 978-5-04-185973-2

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) признан классиком при жизни, его имя известно всему миру, его книги переведены на десятки иностранных языков. Трагизм и горькая правда его произведений, искренность сразу покорили сердца читателей. В книгу включены практически все рассказы писателя, многие из которых не переиздавали с 70-х годов, а также лучшие знаковые для творческого пути В. Распутина повести.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-185973-2

© Распутин В. Г., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Рассказы	6
Я забыл спросить у лешки...[1]	7
Человек с этого света	12
Глобус	16
Продается медвежья шкура	19
Мама куда-то ушла	24
Встреча[2]	27
Рудольфио	35
Там, на краю оврага	45
Старуха[3]	48
Мужчины[4]	51
В общем вагоне	56
День рождения	63
Василий и Василиса	70
Уроки французского	84
Что передать вороне?	100
Наташа	111
Век живи – век люби	117
Не могу-у...	136
Слух	141
Тетка Улита	145
В одном сибирском городе	149
Сеня едет	157
По-соседски	162
Красный день	175
Россия молодая	177
В больнице	184
Конец ознакомительного фрагмента.	185

Валентин Распутин

Собрание повестей и рассказов в одном томе



Фотография на корешке:

© Петр Петрович Малиновский / РИА Новости.



© Распутин В.Г., наследники, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Рассказы

Рассказы расположены в хронологическом порядке. В тех случаях, когда авторская датировка неизвестна, ее заменяет дата первой публикации, которая помещается в угловые скобки. Из нескольких редакций воспроизводится последняя с указанием на раннюю (или ранние).

Я забыл спросить у лешки...¹

Мы вошли в город уже утром. Он стоял спокойный и выспавшийся, но мы уже ничего не замечали, ничего не слышали и не чувствовали. Мы шли посреди дороги, нас обгоняли машины, не сигналив, не требуя посторониться, на нас оборачивались люди и, остановившись, провожали нас долгими, внимательными взглядами, какие появляются у человека только при встрече с несчастьем. Носилки уже не казались тяжелыми, спать не хотелось, усталости не было – было лишь липкое и тяжелое равнодушие, которое подчинило себе все наши мысли и чувства. Если бы Андрей упал сейчас на дорогу и закричал или стал биться головой о камни, я бы нисколько не удивился и с тупым безучастием стал бы ждать, чем все это кончится.

Мы не знали, где в городе больница, но мы и не спрашивали о ней. В таких случаях больница сама должна выйти навстречу человеку. Мы не торопились. Было поздно торопиться, и у нас не было сил – все убила дорога, длинная и холодная, и то, что случилось в дороге.

Еще год назад мне нередко снились сны, страшные, как несчастье. Когда я просыпался и находил себя целым и невредимым, я вытягивал перед собой руки и начинал сжимать и разжимать кулаки, словно проверял таким образом, действительно ли со мной ничего не случилось. Быть может, и это тоже сон, слишком затянувшийся только потому, что я никогда еще так не уставал? «Если это сон, – решил я, – я ни за что не смогу вспомнить то, что произошло за последние сутки».

Нет, я все это помню. Утром, к восьми часам, мы подошли к тому месту, где обрывалась дорога, которую мы вели, но никого еще не было, и мы уселись на поваленное дерево и стали ждать.

– Кому ты вчера писал письмо, Лешка? – спросил Андрей.

– Матери.

– А Ленке?

– Она еще не ответила.

Лешка замолчал, а я подумал, что Андрей мог бы ни о чем и не спрашивать, раз Лешка сам пока ничего не знает.

Это случилось примерно через час после того, как мы начали работу. Я стоял в стороне и все видел. Сосна была очень высокая: все время, пока пила вгрызалась в ее тело, она дрожала мелкой, боязливой дрожью, потом смирилась, успокоилась, слегка поклонилась своей зеленой остроконечной шапкой в ту сторону, куда ее хотели повалить, и вдруг, будто спущенная пружина, рванулась обратно, туда, где Лешка вырубал кустарник. Я слышал, как кто-то из пильщиков крикнул коротким и сильным, как удар боксера, криком. Земля глухо ойкнула и сразу же замерла, будто приготовившись к новому удару. Лешки не было. Я прыгнул и еще в прыжке увидел, как он вскочил с земли, но к нему со всех сторон уже бежали люди.

Лешка стоял перед нами, глупо улыбаясь, смущенный тем, что из-за него все побросали работу.

– Пустяки, – забормотал он, виновато краснея, – веткой задело. Пустяки. Вы не беспокойтесь. Я не знаю, почему упал, наверное, от страха. А так не больно.

И все сразу заулыбались и заговорили, все, кроме мастера, который выругался сочным, как луковица, ругательством и пригрозил вместо обеда накормить нас правилами по технике безопасности.

Через десять минут мы все разошлись по своим местам, а еще через полчаса ко мне подошел Андрей и сказал, что с Лешкой что-то неладно. Лешка сидел на той самой сосне, кото-

¹ В ранней редакции рассказ носил название «Я забыл спросить у Алешки» (Ангара. 1961. № 1. С. 84–88).

рая сбила его с ног, и, задрав рубашку, смотрел, как синий круг медленно, словно чернильное пятно, расплзается по животу.

– Что, Лешка? – спросил я.

– Ничего, ребята, ничего, – Лешка торопливо опустил рубашку. – Ноет немножко, но до обеда пройдет. Честное слово, я знаю, у меня всегда так. Это не опасно, вы идите, а я посижу чуть-чуть и буду помогать вам. Идите, ребята, идите.

Мы пошли к мастеру. Тот поднял на лоб свои медвежьи брови и плотно придавил одну к другой губы. Он молчал минуты две, потом сказал, что до больницы почти пятьдесят километров, а трактор все равно должен работать, если бы даже свалилась половина бригады.

Андрей рассердился.

– Мы все трое из одной школы, – сказал он как бы некстати, но мастер понял его и, кажется, даже обрадовался тому, что выход найден.

– Вот вы и пойдете. Возьмите с собой плащпалатку и топор.

Мы уходили, когда солнце забралось уже высоко и горело вовсю. Лешка долго не хотел ничего и слышать о больнице, пока Андрей не прикрикнул на него и не сказал, что здесь с ним придется возиться всей бригаде, а работа будет стоять. Этого Лешка не мог перенести, он всегда боялся быть для кого-нибудь помехой или обузой. Но ему как будто и в самом деле стало лучше, и он без видимого труда шел рядом с нами.

На тридцать километров растянулась эта дорога. Два с половиной месяца тащили мы ее, с трудом поднимая в горы и так же с трудом спуская вниз, в сырость мхов и кочек. Теперь тридцать километров нам предстояло пройти сразу, единым махом, чтобы выбраться на другую, ровную и твердую дорогу, по которой до больницы было еще около двадцати километров.

Сначала мы шли молча. Лешка, наверное, думал о Ленке или злился на себя за то, что пришлось бросить работу, а Андрей... я не знал, о чем думал Андрей: он всегда был не слишком понятен нам, хотя мы и считались друзьями. Он любил то, что не любили другие, и он думал и говорил о том, о чем, казалось, никак нельзя было в эту минуту думать или говорить. Мы знали, что это идет у него вовсе не от желания казаться оригинальным и непохожим на других, а от того, что он такой и есть. И на этот раз он тоже вспугнул наше молчание фразой, которую мы с Лешкой совсем не ждали.

– Будем считать, что коммунизму не повезло, – неожиданно сказал он. – Сегодня один из его строителей потерпел аварию. М-да. – Он засмеялся и повернул к нам свое лицо с прищуренными глазами. Я видел, что это только приманка, чтобы подвести нас к старому, еще школьному спору, который мы не трогали с тех пор, как приехали сюда, но Лешка, видимо, этого не понял.

– Пустяки, – виновато сказал он, употребив свое любимое словечко, которое у него всегда звучало, как «простите», – один человек ничего не значит.

– Как не значит?! – обрадовался Андрей. – Граждане! Немедленно вводите поправки в свои вычисления. Коммунизм запаздывает. Сбавил скорость, уважаемые граждане. Сегодня на голову одного из его лучших строителей свалилось дерево. Здоровье пострадавшего пока вне опасности, но бесплатная выдача продуктов и товаров широкого потребления из магазина задержится.

– Ну, что ты говоришь? – Лешка сморщился не то от раздражения, не то от боли. – Коммунизм, коммунизм... нашли себе носовой платок. И ты туда же. Я бы на месте правительства специальное постановление принял: не веришь – не смей трепать это слово, не для тебя оно.

– И ты тоже надеешься дожить до него, до этого коммунизма?

– И я надеюсь. А почему бы и нет?

– Ребенок ты. Как ты понять не можешь, что все это далеко-далеко, вот как солнце в пасмурную погоду – где-то есть, а не видно, не светит и не греет. Это тебе не поездом из Кубани в Сибирь приехать.

– Я знаю. Только ты-то зачем сюда ехал, если не веришь в это? Оставался бы себе дома, поступал в институт...

– Видишь ли, мы с тобой говорим на разных языках. Для тебя дорога, которую мы ведем, – это дорога в коммунизм, никак не ближе, а для меня она то, через что надо пройти, чтобы стать человеком. Я хочу быть сильным, крепким человеком. На Северный полюс меня не возьмут, вот я и приехал сюда, где есть звери, где тебе на голову может свалиться лесина, где люди живут в палатках, кормят комаров и всякую таежную гадость.

Если я пройду через это и выдержу, а потом еще пройду через две-три такие же дороги, я смогу уважать себя и идти куда угодно. Понятно тебе?

Лешка не успел ответить. Он вдруг сразу, в одно мгновение, задохнулся чем-то страшным и вытянул вниз подбородок, чтобы не закричать. Это было то же самое, как если бы человеку вонзили нож в спину в ту минуту, когда он мечтал о чем-то хорошем. Лицо у человека еще улыбается, а сам он уже скорчился от боли. Я подхватил Лешку и осторожно опустил его на землю. Он вытянулся во всю длину и стал судорожно, обеими руками разглаживать свой живот, быстро водя по нему ладонями взад и вперед. Я сбросил его руки на землю и поднял рубашку. Среди океана синевы только кое-где виднелись островки белой кожи, да и то они заметно темнели, будто подмытые снизу водой.

– Горит! – выдохнул наконец Лешка, быстро, одним словом. Он немного помолчал и добавил с выражением чтеца, почти восхищенно, но сквозь зубы: – Ух, до чего здорово горит-ит!

Андрей молчал. Он, как и я, тоже испугался, и мы понимали, что теперь нам будет не до споров о коммунизме, что у Лешки что-то страшное, а что – мы не знали. Мы только видели синеву на его животе, мы только понимали, что ему как можно скорее нужен врач.

Через полчаса мы пошли дальше. Андрей шел впереди, я сзади. Лешку мы несли на носилках, сделанных из плащпалатки и двух палок. Он тяжело дышал, вздрагивая всем телом. Одна нога у него была заброшена за палку, а другая настойчиво пыталась достать землю, но это ей никак не удавалось, и она маятником качалась в воздухе.

Мы не были виноваты в том, что с Лешкой случилось несчастье, но мы ничем не могли ему помочь, и это нас больше всего удручало. Мы видели: ему плохо, очень плохо. Мы знали: это страшно, это игра в прятки со смертью, когда ищет смерть и нет ни одного надежного места, куда можно было бы спрятаться. Вернее, такое место есть – это больница, но до нее далеко, еще очень далеко.

Мы все шли и шли. Мы уже давно устали, но страх заставил нас забыть об усталости и гнал вперед. Я видел только, как качается Лешкина нога, я видел перед собой спину Андрея и деревья, высывающиеся из-за нее, видел, как катится под меня дорога, – больше для меня ничего не существовало.

– Я в самом деле, ребята, не смог бы больше идти, – неожиданно сказал Лешка слабым, будто подпиленным голосом, и я увидел его открытые глаза, которыми он пытался улыбнуться.

– Молчи! – потребовал Андрей.

– Нет, давайте лучше говорить, – попросил Лешка. – Ты говори, Андрей, и ты, Витя, тоже говори. О чем угодно, но говорите, пожалуйста. Так легче. Ну, давайте дальше о коммунизме. Ты не прав, Андрей, честное слово, не прав. Это не так далеко, как ты думаешь. Это ближе. И ты веришь в это, я же знаю, что веришь. А наговариваешь на себя. Ну, скажи, веришь или нет?

– Верю, – нехотя согласился Андрей. – Но все равно – это очень далеко. Глупо было бы совсем не верить. Это как дерево, пока еще маленькое, но оно обязательно вырастет в громадину. Только за ним нужен особый уход... А у нас сколько угодно людей, которым на все это наплевать.

– Но ведь их мало, – возразил я.

– Не так уж и мало. В том-то и дело, что немало. Взять хотя бы нашего мастера. От него, если говорить откровенно, пользы для этой дороги в десять раз больше, чем от тебя, от меня и от Лешки, вместе взятых. Он специалист, а мы, мальчишки, сразу после школы. Но не дал этот мастер трактор сегодня, чтобы увезти Лешку. У него план, он для коммунизма работает, а человек хоть подыхай. Вот так. А то, что он этим самым свинью коммунизму подложил, он ни за что не поймет.

– Ребята, положите меня, – попросил вдруг Лешка, оттягивая вниз подбородок.

И снова мы стояли и смотрели, как он водит по животу руками, будто растирает мазь. Лешкино лицо от боли покрывалось потом, но он не кричал, не метался, а только часто дышал, отчего тряслось все его тело.

Когда схватки боли кончились, мы опять взяли за носилки, только теперь впереди шел я.

– Говорите, ребята, говорите, – долетает до меня шепот Лешки, и я слышу за спиной его учащенное дыхание. – Говори, Андрей, ты хорошо говорил. Только не надо так зло. Ты говорил со злостью. Не надо злиться. Ну, Андрей.

Андрей молчит. Я понимаю его. Трудно в такую минуту говорить, особенно когда просит он – не я, а он, – гораздо легче закричать на весь лес и сломя голову бежать и бежать, пока не выбьешься из сил и не упадешь.

– Андрей! – зовет Лешка.

Андрей молчит.

Тогда начинаю говорить я. Я путаюсь и говорю первое, что мне приходит в голову. Но мне легче: я не вижу ни Андрея, ни Лешки. Мне в тысячу раз легче, чем Андрею, потому что я не вижу Лешки. Я иду впереди.

– Коммунизм, – говорю я. – Конечно, будет коммунизм. – Я даже пытаюсь говорить спокойно, чтобы поддержать себя. Ясно, будет. Только мне вот что непонятно. Вот когда ставят новый завод, на его здании записывают имена лучших строителей. Электростанцию – то же самое. А как быть, когда люди построят коммунизм? Ведь это только так в газетах пишут – светлое здание коммунизма, а здания-то никакого не будет. Куда люди будут вписывать имена лучших строителей коммунизма? Как ты думаешь, Лешка?

– Чудак, – шепчет он, и я невольно укорачиваю шаг, чтобы услышать его. – Все тут очень просто. Ведь строители заводов и электростанций – это и есть строители коммунизма. Зачем им еще ставить памятники и записывать их имена на какую-то другую стену? О них книги напишут.

Я молчу. Я все это прекрасно знаю, и мне совсем не хочется сейчас мечтать и говорить о коммунизме. Мне просто нужно было слышать Лешку, чтобы узнать по его голосу, как он себя чувствует.

– Ребята!

Мы опускаем носилки. И опять все то же, но с каждым разом этот вынужденный отдых становится все длинней и длинней. Потом снова идем. Андрей впереди, я позади.

– Не молчите, ребята, не молчите. Я прошу вас. Мне надо слушать вас. Больно, понимаете, больно. Горит.

Теперь мы знаем, о чем нужно говорить, и мы будем говорить теперь только об этом. И мы говорим. О том, что зря люди стыдятся мечтать о коммунизме, о том, что надо бить всякого, кто хихикает: «Терпи – при коммунизме все будет бесплатно».

– Ребята!

Солнце не выдержало и ушло. Не в силах помочь нам, оно упало за лес. День, свернувшись шариком, укатился. Ему было жаль нас, но его время кончилось. Наступила темнота. Деревья, тесно прижавшись в страхе друг к другу, молчали. Небо, как халат фокусника, горело

звездами. Небо было чистое, звездам нечем было закрыться от нас, и они, вынужденные без конца смотреть на то, как мучается Лешка, испуганно дрожали.

Лешка метался по носилкам, бредил.

– Хватит! – кричал он. – Хватит! Отодвиньте костер. Палатка сторит, отодвиньте костер. Жарко! Идиоты! Э-э-эх!

Его руки ползали по животу, а ноги, свесившись, загребали воздух. Я шел опять позади, и мне было труднее, чем Андрею.

Потом Лешка умолк, но через несколько минут заговорил снова, и его голос теперь звучал спокойно и ласково.

– Это ничего, – говорил он. – Это пустяки. Ты напиши. Я жду и жду. Тише. Я хочу поговорить с ней. Тише, я вас прошу. Я не видел, что оно падает. Неужели ты в самом деле не слышишь? Слышишь? Странно. Я говорю, а ты не слышишь. Я тоже не слышал. Если бы я слышал... Я не слышал. Слышишь? Вот теперь слышишь, да?

И Лешка улыбнулся.

А мы шли и шли, разрывая ночь. Мы запутались в ней. Мы устали. Мы молчали. Но Лешка не молчал. Никогда еще он не говорил так много. Он то кричал, когда боль хватала его за горло, то переходил на шепот, когда она отпускала. Он разговаривал и с матерью, и с Ленкой, и с нами.

Когда он разговаривал с нами, мы все равно молчали. Хотелось отвечать ему, но мы знали, что он не услышит. И мы шли молча.

Потом показалась река, и мы свернули на твердую дорогу. Осталось около двадцати километров. Лешка молчал. Мы даже не заметили, как стих его шепот. Мы думали, что ему стало легче. Дорога рвалась то в одну, то в другую сторону, но мы находили ее и старались придавить к земле ногами. Я устал. Я здорово устал. «Неужели ты не сделаешь еще один шаг, – думал я, – всего один шаг?» И я выбрасывал вперед одну ногу, потом другую. Правую и левую. Одну и вторую.

Лешка молчал.

И вдруг нам стало страшно. Мы остановились и положили носилки на землю. Андрей взял Лешку за руку. Он держал ее и смотрел на меня. Лешка не двигался. Я не поверил. «Не может быть! – кувыркнулась в мозгу мысль. – Он просто спит». Я медленно опустился перед Лешкой и взял его за руку. Она была послушной и мягкой и уже не пульсировала.

Мы поднялись одновременно. Мы не кричали и не плакали. Мы стояли караулом с обеих сторон возле Лешки и молчали. Я смотрел в ту сторону, где спал город, и я думал о том, что сегодня нам придется отправить Лешкиной матери телеграмму; которая сразу, одним ударом, собьет ее с ног, а через несколько дней придет письмо от Лешки. И она много раз будет приниматься за него, прежде чем дочитает до конца.

Я помню все, помню до боли ярко и точно все мелкие линии подробностей, но я не помню сейчас, кто из нас первый лег рядом с Лешкой. Мы устали. Мы лежали на земле, сдавив его между собой, крепко-накрепко.

Рядом всхлипывала река. Луна, вытаращив свой единственный глаз, не отводила от нас взгляда. Слезливо мигали звезды. А мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, трое друзей, приехавших в Сибирь строить коммунизм.

Потом стало холодно, и я растолкал Андрея. Мы бережно, не говоря ни слова, подняли носилки и пошли. Впереди Андрей, позади я. Светало. Я неожиданно вспомнил о том, что еще забыл спросить Лешку, будут ли знать при коммунизме о тех, чьи имена не вписаны на зданиях заводов и электростанций, кто так навсегда и остался незаметным. Мне во что бы то ни стало захотелось узнать, вспомнят ли при коммунизме о Лешке, который жил на свете немногим больше семнадцати лет и строил его всего два с половиной месяца.

<1961>

Человек с этого света

Лохмотья осеннего рваного ветра хлещут ее по лицу, и она уходит в юрту, поставленную рядом с домом. Она разжигает там костер и часами молча сидит перед ним.

Накипи белого зимнего ветра пенятся вокруг нее, а ей мерещится хриплое дыхание собак и замершие, прищуренные глаза, ищущие мушку.

Волны весеннего обмелевшего ветра плещутся возле нее, но она отворачивается от них, чтобы брызги с дальних гор не попали ей в лицо.

Шорохи летних вечерних ветров кружат возле нее, но она плохо слышит их голоса и молчит, перебирая глазами неровные ряды хребтов, уходящих вверх по Кара-Бурени в далекую Туву.

Ветры, ветры, ветры... Но это не ее ветры. Она уже отдышала своими, отходила по ним, и то, что им суждено было с ней сделать, они сделали добросовестно. Теперь другие люди разжигают в тайге костры и прокладывают тропы по снегу и камням, и это за ними гоняются ветры, раскручиваясь, как пружины. Там, где нет человека, нет и ветров – они рождаются из нашего дыхания, когда мы поднимаемся в гору и нашим легким не хватает воздуха. Поэтому она не верит ветрам, дующим ей в лицо, – они летят к другим, а на нее наталкиваются случайно и тут же, спохватившись, бросаются дальше. Это чужие ветры, а все ее собственные, родившиеся на дальних и близких тропах, остались в ней самой и стучат, как второе сердце. Одного сердца на восемьдесят трудных таежных лет ей бы, пожалуй, не хватило.

В ее представлении год – это замкнутый круг, в котором левая нижняя часть занята зимой, а левая верхняя – весной. Дальше, как и следует по порядку, идут лето и осень. Вот так и кружатся годы над человеком с их ветрами, снегами, дождями, накладывая на него, как на дерево, с каждым кругом свое кольцо. Только у человека, как ей казалось, эти кольца не расширяются, а сужаются. Они становятся все меньше и меньше, пока не кончается нить, и тогда, как затянутая петля, в самом их центре получается только точка.

Однажды она попыталась расчертить свою жизнь по этой схеме. Тонкой, заостренной на конце палкой она проводила на снегу один круг так близко возле другого, что они почти сливались. Ей не казалось это плутовством или обманом: с ее годами происходило то же самое. Каждую осень она уходила в тайгу, и все шло по раз и навсегда заведенному порядку – на ее лице прибавлялись морщины, в горах прибавлялись тропы, в жизни прибавлялись годы. Морщины разрисовали ее лицо, как карту, на которой все меньше и меньше остается белых пятен, тропы, как нити, сшивали горы, а годы, как раны, делали ее тело все тяжелей и болезненней. Но она не смогла бы охотиться над ним в кровати и каждую осень уходила в тайгу.

...Вздрагивали олени, собака еще в прыжке подхватывала убитого зверька, а на ее лице, лице охотницы, появлялась удовлетворенная улыбка, которая проступала через усталость и напряженность. Это была счастливая минута, но ветер легко уносил ее дальше, а к ней приносил и новые минуты и новые заботы. Провожая первые и развязывая, как узлы, вторые, она не всегда чувствовала между ними кровное, извечное родство, но так или иначе ей приходилось ощущать тяжесть времени, потому что весь свой груз оно приносило к ней.

– О-хо-хо, – спокойно говорила она тогда и, с трудом раздвигая снег, шла от одной горы к другой, от одного дня к другому, от выстрела к выстрелу. Потом приходила весна, и она уезжала в оленье стадо.

...Через два часа олененок поднимался, а еще через два – уже мог бегать, смешно вздрагивая задними ногами. Она – теперь телятница – завидовала тому, как быстро он осваивается в этом мире. Его сразу же приходилось привязывать к длинной жерди, лежащей на земле, чтобы он, повинувшись зову своих диких предков, не ушел в тайгу. А он рвался в лес, не понимая того, что потом пятнадцать-двадцать лет своих будет вытаптывать тропы, вбивая копытами в

землю камни. Ей было грустно думать об этом, но она вспомнила костры на снегу и ветры, с хозяйской суровостью ведущие счет горам. Все это без оленей потеряло бы для нее всякий смысл. У оленя, как и у человека, тоже, наверное, есть свои ветры, и то, что предназначается ему как жалость, быть может, стало бы для него гордостью. Если считать его только выючным животным, то и себя тогда придется принимать всего лишь за погонщика. А в тайге гордость необходима так же, как спички и хлеб. Против месяцев одиночества и их тяжести приходится выставлять свое оружие.

Горы для человека постороннего, не привыкшего к ним, сливаются только в длинные и утомительные подъемы. Она родилась в горах, и они стали для нее тем же, чем город для горожанина. Горы напоминают ей юрты, в которых еще совсем недавно жили тофалары. В горах трудно, но то, что каждую осень она уходила на промысел и каждую весну уезжала в стадо, не прошло бесследно. По ее тропам идут теперь люди, знающие, как строить города. И это к ним летят сейчас ветры. А ее годы кружатся все быстрее и быстрее.

– О-хо-хо, – спокойно говорит она.

Тогда на снегу она проводила один круг так близко возле другого, что они почти сливались. Она никого не обманывала: человек, занятый всю жизнь одним и тем же делом, плохо запоминает повороты своих лет. Все они, как старые знакомые тропы, уводили ее в тайгу. Не напрягая памяти, она едва ли вспомнила бы более четырех-пяти самых значительных событий. А все остальное где-то потерялось. Но был в ее жизни один год, который настолько не походил на все остальные, что выбивался из обычных представлений о времени. Теперь, вспомнив о нем, она остановилась и задумалась, так и не доведя кольцо до конца. Изобразить его в виде обычного круга ей казалось несправедливым.

В тот памятный год ее, как одну из лучших охотниц колхоза, повезли в Москву. Сначала у нее было такое впечатление, будто человека здесь ставят с ног на голову и в таком положении показывают ему самые диковинные вещи. Этот мир был для нее сказкой, которую ей раньше никто не рассказывал. Насколько внимательно следят за каждым человеком горы, настолько город делает все возможное, чтобы не замечать его и показывать самого себя. Быть может, она могла бы на это обидеться, но, плохо осознанное, это чувство оставалось на задворках ее внимания и никак не могло пробиться ближе из-за громадной очереди новых впечатлений. Они были по-городскому расторопнее и, без всяких объяснений и извинений, заполнили ее всю, не подпуская к ней больше никого из посторонних.

– О-хо-хо! – тысячу раз в день изумлялась она, прищелкивая языком.

Но самое главное случилось в тот день, когда она встала в очередь в Мавзолей. О Ленине она узнала уже после его смерти, и он долго оставался в ее представлении громадным, необыкновенной силы человеком, который в лохматой папаше и с поднятой саблей в руке мчится в бой. Ей казалось, что никакой другой человек не смог бы победить царя. Со временем ей пришлось изменить свое представление о нем, и все-таки она не до конца верила портретам Ленина: ей все казалось, что люди путают его с кем-то другим, тоже, быть может, очень уважаемым и мудрым человеком, который живет сам по себе. Когда ее пригласили в школу и попросили рассказать ребятишкам о старых недобрых временах, она поднялась, долго молчала, словно собираясь с мыслями, и наконец тихо, с чувством сказала:

– Ленин хорошо думали и хорошо делали. Теперь ребятишкам ладно стало и старикам ладно стало.

Она подняла голову и прислушалась, но никто ничего не сказал, и тогда она решительно, словно поставив точку, добавила:

– Вот...

Это означало, что не надо много говорить о том, что для человека свято и неоспоримо. Из нехитрого жизненного опыта она знала: всякие излишества тем и вредны, что от них, как от головокружения, земля вертится сразу во все стороны.

И вот теперь она идет к Ленину. Медленно и осторожно, словно боясь разбудить спящего, движется молчаливая очередь. Это молчание сотен людей кажется глубоким и сильным, будто специально для него отведена вся Красная площадь.

Сама она испытывает новое, неведомое ей в горах чувство: а правда ли, что это случится, неужели ничто не помешает и через час, через полтора она увидит Ленина. Дом у него хороший, – думает она. – Наверное, колхоз, который в Москве стоит, такой дом построил? За последние годы всякое проявление заботы она привыкла связывать с колхозом, и даже город, поколебавший многие ее представления о мироустройстве, так и остался для нее большим колхозом, председателем которого очень долго был Ленин. Она знает, что значит хороший председатель. Когда его нет, то колхоз – как богатая тайга, в которой позволяют промышлять браконьерам. На следующий год там ничего не будет.

– Правда, правда, – шепчет она, покачивая головой.

Но дальше думать об этом уже поздно. Она вдруг замечает, что люди впереди нее, чтобы замедлить шаги, начинают ставить шире ноги. Она воспринимает это как некий обряд, который можно и не исполнять. Видно, шаманы раньше были всюду. И она останавливается, чтобы лучше рассмотреть Ленина. Ее легонько подталкивают, но она, не оборачиваясь, с досадой говорит:

– Ты иди, я, однако, маленько побуду. Мне шибко сказать надо.

Ей кажется, что Ленин совсем незаметно кивает ей головой. Видно, за долгие годы ему надоели длинные бессловесные очереди, и теперь он рад случаю поговорить с человеком, который пришел к нему не из любопытства, а по делу. Правда, оно не слишком важное и с успехом могло бы решиться где-то в другом месте, но она, как паспорт, все-таки принесла его сюда.

– Я тофаларка, – говорит она.

И снова ей кажется, что Ленин опять кивает головой: мол, знаю, это совсем маленькая народность в Саянах, которой раньше предрекали вымирание.

– Там леса, леса и горы, – продолжает она. – Но там тебя все знают.

– Проходите, – негромко, но решительно требует сзади чей-то голос.

Она смотрит на задумчивое, загруженное заботами лицо Ленина и, кивая сама себе, говорит:

– Ты, однако, себя береги. Ты один, ты не давай из себя много человек делать.

После этого, заторопившись, она выходит. Ей кажется, что большой и непонятный город теперь стал ей ближе, словно она приобщилась к одному из его таинств. Она поняла, что тот, у кого она только что побывала, – это не бог, на которого молятся, а друг, благодарность к которому бьется вместе с сердцем. И это совсем не плохо, если человек не всегда чувствует работу своего сердца. Значит, оно нормальное и здоровое.

С тех пор прошло много лет. Говорят, что для каждого человека время имеет свой рисунок. Для поэта оно – еще не написанное, самое лучшее стихотворение, для матери – ее совсем уже взрослые дети. Это понятно: мы ждем от будущего то, чего нам не хватает в настоящем. Но для нее с тех пор как она вернулась из Москвы, время постепенно стало терять свою роковую силу, которой она его раньше наделяла. Случилось что-то непонятное: оно обрело реальность и спустилось со своих заоблачных высот на землю к человеку.

Теперь она, уходя на промысел, почти физически ощущала каждый день, и он, как сума, стал для нее тем, что необходимо наполнить чем-то полезным и ценным. И если раньше ей казалось, что человек, не поспевая, гонится за временем, а оно, не обращая на него внимания, все крутится и крутится, то сейчас они идут рядом только потому, что человек помогает времени не отстать. Что-то случилось. Что? Наверное, самым величайшим ученым был тот, кто рядом с одним человеком открыл другого, который ведет за собой время. И этим ученым был для нее Ленин.

Недавно из Москвы вернулся ее сын. Теперь это проще – сел и полетел. Когда он кончил рассказывать обо всем, что видел и слышал, она позвала его на улицу и там, как великую тайну, шепотом спросила:

– А скажи, Ленин не постарел?

Ее сын, не понимая, забормотал:

– Что? Что ты говоришь?

– Скажи, Ленин не постарел? – переспросила она.

Он, опешив, замотал головой: нет, нет, все такой же.

И она успокоилась. Все правильно: он, победивший время, стал сильнее его.

Она снова и снова выходит на солнечный день, и солнце без труда высвечивает спокойное и мудрое лицо старухи, постигшей смысл жизни.

Ее гладят весенние ветры...

Вокруг нее кипят зимние ветры...

А потом улетают дальше. Это уже не ее ветры.

<1964>

Глобус

Маленький школьный глобус поставили на книжный шкаф и забыли о его существовании. Шли годы, и на глобус все больше и больше оседала пыль, – она завалила весь земной шар, как еще один вид атмосферных осадков, сквозь которые с трудом проступали его голубая и коричневая окраски: по Нилу и Амазонке текли теперь мутные, грязные воды, над Кордильерами и Кавказом постоянно висели серые туманы. Волга почти совсем пересохла, а на равнинные, плодородные прежде земли всюду наступали пески. То, что раньше было параллелями и меридианами, теперь напоминало морщины – старческие морщины вдоль и поперек лица, которое многое повидало, совершив не одно кругосветное путешествие.

Книжный шкаф стоял у высокого окна, настолько высокого, что оно доходило до самого Северного полюса – до Северного полюса маленького глобуса, забытого на книжном шкафу. Только окно и скрашивало существование глобуса: в него была видна широкая городская улица, на которую падали снега и дожди и по которой, сменяя друг друга, уходили и возвращались времена года. Весной вдоль тротуаров рядами стояли зеленые и большеголовые, одинаково подстриженные, как суворовцы, тополя; летом улицу заливало солнце, которое прерывали только короткие ночи и короткие дожди; осень, добрая и чуть грустная, была похожа на лоточницу на углу, продающую фрукты, а зиму, словно опасный перекресток, люди торопились пересечь чуть ли не бегом. Глобус, этот маленький макет Земли, старался во всем подражать планете: когда по комнате ходили и книжный шкаф вздрагивал от шагов мелкой дрожью, глобус медленно вращался вокруг своей оси, стараясь быть верным хотя бы во временах года – летом в окно выглядывала Африка, знойный полдень Земли, а весной – Южная Америка. Он вращался очень медленно и осторожно, словно боясь, как бы на книжный шкаф не вытекла какая-нибудь небольшая река Европы или не сорвался и не утонул в Тихом океане какой-нибудь одинокий остров. Глобус не имел права потерять ни одной капли воды и ни одной частицы земли, он был крохотным шариком, сотворенным по образу и подобию планеты, шариком, на котором должна быть видна каждая родинка.

Шли годы, а он все стоял и стоял на книжном шкафу и, словно в зеркало с тысячекратным уменьшением, смотрел в окно. Казалось, он видел самого себя – все было то же самое, только в других измерениях. Прошрое, стекая вниз, образовало подставку, на которой глобус обрел устойчивость, а будущее застыло внутри – как неоткрытое, загадочное вещество. Со временем подставка становилась все больше и больше, а глобус, будто шар, из которого неслышно выходит воздух, постепенно сжимался. Всякая жизнь – это песочные часы, которых перед нами нет: прожитое стекает вниз, будущее остается наверху, а то, что проходит через узенькое горлышко между двумя колбами, – это и есть настоящее – вот оно уже упало, повинувшись закону земного притяжения. Узенькое-узенькое горлышко, способное пропускать лишь песчинки, но это горлышко песочных часов и песчинки падают, падают, а мы по своим ходикам и будильникам определяем только время суток – время обеда, время сна, время работы.

Хозяин комнаты, тот самый человек, который когда-то мальчишкой учил по глобусу географию, заводил будильник всегда на одно и то же время, чтобы перед работой успеть послушать утренние последние известия. Он включал радиоприемник, искал нужную ему волну, и в комнате, как в центре земного шара, раздавались голоса из самых разных стран и с разных континентов. Диктор называл страны – казалось, что это не диктор, а сама планета Земля объясняет маленькому глобусу, стоящему на книжном шкафу, что случилось на ее территории, что случилось на его территории за последние сутки. Человек ходил по комнате, из радиоприемника звучали голоса, и глобус вздрагивал от шагов и голосов – от тревожных шагов и тревожных голосов. Потом человек уходил на работу, а глобус, опершись на подставку, застыл перед окном: солнце поднималось и опускалось, дни, как спички, вспыхивали и гасли, и люди

торопились туда и обратно: человеку всегда приходится возвращаться – домой, на работу, к исходным рубежам, к своей нулевой отметке.

Человек возвращался, снова включал радиоприемник и слушал вечерние известия. Земля, как роженица, страдала от боли и мечтала о счастье, и все это доносилось сюда, в небольшую комнату, по которой тревожными шагами ходил человек и где на книжном шкафу стоял маленький глобус.

Но однажды человек стал искать на книжном шкафу какую-то книгу и увидел глобус.

– Мой глобус! – радостно и удивленно воскликнул он. – Мой маленький глобус! Как же это я о тебе забыл!

Он сходил за тряпкой, стер с глобуса пыль, и земной шар сразу ожил и засиял всеми своими красками. Реки, как кровеносные сосуды, снова потекли в самые разные концы планеты, над Тихим океаном взошло солнце, на северных и южных, западных и восточных полях зазеленели всходы. Глобус приподнялся над подставкой, как над ненужным постаментом, и легонько качнулся, словно собираясь взлететь и продолжать движение по своей орбите, – казалось, он торопится снова в дорогу, чтобы не опоздать и ровно за 24 часа сделать полный оборот вокруг своей оси.

– Мой маленький глобус! – повторял человек. – Моя маленькая Земля! До чего же ты, оказывается, красивая!

Он держал перед собой глобус и улыбался, он казался себе первооткрывателем этой удивительной планеты, о которой до сих пор никто не знал. Но вдруг, спохватившись, человек взглянул на часы и включил радиоприемник. Комната наполнилась голосами, и эти голоса вернули человека к действительности. По всему миру проходили митинги против войны, которую одна большая страна вела в другой маленькой стране, а война все продолжалась и продолжалась. Диктор называл страны, и человек искал их на глобусе, в Америке и Азии, в Африке и Европе – он находил их и останавливал перед собой, словно вызывал для отчета. Потом диктор умолк, и человек, нажав на кнопку выключателя, снова пустил Землю по ее извечной орбите и остался наедине с глобусом. Это был географический глобус – мирный и красивый: с коричневыми Кордильерами, с голубыми волнами Тихого океана, с зелеными африканскими джунглями, и все на нем было к месту, все казалось близким и родным, как свое собственное.

– Да, – задумчиво сказал человек. – Плохо. Плохо мы живем.

Он придвинул к себе глобус и продолжал:

– Плохо мы живем, моя маленькая Земля. Что же нам сделать, чтобы все было хорошо? Ведь так нельзя. Может быть, выселить всех и начать все сначала?

Человек усмехнулся и поднялся. Был поздний вечер, за окном начиналась беспредельная вселенская темнота. Человек наклонился над глобусом, с силой крутнул его, словно сбрасывая с поверхности маленького земного шара всех его обитателей, затем принес мел и, торопясь, забелил глобус – весь, до последней точки.

Земля опустела и покрылась льдом, наступил ледниковый период. Холодная и безликая, она беспомощно застыла на одном месте, не в силах вырваться из тяжелого белого савана.

Человек сходил на кухню, принес влажную тряпку и взял глобус в руки. Сначала он очистил ото льда Европу, словно разбудил спящую красавицу, заснувшую 33 года назад, – она протерла глаза и удивленно огляделась, пытаясь понять, где она и что с ней случилось. Рядом никого не было. Европа могла испугаться своего одиночества, и человек, заторопившись, стал очищать Азию, сгоняя льды в Северный Ледовитый океан. Затем подошла очередь Африки и Австралии, на которых снова зазеленели джунгли и над которыми снова забились весенние грозы.

Следующей была Антарктида. Тряпка, которой человек стирал мел, к этому времени высохла и стала белой, убрать ею вековые льды самого холодного континента оказалось невоз-

можно. Человек решил их оставить – как белый лист бумаги, заполнять который предстояло жителям Земли.

Перед тем как дать миру Америку, человек старательно вымыл тряпку. Наступил волнующий момент открытия, быть может, самой богатой и самой красивой части света. Сначала человек очистил ото льда Южную, затем Северную Америку. С запада и с востока в нее забили волны двух океанов, испытывая ее на прочность. Где-то далеко-далеко в Европе уже снаряжались корабли мореплавателей для открытия нового материка.

Теперь Земля была полностью свободна. В ее облике ничего не изменилось – те же части света, что и раньше, те же моря и океаны, реки и горы, но все это получило уже другое назначение: служить только достойным представителям человеческого рода.

– И чтобы никаких исключений, никаких помилований, – как заклинание, повторял человек, склонившись над глобусом.

Он останавливал перед собой каждую из шести частей света и давал последние напутствия. Когда все было готово, человек, торжественный и счастливый, поставил глобус на крышку радиоприемника, и Земля, качнувшись, вышла на орбиту. Она бережно несла на себе Америку и Европу, Азию и Африку, по очереди подставляя их к солнцу, чтобы восходы и закаты сходились над самой землей, осторожно перебирая ее в своих теплых руках.

Человек по-прежнему заводил будильник на одно и то же время – перед утренними известиями. Он включал радиоприемник, брал в руки глобус и слушал тревожные голоса, доносившиеся с разных концов земного шара. Он слушал их и смотрел на глобус, на свою маленькую Землю, тихую и счастливую.

Потом человек ставил глобус на крышку радиоприемника и уходил на работу. Крышка была покатою и полированной, а по улице, заставляя дом вздрагивать, беспрестанно шли тяжелые машины. К вечеру глобус перемещался к самому краю крышки, и Африка, Австралия и Южная Америка со страхом заглядывали вниз, но приходил человек, включал радиоприемник и брал глобус в руки.

Но однажды человек где-то задержался, а глобус снова скатился к самому краю крышки. Африка, Австралия и Южная Америка, преодолевая земное притяжение, казалось, приподнялись над поверхностью глобуса, подавая сигналы бедствия. Их слышала вся планета, но глобус уже не мог остановиться. Накренившись, словно терпящий бедствие корабль, он еще пытался задержаться, хватаясь за острую кромку крышки, но снова зазвенели стекла, и под этот звон глобус упал. Северное полушарие отделилось от южного и укатилось в угол.

Падая, глобус задел кнопку выключателя, и радиоприемник заговорил. Это были вечерние последние известия.

Земля продолжала вращаться, но уже без маленького глобуса.

<1965>

Продается медвежья шкура

Он был хороший медвежатник, и начало схватки со зверем почти сразу же переходило в конец. В таких случаях продолжение следует редко: выстрел убивает продолжение вместе со зверем. Для этого нужны десятые доли секунды, чтобы нажать на спуск, почувствовать удар в плечо, а потом медленно, снова держа палец на спуске, идти к вздрагивающей, словно рыдающей туше. Он подходил к ней и искал то место, которое намечал мушкой. Пули ложились точно. Довольный, он долго ходил возле убитого зверя и только потом снимал с него шкуру. Шкуры он продавал туристам, причем любил рассказывать, как ему достался медведь, чтобы туристы не просто топтали шкуры в своих городских квартирах, но и относились к ним с должным уважением.

Но на этот раз начало было только началом, за которым последовало долгое и опасное продолжение. Он не хотел его – оно развивалось помимо его воли. Он ничего не мог в нем изменить.

В ту зиму Василий работал пастухом в оленьем стаде, которое стояло за сорок километров от поселка. Триста оленей, три пастуха, небольшое зимовье для пастухов, тайга для оленей и зима для тех и других. Раз в месяц кто-нибудь из пастухов ездил в поселок за продуктами, олени выбивали мох из-под снега, а зиму, это бесконечное белое время, нельзя было ни обойти, ни объехать. Ее ветры и снега, как часовая и минутная стрелки, следовали друг за другом, то сходясь, то снова расходясь. Зимние дни казались километрами трудного перевала, которого Новый год – только вершина.

Перед Новым годом собака привела Василия к берлоге. Как и обычно, он отогнал собаку, выбрал жердь, разбудил и выгнал зверя из берлоги – выстрелил. Все шло, как и обычно, словно он в двадцатый или тридцатый раз читал одну и ту же историю, уместившуюся на трех страничках затрепанной книжки.

Он осторожно шел к убитому зверю, когда сзади, совсем близко, его оглушил рев. Оборачиваясь, он уже нажал на спуск, и выстрел прозвучал прежде, чем мушка появилась на своем месте. Медведь, выскочивший из берлоги, споткнулся, и Василий выстрелил снова, и снова не так, как надо. Зверь поднялся на дыбы, и Василий успел заметить на его груди большое белое пятно – последнее, что могло бы остаться в его памяти. И тут случилось непонятное. Медведь перестал быть медведем: он вдруг прыгнул в сторону и, круша хрупкий зимний кустарник, распахивая белой грудью снег, бросился бежать. Собака метнулась за ним, но, видно, и собака поняла, что нельзя судьбу испытывать дважды, и сразу же вернулась. Василий стоял все в той же неестественной позе, которую он принял, приготовившись к прыжку медведя, – казалось, мгновение растянулось, но вот-вот оно может оборваться, и тогда прыжок состоится. Потом он выпрямился и подошел к убитому медведю. Зверь лежал, подложив под голову переднюю лапу, как в детской кинокартине, чтобы ребятишки могли посмеяться. Это была медведица.

Потом ему не один раз говорили: «Это все из-за медведицы. Если бы не она, на этом бы все и кончилось. А сейчас, видишь, как получается».

Он шел в зимовье, и случившееся представлялось ему теперь ключьями чего-то непонятного и странного – ключья висели перед его глазами, мешая идти, и он никак не мог их убрать.

Белая грудь, нависшая над его головой, – почему белая? Откуда в Саянах пятнистый медведь? Выстрел, снова выстрел – как случилось, что ни один из них не достиг цели? Последнее мгновение в его жизни, и вдруг медведь прыгает в сторону, и последнее мгновение, как мыльный пузырь, превращается в брызги, за которыми время снова начинает свой ровный, постоянный ход, приняв его в свои владения, в которых бывает день и ночь, зима и лето, а год состоит из двенадцати месяцев. Произошло чудо, и это было странным, потому что жизнь

давно уже не пользуется чудесами и старается как можно реже пользоваться случайностями, чтобы не подавать на них человеку никакой надежды.

Была тишина – белая тишина с словыми иголками на снегу, с добрыми деревьями, осторожно держащими на своих ветвях снег, словно хлеб-соль, с одинаково безмолвными подъемами и спусками. И все вместе это казалось единственно важным, гораздо важнее случившегося. Василий шел и постепенно успокаивался, а потом увидел дым над зимовьем, тоже белесый, под цвет зимы, и подумал, что его возвращение в спокойную, размеренную жизнь состоялось.

Через неделю какой-то шатун задрал оленя.

– Это мой, – сказал Василий пастухам. – Больше никому.

Он не выдержал и поехал на место, чтобы посмотреть, как это случилось. Выпавший за ночь снег завалил все следы, и теперь уже ничто не говорило о разыгравшейся здесь трагедии. Он постоял, словно ожидая, не появятся ли свидетели, но их не было, и он решил возвращаться.

И вдруг его глаза, повинувшись какой-то посторонней силе, повернулись вправо и застыли. Это был он. Сначала Василий увидел его белую грудь, поднятую над белым снегом, потом встретился с его прищуренными, злыми глазами, глазами врага, объявившего ему войну.

Василия удивило и испугало спокойствие зверя. Он привык к реву, ярости, нетерпеливым прыжкам, которые обрывала пуля, и сам он в таких случаях был спокоен и собран. Но этот медведь уже знал о существовании пули и не торопился. Он не хотел делать первого шага.

Олень, хрипя, рвал из рук Василия поводок и тянул его вниз, к тропе. Он отступил вслед за оленем на два шага и снял тозовку. Медведь приготовился. Василий не выстрелил: впервые в жизни он не поверил тозовке, она вдруг показалась ему всего лишь детской игрушкой. Олень тянул его все дальше к тропе, и он отступил еще на три шага. Он пятился и считал шаги – пять, шесть, семь, десять, двадцать... Потом побежал.

Недалеко от зимовья он остановился и оглянулся. Медведь стоял на склоне горы и следил за ним.

У Василия было странное чувство: будто он впустил постороннего человека погреться, а тот взял да и выгнал его самого...

У него было более чем странное чувство: будто он забыл сказать самому себе, куда он шел и что с ним случилось...

Раньше он не знал, что такое страх, ему казалось, что это что-то близкое к лени – человеку не хочется делать то-то и то-то, и он придумывает для себя всякие отговорки. Но сейчас он чувствовал на себе постороннее действие, чуждое всему, что в нем было, – он впустил постороннего человека погреться, а тот взял и выгнал его самого. Там, наедине с медведем, он искал в себе силы, способные уничтожить страх, но их не было, словно и его самого уже не было – он забыл сказать самому себе, куда он ушел и что с ним случилось.

Ему не хотелось ни разговаривать, ни ходить – все казалось неискренним, даже шаги.

Прошло несколько дней. Однажды ночью он вышел к больному оленю, который лежал в загоне и за которым пастухи ухаживали по очереди. Ночь была холодная, даже собаки забрались в зимовье – так получилось, что медведь подошел совсем близко.

Он прыгнул на Василия откуда-то сбоку, наверное, из своей засады, в которой его ждал. Падая, Василий закричал, а потом ему казалось, что он кричит беспрестанно, но вдруг наступило утро, тихое утро, в котором со всеми остальными был и он. Это показалось ему опять удивительным, и он, слушая рассказ пастухов о том, как на крик выскочили собаки и спасли его, думал о чудесах, которые потому и называются чудесами, что позволяют человеку выйти из опасности живым.

Медведь помял его несильно. Но сам медведь ушел. Теперь уже не оставалось никаких сомнений, что он преследует его, Василия. Роли переменились: на этот раз не человек охотился за зверем, а зверь охотился за человеком. Все привычное становилось для Василия непривыч-

ным – те же тропы, та же тайга, но сам он был теперь в положении преследуемого, и они изменили к нему свое отношение. Они казались чужими и подозрительными. Они были против него.

Василий спрятал тозовку, которой он больше не доверял, и стал ходить только с карабином.

Однажды он со стыдом обнаружил, что идет с карабином за водой, – до речки было всего каких-нибудь двадцать шагов. Он остановился и стал вспоминать, когда он мог взять с собой оружие, но так и не вспомнил: это было мгновение, вышедшее из-под его контроля, это мгновение контролировал страх. Василий выругался и отнес карабин в зимовье.

В другой раз ему почудилось, что за ним кто-то идет. Он резко обернулся – никого, только тайга и зима! Он пошел дальше, и снова за спиной ему слышались шаги. Они сопровождали его до самого зимовья.

Когда собаки кого-нибудь облаивали, он ежился: не медведь ли это?

Делимость времени он стал воспринимать как неприятность: в каждом часе 60 минут, в каждой минуте 60 секунд, всего-навсего 60 мгновений, и каждое из этих мгновений могло быть последним. А если хоть на одно мгновение опоздает чудо, спасшее его уже дважды, оно окажется недействительным. Он не знал, надо ли рассчитывать на те часы, которые наступят завтра: могло статься, что они не будут для него иметь употребления. А потом ему казалось, что не стоит обращать на все это внимания и что пусть будет так, как будет.

Он успокаивался, но не надолго. Потом опять накатывались страхи, и все в нем ломалось, вся крепость, построенная накануне, рушилась, и он, посрамленный, ходил среди ее развалин, отыскивая остатки своей китайской стены.

По ночам неистово лаяли собаки, и он представлял, как медведь издали с тоской смотрит на свет зимовья.

Как-то раз среди бела дня Василий увидел его все на том же склоне горы: медведь, нацеливаясь на него, вытянул морду, похожую на ствол старинной пушки.

Василий решил уехать. Он устал от страха и тревог, от необходимости подавлять их усилием воли – не один раз, выходя из зимовья, он чувствовал себя жертвой, которую выманивают для расправы. Лучше было уйти с этого лобного места, и тогда все станет на свои места, все, что расшаталось и расстроилось, войдет в свою привычную колею. Глупо же в самом деле подчиниться воле зверя – кто кого?

Он уехал рано утром и вечером был в поселке. Председатель слушал его и молчал. Василию казалось, что тот ничему не верит.

– С пятном, говоришь? – переспросил председатель. – Я слышал, с пятнами в Гималаях есть. Откуда он здесь взялся? А из-за медведицы мог он за тобой ходить, мог. Ишь, отомстить задумал.

Он рассмеялся и продолжал:

– Ладно, поезжай в другое стадо. А зверь походит, походит да и забудет. Зверь, он и есть зверь.

От одного стада до другого было около ста километров. Василий жил на новом месте уже почти два месяца. Зима кончилась, и ветры, свергая ее, становились все сильнее и сильнее, они уже больше не мешали солнцу и появлялись вместе. Зима и весна, как воюющие стороны, теперь стояли друг против друга – весна наступала днем, зима еще удерживала свои позиции ночью.

В это время у пастухов всегда много работы. Василий делал все, что ему приходилось делать, с большим удовольствием: человек, спасшийся от гибели или избавившийся от неприятностей, с обостренным чувством радости воспринимает затем самое обычное и привычное. Теперь ему ничто не грозило, и он не мечтал ни о чем другом.

Потом наступила весна – новая страна с другими восходами и закатами, с другим небом и другими нравами. В горах чувствовалось радостное волнение. Казалось, горы сдвинулись поближе друг к другу и отмечают какой-то свой праздник, быть может, Новый год. По сути дела каждый новый год начинается с весны.

И вдруг в один прекрасный день все это рухнуло. Рано утром Василий вышел на лай собак, на всякий случай прихватив с собой карабин. Собаки были уже далеко, и Василий, прислушиваясь, пытался определить, кого они гонят. То, что он увидел, было неожиданно и страшно. На поляну возле скалы выскочил медведь и, отбиваясь от собак, поднялся на дыбы, показывая Василию свою белую грудь. Василий даже не пытался стрелять. У него было такое ощущение, будто тишина, наступившая в нем самом, – это тишина между молнией и громом: вспышка ослепила его с головы до ног и через мгновение раздастся грохот.

Но все было тихо, и только собаки все так же заливались вдали.

«Нашел, нашел, нашел» – эта мысль, как поплавок, то ныряла в глубину, то снова появлялась там, на поверхности его сознания.

Нетрудно было представить себе, как медведь, разыскивая его, прочесывал тайгу, как часами он стоял где-нибудь недалеко от жилья, чтобы увидеть его обитателей, как кружил около поселка, запоминая своей медвежьей памятью каждого человека, как тоскливо рычал, когда пропадала надежда, а потом, учуяв запах дымка, снова шел дальше. Он перестал быть медведем в обычном смысле этого слова, он стал преследователем, что было для него главным, а все остальное он делал только для того, чтобы сохранить в себе преследователя.

На следующий день медведь снова подошел к избушке. На этот раз пастухи попытались его убить, но он ушел, оставляя на камнях кровавый след, словно приглашая Василия следовать за собой.

– Не берут его пули, – мрачно сказал вечером один из пастухов. – Надо тебе уезжать, Василий. Он сейчас совсем сдурел.

– Надо уезжать, – согласился Василий.

Он, таежник, теперь остался без тайги. Его заперли в четырех стенах дома, в трех улицах поселка, его лишили звания охотника, ему оставили только ту необходимую норму воздуха, чтобы он не задохнулся. А когда он, не вытерпев, отправлялся куда-нибудь за полкилометра от поселка, каждый встречный мог ему сказать:

– Василий, ты осторожней...

В его глазах не было ни глазного яблока, ни сетчатки, ни зрачка – в них была одна тоска. Он носил с собой карабин – как доказательство своего бессилия. Он разговаривал совсем мало – ему не о чем было говорить.

Приходили охотники, передавали новости:

– Видели твоего хозяина у зимовья в Покровском.

– Два раза стреляли в него на Мархое.

Он слушал, кивал головой и чертил в уме четкую карту приближения медведя. Зверь был уже близко.

Потом прибежал почтальон – почтальон приносил письма от родных и друзей, но на этот раз он принес известие, что Василия ждут.

– Пришел, – сказал он, внимательно разглядывая Василия. – Пойдем, покажу.

Они влезли на крышу, и почтальон показал в бинокль на ближний белок, где шевелилась черная точка.

– Ладно, – сказал Василий, – ты иди. Спасибо тебе.

Он неторопливо оделся, положил в карман кусок черного хлеба. В его душе не было ничего, только пустота, и он не мог понять, боится или нет. За ним, было, увязалась собака, но он прогнал ее.

Он шел не торопясь, зная, что навстречу ему так же, не торопясь, движется медведь. Летний день был солнечный и зеленый – ни тот, ни другой не могли пожаловаться на погоду.

Как нарочно, они встретились на просторной поляне, где было место, чтобы упасть обоим. Василий вышел с одной стороны, медведь с другой. Словно боясь, что человек его с кем-нибудь перепутает, медведь зарычал и поднялся, показывая свою белую грудь.

Он сильно отощал. Он волочил переднюю лапу – она, видно, была перебита и не срасталась. Глаза были усталые и злые, но через все это проступало медвежье достоинство.

Несколько мгновений они стояли друг против друга, словно не могли договориться, кому начинать первому. Потом медведь, не выдержав, пошел вперед – это было его законное право. За месяцы преследования он научился хитрости и осторожности, но не стал пользоваться ни тем, ни другим – может, забыл, может, не хотел. Он приближался, и Василий поднял карабин. Медведь прыгнул.

Выстрел прозвучал как-то неохотно, но пуля сделала свое дело. Медведь упал. Василий, обозлившись, выстрелил еще раз и сразу же пожалел об этом – можно было уже не стрелять.

Он подошел к туше медведя и сел рядом с ним. Ни радости, ни удовлетворения он не чувствовал. Не зная, что делать, он достал из кармана кусок черного хлеба и стал вяло и безучастно жевать.

Он, победитель, сидел рядом с медведем и казался себе убийцей. А медведь лежал рядом с ним и, наверное, даже не знал, что его убили.

* * *

Итак, продается медвежья шкура.

Пришел один турист, осмотрел ее и недовольно сморщился:

– Пятно на ней какое-то...

Пришел другой турист и возмутился:

– Да она вся дырявая.

Итак, продается медвежья шкура.

<1965>

Мама куда-то ушла

Мальчишка открыл глаза и увидел ползущую по потолку муху. Он поморгал, глядя на нее, и стал смотреть, куда она ползет. Муха двигалась в ту сторону, где было окно. Она бежала, не останавливаясь, и получалось это у нее очень быстро. Мальчишка решил, что она бежит по дороге, и стал ждать, не поползет ли за ней еще одна, чтобы удостовериться, действительно ли это дорога. Но больше мух не было. Они, правда, были, но по потолку почему-то не бежали, и мальчишка быстро потерял к ним интерес. Он приподнялся на кровати и крикнул:

– Мама, я проснулся!

Никто ему не ответил.

– Мама! – позвал он. – Я молодец, я проснулся.

Тишина.

Мальчишка подождал, но тишина не прошла. Тогда он спрыгнул с кровати и босиком побежал в большую комнату. Она была пуста. Он посмотрел по очереди на кресло, на стол, на книжные полки, но возле них никого не было. Они стояли просто так, занимая место. Мальчишка бросился на кухню, потом в ванную – они были одни.

– Мама! – крикнул мальчишка.

Тишина вобрала в себя его крик и сразу сомкнулась. Мальчишка, не поверив ей, снова бросился в свою комнату, оставляя от босых пяток и пальцев на крашеном полу замысловатые кругляшки, которые, остывая, растворялись и исчезали.

– Мама, – как можно спокойнее сказал мальчишка, – я проснулся, а тебя нету.

Молчание.

– Тебя нету, да? – спросил он.

Его лицо напряглось в ожидании ответа, он поворачивал его во все стороны, но ответ не пришел, и мальчишка заплакал. Плача, он подошел к двери и стал ее дергать. Дверь не поддавалась. Тогда он ударил ее ладонью, потом ткнул босой ногой, зашиб ногу и заплакал еще громче. Он стоял посреди комнаты, и крупные теплые слезы выкатывались из его глаз и падали на крашеный пол. Потом, не переставая плакать, он сел. Все вокруг прислушивалось к нему и все молчало. Он ждал, что вот-вот за его спиной послышатся шаги, но их все не было, и он никак не мог успокоиться.

Это продолжалось долго, а сколько, он не знал. В конце концов он лег на пол и стал плакать лежа. Он так устал, что перестал чувствовать себя, и уже не понимал, что плачет. Этот плач был так же естественен, как дыхание, и уже не подчинялся ему. Наоборот, он был сильнее его.

И вдруг мальчишке показалось, что в комнате кто-то есть. Он быстро вскочил на ноги и стал осматриваться. Ощущение, заставившее его подняться, не проходило, и мальчишка побежал в другую комнату, потом в кухню и ванную. Там никто не появился. Всхлипывая, мальчишка вернулся и закрыл ладонями глаза. Потом он убрал ладони и еще раз осмотрелся. В комнате ничего не изменилось. Кресло пустовало, стол стоял один, на книжных полках, как всегда, были книги, но их разноцветные корешки смотрели грустно и слепо. Мальчишка задумался.

– Я больше не буду плакать, – сказал он себе. – Придет мама, я буду молодец.

Он пошел к кровати и одеялом вытер себе заплаканное лицо. Затем неторопливо, словно прогуливаясь, он обошел все, что было у них в квартире. И тут ему в голову пришла блестящая мысль.

– Мама, – негромко сказал он, – я хочу на горшок.

Он не хотел на горшок, но это было то, что заставило бы мать, будь она дома, тотчас броситься к нему.

– Ма-ма, – повторил он.

Ее не было дома, теперь он понял это окончательно. Надо было что-то делать. «Я сейчас поиграю, и мама придет», – решил он. Он пошел в угол, где были все его игрушки, и взял зайца. Заяц был его любимцем. У него отклеилась одна нога, отец несколько раз предлагал мальчишке приклеить эту ногу, но тот никак не соглашался. С двумя ногами зайца любить было бы не за что, так он и оставался с одной, а вторая валялась где-то здесь же и теперь существовала сама по себе.

– Давай играть, зайка, – предложил мальчишка.

Заяц молча согласился.

– Ты больной, у тебя ножка болит, я тебя сейчас буду лечить.

Мальчишка положил зайца на кровать, достал гвоздь и ткнул им зайца в живот, делая укол.

Заяц к уколам привык и никак на них не реагировал.

Мальчишка задумался, потом, словно что-то вспомнив, отошел от кровати и заглянул в большую комнату. Там ничего не изменилось, и тишина по-прежнему все так же медленно раскачивалась из угла в угол. Комната была как надутый шар с несколькими горошинами внутри: это стол, кресло, книжные полки.

Мальчишка, вздохнув, вернулся к кровати и посмотрел на зайца. Тот спокойно лежал на подушке.

– Нет, не так, – сказал мальчишка. – Теперь я буду зайкой, а ты маленьким мальчиком. Ты будешь меня лечить.

Он посадил зайца на стул, а сам лег в кровать, поджал под себя одну ногу и заплакал. Заяц, сидя на стуле, удивленно смотрел на него своими большими глазами.

– Я зайка, у меня ножка болит, – объяснил ему мальчишка.

Заяц промолчал.

Мальчишка поднял голову и сел. Сидя, он долго смотрел на зайца и о чем-то думал.

– Зайка, – спросил потом он, – куда ушла мама?

Заяц не ответил.

– Ты не спал, ты знаешь, говори, куда ушла мама? – потребовал мальчишка и взял зайца в руки.

Заяц молчал.

Мальчишка забыл, что раньше он всегда сам отвечал за зайца, выступая сразу в двух ролях, и теперь всерьез требовал от него ответа. Он забыл, что заяц был только игрушкой среди игрушек – среди кубиков, которые становились друг на друга, только когда их ставили, среди машин, которые шли, только когда их вели, среди зверей, которые рычали и разговаривали, только когда за них кто-нибудь рычал и отвечал. Он обо всем забыл, этот мальчишка.

– Говори, говори! – требовал он.

Заяц продолжал молчать. Мальчишка швырнул его на пол, прыгнул с кровати и, бросившись на зайца, стал его пинать. Заяц катался по полу, подскакивал, крутился, и мальчишка тоже подскакивал и крутился вокруг него и все повторял:

«Говори, говори, говори!», но заяц не мог от него никуда убежать, потому что он был с одной ногой. И мальчишка вдруг понял это. Он остановился. Он стоял и смотрел, как заяц, уткнувшись лицом в пол, беззвучно плачет. И он услышал этот плач. Он наклонился над зайцем, развел руками и виновато сказал:

– Мама куда-то ушла.

И вдруг мальчишке показалось, что по лестнице кто-то поднимается.

– Мама! – закричал он, бросаясь к двери, но запнулся о кресло и упал. Он поднялся, прислушиваясь, но за дверью никого не было. И тогда мальчишка снова заплакал. Он плакал от боли и одиночества. Что такое боль, он уже знал. С одиночеством он встретился впервые.

<1965>

Встреча²

– Надо же, – повторяла Анна. – Надо же, встретились! Кто бы мог подумать!

Николай, улыбаясь, пожимал плечами.

Перед этим они долго приглядывались друг к другу, потом Николай, не вытерпев, подошел и спросил: «Вы не такая ли?» – «Такая, – ответила она, – а вы откуда меня знаете?» – «А я вот такой, если вы такого помните, ведь столько лет прошло». – «Ой, – спохватилась она, – а я уж и узнала, спросила и сразу узнала, вы еще и ответить не успели, а я уж узнала». Она подала ему руку. «Надо же, – удивленно сказала она, – надо же, встретились, чего только не бывает на свете! Кто бы мог подумать!»

Зазвонил звонок, созывая людей в зал, но это был только первый звонок, и они, казалось, не услышали его.

«Вы все там же живете?» – спросил он. «Там же, – ответила она, – никуда и не трогалась, а теперь уж и трогаться поздно. А вы где?» – «А я вот там – как с войны пришел, так и туда, уж больше двадцати лет прошло». – «Я и не знала, – сказала она, – в одной области живем, а я и не знала».

Звонок зазвонил во второй раз, и она, улыбаясь, оглянулась на зал. Теперь уже надо было идти. После перерыва свободных мест в зале стало больше, и они сели в последнем ряду, где можно поговорить. Сразу же опять начались выступления – это было областное совещание передовиков сельского хозяйства, на которое он приехал с одного конца области, а она с другого, и без него, без этого совещания, едва ли им пришлось бы встретиться.

Они стали слушать выступавшего, но слушать его было неинтересно, и они просто смотрели, как он говорит. Потом Николай не вытерпел и взглянул сбоку на Анну, на ее лицо, и она, чувствуя, что он на нее смотрит, обернулась к нему и улыбнулась настороженной, готовой в любое мгновение разглядиться на лице улыбкой, почти полуулыбкой.

– Бормочет, бормочет, а чего бормочет, непонятно, – сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

– Ага, – согласилась она. – Чего уж они не подыскали, кто голосом посильней. Вот наш председатель заговорит, так хочешь не хочешь, а будешь слушать – будто гром гремит.

Склонившись, они облегченно засмеялись.

– У вас все колхоз? – спросил он.

– Колхоз. Года три назад говорили, что совхоз сделают, а потом, видать, передумали – молчат.

– А ты где работаешь? – Он перешел на «ты».

– Дояркой. Давно уж, скоро пятнадцать лет исполнится.

В зале стало шумно, и выступавшего было почти не слышно. Председательствующий за столом президиума сморщился, взял колокольчик и зазвонил. Зал умолк и стал смотреть на председательствующего, на то, как он ставит на стол колокольчик, как, чувствуя на себе сотни глаз, говорит что-то своему соседу, что-то необязательное и первое попавшееся.

– Ты в гостинице остановилась? – спросил Николай.

– Нет, – оглядываясь на президиум, зашептала Анна. – У меня тут тетка живет, я у нее. Он засмеялся.

– Да ты не бойся.

– Ругаются, – смущенно сказала Анна. – А ты где, в гостинице?

– Там.

² Впервые рассказ опубликован в сборнике «Человек с этого света» (Иркутск, 1967) под названием «Как-то в середине зимы».

Они помолчали, украдкой поглядывая друг на друга, потом Николай склонился к ней и предложил:

– Давай мы вот как сделаем. Сейчас кончится, давай пойдем ко мне.

– А зачем? – осторожно спросила она.

– Поговорим – как зачем? Столько лет не видались! Посидим, поговорим, чтоб никто не мешал.

– Не знаю.

– А чего тут знать?

– Не знаю, что и делать.

– Да ты какая-то дикая стала! – удивился он. – Как девчонка. Я помню, ты в молодости будто не трусливая была.

– Не подначивай, – сказала она. – Поеду, так и быть. Ты меня не съешь.

– Понятно, не съем.

В перерыве они оделись и вышли. На улице уже начинались скорые зимние сумерки, но было тепло, и оттепель эта, наступившая за те несколько часов, пока они сидели на совещании, казалась удивительной. Не верилось, что стоит декабрь, конец декабря, середина зимы. Люди туда и обратно шли одинаково не спеша, отдыхая от морозов и постоянной зимней спешки. При тусклом свете загорающихся в сумерках огней в воздухе висели редкие лохматые снежинки, оставшиеся после недавнего снега, но доставали ли они до земли, было не видно. Машины двигались почти бесшумно, и потому казалось, что они движутся медленно и осторожно.

Николай и Анна сели в автобус, можно сказать, не сели, а стали: свободных мест не было, и им пришлось стоять. Анна, пригибаясь, то и дело заглядывала в окно на мелькающую улицу – отсюда, из автобуса, она выглядела сверкающей и оживленной.

– Садись. – Николай легонько подтолкнул Анну к сиденью, с которого поднялась женщина.

– Да я постою, – стала отказываться она. – Ты говоришь, тут недалеко, можно и постоять.

– Садись, садись, не строй из себя молоденькую.

Она села и, обернувшись к нему, хохотнула:

– Ишь, кавалер!

– А что? – Он подмигнул ей. – Может, скажешь, что я в молодости был плохой кавалер?

– Не знаю, – хитро поглядывая на него снизу, сказала она.

– Ты-то должна помнить.

– Не помню.

Он не стал продолжать ее игру и сказал свое:

– Мы и теперь с тобой не старики.

– К тому дело идет – чего уж там! Мне через два года пятьдесят будет, отжила свое.

– А у меня все пятьдесят со мной, ни один не потерялся, и то не жалею, – бодро сказал он. – Нам с тобой по пять раз еще можно жениться да замуж выходить.

– Ну уж. Ты скажешь.

– А что? Точно.

Автобус тряхнуло, и Николай невольно схватил Анну за плечи, но руку убрал не сразу. Анна съежилась, ожидающе обернулась к нему.

– Испугалась?

– Да нет. Какие тут страхи?

– Поднимайся, – сказал он. – Сейчас нам выходить.

На улице уже совсем стемнело, и только от выпавшего снега, еще теплого и белого, шло вверх ровное голубоватое свечение. Казалось, стало еще теплее, почему-то верилось, что эта зимняя благодать наступила неспроста, что она каким-то образом связана с их встречей.

Они шли к гостинице молча. У широких освещенных окон кружились снежинки. Анна, улыбаясь, одной ногой загребала снег, оставляя за собой извилистую полосу. Николай смотрел на нее и добродушно ухмылялся. У дверей Анна остановилась и серьезно сказала:

– Страшно.

– Проходи, проходи – чего тут страшного?

– Скажут: ты ему не сестра, не жена – зачем идешь?

– Вот увидишь, никто ничего не скажет. Проходи.

Они поднялись на второй этаж, по длинному и узкому коридору прошли в самый конец. Анна, оглядываясь, бежала впереди. Пока Николай открывал свой номер, она прижалась к стене. Он распахнул перед ней дверь.

– Вот здесь я и проживаю.

– Ты смотри! – удивилась она, шурясь от яркого света. – У тебя тут как у министра какого.

Он, довольный, засмеялся.

– Нет, правда. Я в таких и не бывала ни разу. Телефон, шторы, кресло. Неужели ты тут один и живешь?

– Один.

Все еще удивляясь, она покачала головой.

– Ты раздевайся, – сказал Николай. – Я сейчас.

Он куда-то ушел. Анна сняла пальто, осматриваясь, присела у стола, но сразу же поднялась и подошла к окну. Окно выходило во двор, не забитый ни ящиками, ни бочками, в нем лежал непримятый, как на поляне, снег. Она долго смотрела на снег, потом отвернулась от окна, увидела рядом с собой телефон и бережно погладила сверху его изогнутую, как скобка, зеленую трубку.

За дверью послышались шаги; Анна испугалась и торопливо присела в кресло. Пришел Николай. Шумно дыша, он поставил на стол две бутылки вина, стал доставать свертки.

– Это еще зачем? – нарочито удивилась Анна.

– Гулять будем, Анна.

– Ты с ума сошел!

Он весело хмыкнул:

– Вот и ты скорей сходи, чтобы вместе.

– Но куда же столько вина – ты подумай!

– Пригодится.

Она со страхом и любопытством смотрела, как он режет хлеб и колбасу, открывает бутылки и банки, но страх уже проходил. Она улыбнулась, спохватившись, погасила улыбку, но сразу же улыбнулась снова и с вызовом спросила:

– Значит, гулять будем?

– Гулять, Анна, гулять.

– А, – она махнула рукой, – давай. Говорят, один раз живем.

– Вот это правильно, это по-нашему.

Он разлил в стаканы вино, потирая руки, оглядел стол.

– Как будто все. Ну, давай поближе, Анна. Давай за встречу. Поднимай. Столько лет не видались.

– За встречу, – повторила она.

Они чокнулись и выпили. Анна закрыла глаза, потом осторожно открыла их, опустила стакан на стол. Николай снова потянулся за бутылкой. Анна попыталась его удержать, но он отвел ее руку.

– Ты меня, может, спить задумал? – спросила она.

Он засмеялся.

– Надо же мне когда-то отомстить за старое.

– За какое старое?

– За то, что ты не пошла за меня замуж. Забыла уже?

– Может, и помню, может, и нет.

– А то я могу напомнить.

Он обиженно умолк. Она подняла на него глаза и сразу же опустила их. Обоим стало неловко.

– Давай выпьем, – сказал он. – запьем все, что было. Давай гулять, и дело с концом.

– Давай гулять, – согласилась она и подняла стакан. – Я хочу выпить за тебя, за то, что ты живой, здоровый.

– Спасибо.

– И за то, чтобы у тебя и дальше все ладно было.

О чем-то задумавшись, она держала стакан в руках. Он кашлянул. Она спохватилась и торопливо выпила, глядя на него.

– Я не спросила тебя, – сказала она, – ты-то теперь кем работаешь?

– Я механик на отделении.

– Ишь ты, и правда начальник.

– Самый главный, – отшутился он.

– А я доярка, скоро уж пятнадцать лет будет, как на ферме. Ничего, привыкла, будто так и надо.

– Ты замуж-то выходила после войны или нет? – спросил он.

– Выходила, – ответила она и замолчала, задумчиво ссутулившись над столом, потом выпрямилась и стала рассказывать: – Ты его не знал, он приезжий был. Я его, можно сказать, пожалела, он инвалид, с одной ногой ходил, пожалела и взяла к себе в дом. А потом тысячу раз покаялась. Сначала все ничего было, пока не пил, а потом запил. – Она вздохнула и отставила от себя стакан. – А напьется – известное дело, скандалы, лезет драться. Ревновать меня вздумал. Да разве мне до мужиков было? День и ночь работала – сам знаешь, времечко тогда не сладкое стояло – давай и давай. Какие уж тут мужики – придешь без рук, без ног, а утром опять иди. Ну да ладно, чего уж теперь об этом...

– Рассказывай, рассказывай!

– Мальчишку невлюбил, – вспомнила она. – Того, от Ивана, а с ним у меня не было ребят. И то ему неладно, и другое неладно. Измотал всю. Я, как дура, терпела, думала, может, наладится – нет, дальше хуже, дальше хуже. Сколько можно терпеть? Раз поднялся он на меня, я и не вытерпела. Чем такой мужик, уж лучше без мужика жить, правда?

Николай не ответил.

– Спокойней, – сказала она. – И вот с той поры я одна. Сватались ко мне, да я уж больше не стала судьбу пытаться – хватит. Два мужика было, а по-доброму одного надо. Уж если сразу не повезет, то потом и не жди, чтоб повезло. Аяя одна неплохо живу, сама себе хозяйка, ни попреков тебе, ни побоев. Никто обо мне худого слова не скажет, как я жила. Парня вырастила, он теперь уж взрослый, в прошлом году женился. Ну вот, всю жизнь я тебе рассказала.

– И правильно сделала, что рассказала.

– Ой, а я уж пьяненькая-пьяненькая стала. – Анна зажмурилась и, улыбаясь, замотала головой. – Чего доброго, упаду тут у тебя. Я ведь не часто пью, разве что по праздникам. Соберемся с бабами, поплачем, песни попоем – все вместе. Ты-то как? – спросила она. – Я болтаю, болтаю, тебе и слова не даю сказать. Семейный или, может, в холостяках ходишь?

– Семейный. Куда от этого денешься?

– А баба-то здешняя?

– Нет, я ее с Украины привез.

– Смотри-ка ты! Здешние, выходит, не по вкусу пришлись?

Он сказал, глядя ей в глаза:

- Была одна, которая пришлась по вкусу, да она мне отказала.
- Ладно тебе. Чего уж теперь об этом говорить?
- К слову пришлось, вот и сказал.
- Все сердишься на меня?
- Нет – зачем? Вот еще не хватало мне – сердиться на тебя!
- Сам видишь, как у меня все получилось, – сказала она.
- Вижу.
- Ну вот.

Они замолчали. Анна, помаргивая, зачем-то еще раз оглядела комнату, потом положила ладони себе на лоб, опустила голову.

Николай тронул ее за плечо.

- Ну, чего ты?
- А? – Она подняла голову. – Так просто. Чего-то нашло.

Он придвинул свой стул поближе к ней.

– Коля, – сказала она, – наливай, а. Давай вспомняем с тобой Ивана.

Он смотрел на нее, словно решая, наливать или нет. Потом все-таки налил.

– Чокаться нельзя, – предупредила она и залпом выпила.

Они немного помолчали – ровно столько, сколько полагается в таких случаях молчать.

– Хороший он был, – чуть слышно сказала потом она. – Я его до самой смерти помнить буду.

– Мне как написали про него, я с неделю сам не свой ходил, – отозвался Николай. – Мы с ним были самые лучшие товарищи, ты же знаешь. Даже когда вы сошлись, я на него не злился. На тебя злился, а на него нет.

– Мы как голубки жили, – сказала она. – Не знаю, как бы дальше было, но пока его не забрали, мы весь год жили, честное слово, как голубки.

- Вы хорошо жили, я помню.
- Я при нем ни на кого и глядеть не хотела.
- И меня ты не любила, – сказал Николай.

Анна недоуменно взглянула на него.

– Не надо, – попросила она. – Зачем ты это? Ты же знаешь, я тебя до него любила, я и замуж за тебя собиралась. А тут он. Ты не сердись на меня.

- Чего мне теперь на тебя сердиться?
- Не сердись, не надо. Я ведь не со зла.
- Хватит тебе.

– Больше не буду, – покорно согласилась она и вдруг засмеялась, прикрывая рот рукой. – Мой-то инвалид, – сквозь смех сказала она, – ну, с которым я жила, он меня и к Ивану ревновал. – Она перестала смеяться. – К убитому. Вот чума!

- А ты все такая же, как была, – сказал Николай. – Постарела, а характер такой же.
- А что?
- Да так, ничего.
- К чему ты это сказал-то?
- К тому, что я бы на тебе и сейчас женился.
- А давай. – Она выдержала его взгляд. – Я согласна.
- Давай.

– Не возьмешь, – задумчиво произнесла она. – Я-то пойду, да ты не возьмешь. Вот и считай, что мы с тобой теперь расквитались.

– Возьму, – сказал он. – Хоть сегодня.

– Сегодня-то возьмешь, – усмехнулась она. – На ночь возьмешь, а завтра выгонишь. Не знаю я, что ли? Нет уж, не перепадет тебе.

– Смотри-ка, какая ты!

– А вот такая. Какая есть, такая и есть. Пьяная я, – прикрывая глаза, сказала она. – Пьяная-пьяная. Видел бы меня сейчас Иван, уж он бы мне за-да-ал.

– Чего это ты все Иван да Иван? Ивана теперь не воротишь, а легче тебе от этого не станет.

– И правда, чего это я все Иван да Иван? Ты не сердись на меня.

– Да дело не в этом, – с досадой ответил он.

– Я какая-то ненормальная стала. То кажется, все хорошо, все ладно, а то вдруг вспомню про судьбу свою, и плачу и плачу. Проплачусь – опять все хорошо. Живу, будто меня через день в воду окунают, а через день выставляют на солнышко сушиться. А теперь думаю: жизнь моя прошла, плохо ли, хорошо ли, а прошла, и ждать больше особенно нечего. Раньше было страшно о таком подумать, а теперь ничего, привыкаю, привыкла уж, считай. Так-то лучше. Хвастаться мне в своей жизни нечем, а жаловаться тоже не хочу и мачехой называть ее не стану. Что было – все мое.

– А если бы ты вышла за меня? – все-таки спросил он.

Она замерла, словно прислушиваясь к себе, неопределенно пожала плечами.

– Не знаю, Николай. Не могу загадывать. Ты вот живой, здоровый. – Она протянула руку и дотянулась до его плеча. – Ничего не знаю, Коля. Наверно, мы с тобой бы так и жили. Зачем теперь об этом говорить?

– Ты хоть вспоминала меня?

– Я все больше Ивана вспоминала. Ты не сердись, он муж мне. Может, теперь буду вспоминать, после сегодняшнего.

– Тут пока нечего и вспоминать.

– Как же! Я ведь рада, что встретила тебя. Не чужие.

– Когда-то обнимались по задворкам, – сказал он.

– Было. – Она смутилась, но вспоминать об этом ей, видно, было приятно. – Что было, то было. Не один раз до петухов простаивали. А утром...

Она умолкла. Дверь неожиданно открылась, в нее просунулась чья-то голова, что-то пролепетала и так же неожиданно исчезла.

– Вот заполошный, – засмеялась Анна.

– Эти заполошные мне надоели, – сказал Николай. – Утром один чуть свет в дверь забарабанил, я открываю, а он: «Извините, ошибся». Не смотрят и лезут.

Он снова налил.

– Давай еще по одной, тут уж немного осталось.

– Ну, мы с тобой за-гу-ля-ли. – Анна взяла стакан обеими руками и потянулась чокаться. – Прямо дым коромыслом.

– Нам с тобой можно. Мы с тобой полжизни не видались, теперь нам все можно.

– Полжизни не видались, – повторила она, удивляясь. – Надо же! И все-таки встретились. И ты меня первый узнал. Запомнил все-таки, а?

– Эх, Нюрка, Нюрка!

– Ну, чего Нюрка? – с вызовом спросила она.

– Хорошая ты баба.

– А чего во мне хорошего? Баба как баба. Таких много.

– А может, ты мне одна такая нужна?

– Как же – нужна стала! – Она хохотнула и погрозила ему пальцем. – Я пьяная-то пьяная, да все равно еще не опьянела. Не мылся – мыться не будешь.

– Вот как?

– Ага, вот так.

Он поднялся и закрыл изнутри дверь на ключ.

– Зачем закрылся? – спокойно спросила она.

– Чтобы зря не лезли все подряд. Надоели.
– Хитри, хитри. Ишь, гусь.
Он подошел, обнял сзади за плечи. Она обернулась.
– Поиграть решил?
– Ну, решил.
– Давай поиграем, – сказала она. – Давно я с мужиками не играла.
– Не боишься?
– А чего мне бояться?
Прищурившись, они смотрели друг другу в глаза.
– Ну, так пойдешь за меня замуж? – спросил он.
– Ишь, прыткий какой! – Анна засмеялась. – Замуж... Его дома жена ждет, а он тут еще одну сватает. Уж хоть не говорил бы «замуж», как-нибудь по-другому говорил бы. Я же тебе сказала: не мылся – мыться не будешь.
– Это мы еще посмотрим.
– Нечего и смотреть.
– Чего это ты такая? – сказал он, начиная сердиться.
Она засмеялась.
– Я же тебе говорю: тебя дома жена ждет, а ты тут...
– А тебя-то дома кто ждет?
– Никто не ждет, – присмирела она. – Это правда. Был бы Иван...
– Иван, Иван, – опять перебил он ее. – Заладила одно по одному. Если на то пошло – Иван тоже не святой был. Вы уж вместе жили, а мы с ним сколько раз к девкам бегали.
От неожиданности она сморщилась и неловко улыбнулась.
– Врешь ты, – недоверчиво сказала она.
– Для чего бы я стал врать – сама подумай!
– Врешь ты, Николай, – повторила она, вглядываясь в него.
Он замялся.
– Не надо бы мне говорить об этом, да уж сказал. Ивана в живых больше двадцати лет нету, не будешь же ты теперь ревновать его?
– Вот еще!
Она убрала руки со стола на колени и подалась вперед, будто что-то рассматривала на столе и никак не могла рассмотреть. Он тревожно наблюдал за ней. Она не двигалась, только чуть-чуть шевелились брови – казалось, она силится поднять глаза и не может.
– Анна! – окликнул он.
Она очнулась.
– А, пускай, – сказала она. – Мне наплевать – так или не так! – Она увидела в стаканах вино и обрадовалась. – Да ведь мы с тобой не выпили. Как же это мы, а?
Не дожидаясь его, она залпом выпила, с размаху поставила стакан на стол и опять замерла.
– Вот гад! – сказала потом она и с горькой улыбкой покачала головой. – А я знать не знала. Вот гад так гад!
– Чего это ты?
– А, ничего. Вспомнила тут одно дело. – Анна нервно и громко засмеялась. – Значит, говоришь, женишься на мне? Или раздумал уж? Смотри, а то я правда пойду.
Он не ответил.
Она засмеялась еще громче.
– Вот жених! Женюсь, женюсь, а сам в кусты. А я-то обрадовалась.
И сразу же затихла.

– Хорошо мы с тобой погуляли, – протянула она, опустив голову, – Хо-ро-шо. И разговор был интересный. Про войну, про баб, про мужиков, про девок. – Она коротко хохотнула. – Все интересное друг другу рассказали. – Помолчала. – Ивана помянули. Сначала помянули, потом вспомнили. – Еще помолчала. – Вот гад, а!

– Послушай. – Николай поднялся и подошел к ней вплотную. – Я ведь выдумал это про Ивана. Обидно мне стало, что ты все про него да про него, я и ляпнул. Хотел тебя раззадорить. Не было ничего такого.

– Врешь ты, – устало отозвалась она.

– Да не вру я.

– Врешь. Я же вижу, что теперь врешь, а не тогда. Пожалеть меня решил. Не надо меня жалеть. – Она тяжело вздохнула. – Чего ему надо было? Обидно. Если бы это инвалид мой сделал – не обидно, ни одна жилка бы не дрогнула. А тут обидно. Обидел он меня, нельзя так.

Она заплакала – без слез, трудно-трудно, с глухими всхлипами, похожими на стоны, не закрывая лица.

Николай, всасываясь губами в папиросу, жадно курил.

Анна успокоилась скоро, только долго еще вздрагивала всем телом. Лицо ее было сухо, но она все равно пошла в ванную и умылась. Двигалась она медленно, осторожными шагами, словно все время боялась упасть.

Друг на друга они старались не смотреть.

Она вышла из ванной, постояла возле стола и виновато сказала:

– Напилась я тут у тебя.

Он взглянул на нее как-то воровато, исподтишка и ничего не ответил.

– Пойду я, – сказала она.

– Подожди, – попросил он. – Посиди еще пять минут. Просто так посиди.

Она села на краешек своего стула. Они молчали. Прошло пять минут, пошли еще минуты. Она поднялась:

– Надо идти.

Он тоже стал одеваться, чтобы проводить ее.

...Они ехали в трамвае. Это был тот час, когда влюбленные провожают своих подруг домой. Николай и Анна сидели, прижавшись друг к другу, он держал ее руку в своей руке.

Влюбленные с любопытством поглядывали на них и посмеивались.

1965

Рудольфио

Первая встреча состоялась в трамвае. Она тронула его за плечо и, когда он открыл глаза, сказала, показывая на окно:

– Вам сходить.

Трамвай уже остановился, и он, проталкиваясь, прыгнул сразу за ней. Она была совсем девчонка, лет пятнадцати-шестнадцати, не больше, он понял это тут же, увидев ее круглое, моргающее лицо, которое она повернула к нему, ожидая благодарности.

– Спасибо, – сказал он, – я ведь мог проехать. – Он почувствовал, что ей этого недостаточно, и добавил:

– Сегодня был сумасшедший день, я устал. А в восемь мне должны позвонить. Так что ты меня здорово выручила.

Кажется, она обрадовалась, и они вместе побежали через дорогу, оглядываясь на мчащуюся машину. Шел снег, и он заметил, что на ветровом стекле машины работал «дворник». Когда идет снег – вот такой мягкий, пушистый, словно где-то там, наверху, теребят диковинных снежных птиц, – не очень-то хочется идти домой. «Подожду звонка и снова выйду», – решил он, оборачиваясь к ней и размышляя, что бы ей сказать, потому что дальше молчать было уже неудобно. Но он понятия не имел, о чем можно с ней говорить и о чем нельзя, и все еще раздумывал, когда она сама сказала:

– А я вас знаю.

– Вот как! – удивился он. – Это каким же образом?

– А вы живете в сто двенадцатом, а я в сто четырнадцатом. В среднем два раза в неделю мы вместе ездим в трамвае. Только вы, конечно, меня не замечаете.

– Это интересно.

– А что тут интересного? Ничего интересного нету. Вы, взрослые, обращаете внимание только на взрослых, вы все ужасные эгоисты. Скажете, нет?

Она повернула голову вправо и смотрела на него слева, снизу вверх. Он хмыкнул только и не стал ничего ей отвечать, потому что все еще не знал, как вести себя с ней, что можно и что нельзя ей говорить.

Некоторое время они шли молча, и она глядела прямо перед собой и, так же глядя прямо перед собой, как ни в чем не бывало заявила:

– А вы ведь еще не сказали, как вас зовут.

– А тебе это необходимо знать?

– Да. А что особенного? Почему-то некоторые считают, что если я хочу знать, как зовут человека, то обязательно проявляю к нему нездоровый интерес.

– Ладно, – сказал он, – я все понял. Если тебе это необходимо – меня зовут Рудольф.

– Как?

– Рудольф.

– Рудольф. – Она засмеялась.

– Что такое?

Она засмеялась еще громче, и он, приостановившись, стал смотреть на нее.

– Рудольф, – она округлила губы и снова закатилась. – Рудольф. Я думала, что так только слона в зверинце могут звать.

– Что?!

– Ты не сердись, – она тронула за рукав. – Но смешно, честное слово, смешно. Ну что я могу поделать?

– Девчонка ты, – обиделся он.

– Конечно, девчонка. А ты взрослый.

– Сколько тебе лет?

– Шестнадцать.

– А мне двадцать восемь.

– Я же говорю: ты взрослый, и тебя зовут Рудольф. – Она снова засмеялась, весело поглядывая на него слева, снизу вверх.

– А тебя как зовут? – спросил он.

– Меня? Ни за что не угадаешь.

– А я и не буду гадать.

– А если бы и стал – не угадал бы. Меня зовут Ио.

– Как?

– Ио.

– Ничего не пойму.

– Ио. Ну, исполняющий обязанности. Ио.

Отмщение наступило моментально. Не в силах остановиться, он хохотал, раскачиваясь то вперед, то назад, как колокол. Достаточно было ему взглянуть на нее, и смех начинал разбирать его все больше и больше.

– И-о, – булькало у него в горле. – И-о. – Она ждала, оглядываясь по сторонам, потом, когда он немного успокоился, обиженно сказала:

– Смешно, да? Ничего смешного – Ио – такое же обыкновенное имя, как все другие.

– Ты извини, – улыбаясь, он наклонился к ней. – Но мне действительно было смешно. Вот теперь мы квиты, правда?

Она кивнула.

Первым был ее дом, а за ним – его. Остановившись у подъезда, она спросила:

– А какой у тебя телефон?

– Тебе это не надо, – сказал он.

– Боишься?

– Дело не в этом.

– Взрослые всего на свете боятся.

– Это верно, – согласился он.

Она вынула из рукавицы свою ручонку и подала ему. Рука была холодной и тихой. Он пожал ее.

– Ну, беги домой, Ио.

Он опять засмеялся.

У двери она остановилась.

– А теперь ты меня узнаешь в трамвае?

– Еще бы, конечно, узнаю.

– До трамвая... – Она подняла над головой руку.

– ...в котором мы вместе поедem, – добавил он.

Через два дня он уехал в командировку на север и вернулся только через две недели. Здесь, в городе, уже чувствовался пряный, острый запах наступающей весны, сдунувшей с него, словно пепел, зимнюю неясность и неотчетливость. После северных туманов все здесь было ярче и звонче, даже трамваи.

Дома жена чуть ли не сразу же сказала ему:

– Тут тебе каждый день какая-то девчонка звонит.

– Какая еще девчонка? – равнодушно и устало спросил он.

– Не знаю. Я думала, ты знаешь.

– Не знаю.

– Она мне надоела.

– Забавно, – нехотя улыбнулся он.

Он принимал ванну, когда зазвонил телефон. Через дверь было слышно, как жена отвечала: приехал, моется, пожалуйста, попозже. И он уже собирался ложиться, когда телефон зазвонил снова.

– Да, – сказал он.

– Рудик, здравствуй, ты приехал! – раздался в трубке чей-то радостный голос.

– Здравствуйте, – осторожно ответил он. – Кто это?

– А ты не узнал? Эх ты, Рудик... Это я, Ио.

– Ио, – тотчас вспомнил он и невольно рассмеялся. – Здравствуй, Ио. Ты, оказывается, подобрала для меня более подходящее имя.

– Да. Тебе нравится?

– Меня так звали, когда мне было столько же, сколько сейчас тебе.

– Не важничай, пожалуйста.

– Нет, что ты...

Они замолчали, и он, не выдержав, спросил:

– Так в чем дело, Ио?

– Рудик, она что – твоя жена?

– Да.

– А почему ты не сказал мне, что женат?

– Прости меня, – шутливо ответил он, – я не знал, что это очень важно.

– Конечно, важно. Ты что – любишь ее?

– Да, – сказал он. – Ио, послушай, пожалуйста: не надо мне больше звонить.

– Ис-пу-гал-ся, – нараспев произнесла она. – Ты, Рудик, не подумай чего. Ты, конечно, живи с ней, если хочешь, я не против. Только так тоже нельзя: не звони. А может, мне по делу надо будет.

– По какому делу? – улыбаясь, спросил он.

– Ну как по какому? Ну... ну, например, из одного резервуара у меня вода никак под ответ не выкачивается в другой, – нашлась она. – Ведь тогда можно, правда?

– Не знаю.

– Конечно, можно. А ее ты не бойся, Рудик, ведь нас двое, а она одна.

– Кого? – не понял он.

– Да жену твою.

– До свидания, Ио.

– Ты устал, да?

– Да.

– Ну, хорошо. Пожми мне лапу и ложись спать.

– Жму тебе лапу.

– А с ней даже не разговаривай.

– Ладно, – он засмеялся. – Не буду.

Все еще улыбаясь, он вернулся к жене.

– Это Ио, – сказал он. – Так зовут эту девочку. Забавно, правда?

– Да, – выжидающе ответила она.

– Она не могла решить задачу с двумя резервуарами. Она учится не то в седьмом, не то в восьмом классе – не помню.

– И ты помог ей с задачей?

– Нет, – сказал он. – Я все перезабыл, а резервуары – это действительно сложно.

Утром телефон зазвонил чуть свет. Какой там свет – никакого света не было, весь город спал последним предраассветным сном. Поднимаясь, Рудольф взглянул на дом напротив – ни одно окно еще не было освещено, и только подъезды, как губные гармошки, сияющие метал-

лом, светились четырьмя правильными рядами. Телефон трезвонил беспрерывно. Подходя к нему, Рудольф взглянул на часы: половина шестого.

– Слушаю, – сердито сказал он в трубку.

– Рудик, Рудик...

Он рассвирепел:

– Ио, ведь это же черт знает что такое...

– Рудик, – перебили его, – послушай, не сердись, ты еще не знаешь, что случилось.

– Что случилось? – остывая, спросил он.

– Рудик, ты уже больше не Рудик, ты Рудольфио, – торжественно объявили ему. – Рудольфио! Здорово, правда? Это я только что придумала. Рудольф и Ио – вместе получается Рудольфио, как у итальянцев. Ну-ка повтори.

– Рудольфио. – В его голосе смешались отчаяние и ярость.

– Правильно. Теперь у нас с тобой одно имя – мы нерасторжимы. Как Ромео и Джульетта. Ты Рудольфио, и я Рудольфио.

– Послушай, – приходя в себя, сказал он. – Ты бы не могла в другой раз нарекать меня в более подходящее время?

– Ну как ты не поймешь, что я не могла ждать. Вот. А потом, тебе пора вставать. Рудольфио, запомни: в половине восьмого я жду тебя на трамвайной остановке.

– Я сегодня не поеду на трамвае.

– Почему?

– У меня отгул.

– А что это такое?

– Отгул – это внеочередной выходной, я не пойду на работу.

– А-а, – сказала она. – А как же я?

– Не знаю. Поезжай в школу, и все.

– А у твоей жены тоже отгул?

– Нет.

– Ну, это еще ничего. Только ты не забывай: нас теперь зовут Рудольфио.

– Я счастлив.

Он водворил трубку на место и, чертыхаясь, пошел кипятить чай. Уснуть теперь все равно он бы не смог. К тому же в доме напротив уже светились три окна.

В полдень в дверь постучали. Он как раз мыл полы и, открывая, держал в руках мокрую тряпку, которую почему-то не догадался оставить где-нибудь по дороге.

Это была она.

– Здравствуй, Рудольфио.

– Ты! – удивился он. – Что случилось?

– Я тоже взяла отгул.

Лицо как у святой – ни единой капли того, что называют угрызениями совести.

– Вон как! – мужественно ответил он. – Гуляешь, значит. Ну, проходи, коли пришла. Я сейчас домою.

Не раздеваясь, она села в кресло возле окна и стала смотреть, как он, склонившись, водит тряпкой по полу.

– Рудольфио, по-моему, ты несчастлив в семейной жизни, – заявила она через минуту.

Он выпрямился.

– С чего ты взяла?

– Это очень легко увидеть. Например, ты без всякого удовольствия моешь полы, а у счастливых так не бывает.

– Не выдумывай, – улыбаясь, сказал он.

– А скажешь, счастлив?

– Ничего не скажу.

– Ну вот.

– Ты лучше разденься.

– Я тебя боюсь, – заглядывая в окно, сказала она.

– Что-что?

– Ну, ты же мужчина.

– Ах вон что. – Он засмеялся. – Как же ты осмелилась сюда прийти?

– Ну, мы же с тобой Рудольфио.

– Да, – сказал он, – я все забываю об этом. Это, конечно, накладывает на меня определенные обязанности.

– Конечно.

Она замолчала и, пока он гремел ведром в кухне, сидела тихо. Но когда он вышел к ней, пальто уже висело на спинке кресла, а лицо Ио было задумчивое и печальное.

– Рудольфио, а я сегодня плакала, – вдруг призналась она.

– Отчего, Ио?

– Не Ио, а Рудольфио.

– Отчего, Рудольфио?

– Это из-за моей старшей сестры. Она устроила скандал, когда я решила взять отгул.

– По-моему, она права.

– Нет, Рудольфио, не права. – Она поднялась с кресла и стала возле окна. – Один раз можно, как вы не поймете. Я сейчас знаешь какая счастливая, что с тобой говорю...

Она опять замолчала, и он внимательно посмотрел на нее. Сквозь платье, волнуясь, у нее пробивались груди, как два маленьких гнездышка, которые лепят неведомые птицы, чтобы выводить в них птенцов. Он заметил, что уже через год лицо у нее удлинится и станет красивым, и ему стало грустно от мысли, что со временем будет и у нее свой парень. Он подошел к ней, взял ее за плечи и, улыбнувшись, сказал:

– Все будет хорошо.

– Правда, Рудольфио?

– Правда.

– Я тебе верю, – сказала она.

– Да.

Он хотел отойти, но она позвала:

– Рудольфио!

– Да.

– Зачем ты так рано женился? Ведь еще бы два года, и я бы вышла за тебя замуж.

– Не торопись, – сказал он. – Ты и так выйдешь замуж за какого-нибудь очень хорошего парня.

– Я бы хотела за тебя.

– Он будет лучше, чем я.

– Ну да, – недоверчиво протянула она. – Ты думаешь, лучше бывают?

– В тысячу раз лучше бывают.

– Но это будешь не ты. – Она неумело вздохнула.

– Давай лучше пить чай, – предложил он.

– Давай.

Он пошел на кухню и поставил чайник на плитку.

– Рудольфио!

Она стояла возле полок с книгами.

– Рудольфио, у нас с тобой самое красивое имя. Вот посмотри, даже у писателей нет лучше. – Она на мгновение умолкла. – Может быть, только вот у этого. Эк-зю-пе-ри. Правда, красивое?

– Да, – сказал он. – А ты не читала его?

– Нет.

– Возьми и почитай. Только без отгулов – договорились?

– Договорились.

Она стала одеваться.

– А чай? – вспомнил он.

– Рудольфио, я лучше пойду, хорошо? – Улыбка у нее стала грустной. – Ты только не говори жене, что я здесь была. Хорошо, Рудольфио?

– Ладно, – пообещал он.

Когда она ушла, он почувствовал, что ему стало тоскливо, он был полон какой-то необъяснимой, еще не открытой тоски, тем не менее существующей в природе. Он оделся и вышел на улицу.

Весна наступила как-то сразу, почти без предупреждения. Люди за несколько дней стали добрее, и эти несколько дней казались им переходным периодом от поры ожидания к поре свершения, потому что весенние сны с мастерством опытной гадалки напроорочили им счастье и любовь.

В один из таких дней, уже вечером, когда Рудольф возвращался домой, его остановила пожилая женщина.

– Я мать Ио, – начала она. – Вы простите, вас, кажется, зовут Рудольфио.

– Да, – улыбнувшись, согласился он.

– Я знаю о вас от дочери. В последнее время она много говорит о вас, но я...

Она замялась, и он понял, что ей трудно спросить то, что необходимо было спросить как матери.

– Вы не волнуйтесь, – сказал он. – У нас с Ио самая хорошая дружба, и ничего плохого от этого не будет.

– Конечно, конечно, – смущаясь, заторопилась она. – Но Ио – взбалмошная девчонка, она нас совсем не слушает. И если вы повлияете на нее... Понимаете, я боюсь, возраст такой, что надо бояться, – она может натворить глупостей. И потом, меня пугает, что у нее совсем нет друзей среди одноклассниц и вообще среди сверстников.

– Это плохо.

– Я понимаю. Мне показалось, вы имеете на нее влияние...

– Я поговорю с ней, – пообещал он. – Но, по-моему, Ио хорошая девочка, зря вы так беспокоитесь.

– Не знаю.

– До свиданья. Я поговорю с ней. Все будет хорошо.

Он решил позвонить ей сразу же, не откладывая, тем более что жены дома не было.

– Рудольфио! – было видно, что она очень обрадовалась. – Какой же ты молодец, что позвонил, Рудольфио, а я опять плакала.

– Нельзя так часто плакать, – сказал он.

– Это все «Маленький принц». Мне его жалко. Ведь правда, он был у нас на земле?

– По-моему, правда.

– И по-моему, тоже. А мы не знали. Ведь это же ужасно. И если бы не Экзюпери, никогда бы не узнали, Не зря у него такое же красивое имя, как и у нас.

– Да.

– Я еще вот о чем думаю: хорошо, что он так и остался Маленьким принцем. Потому что страшно: а вдруг потом он стал бы самым обыкновенным? А у нас и так слишком много обыкновенных.

– Не знаю.

– Зато я знаю, это точно.

– А «Планету людей» ты прочитала?

– Я все прочитала, Рудольфио. По-моему, Экзюпери очень мудрый писатель. Даже страшно становится, до чего мудрый. И добрый. Помнишь: Барка выкупают на свободу, дают ему деньги, а он тратит их на туфельки для ребятшек и остается ни с чем.

– Да, – сказал он. – А помнишь Боннафуса, который разорял и грабил арабов, а они его ненавидели и в то же время любили?

– Потому что без него пустыня казалась бы им самой обыкновенной, а он делал ее опасной и романтической.

– Ты молодчина, если все это понимаешь, – сказал он.

– Рудольфио... – она замолчала.

– Я слушаю, – напомнил он.

Она молчала.

– Рудольфио, – отчего-то волнуясь, сказал он. – Приходи сейчас ко мне, я один.

Оглядываясь, она прошла к креслу и села.

– Ты чего такая тихая? – спросил он.

– Ее правда нет?

– Жены?

– Ну да.

– Нет.

– Мымра она у тебя.

– Что?

– Мымра – вот что!

– Где ты взяла это слово?

– В великом русском языке. Там для нее ничего более подходящего нет.

– Ио, ну нельзя же так.

– Не Ио, а Рудольфио.

– Ах да.

– Я недавно позвонила и попала на нее. Знаешь, что она мне сказала? Если, говорит, ты насчет резервуаров, то лучше обратись к учителю. По-моему, она ревнует тебя ко мне.

– Не думаю.

– Рудольфио, а правда, я лучше ее? Я ведь еще не оформилась как следует, у меня все впереди.

Он улыбнулся и кивнул.

– Вот видишь. По-моему, тебе пора с ней развестись.

– Не говори глупости, – оборвал он ее. – Я тебе слишком многое позволяю.

– Из любви, да?

– Нет, из дружбы.

Она, насупившись, умолкла, но было видно, что это ненадолго.

– Как ее зовут?

– Кого – жену?

– Ну да.

– Клава.

– Ничего себе нагрузочка.

Он рассердился:

– Перестань.

Она поднялась, на мгновение закрыла глаза и вдруг сказала:

– Рудольфио, я ненормальная, прости меня, я не хотела...

– Только не ревь, – предупредил он.

– Не буду.

Она отошла и отвернулась к окну.

– Рудольфио, – сказала она, – давай договоримся так: я у тебя сегодня не была и ничего этого не говорила, хорошо?

– Да.

– Считай, что это «до свиданья» я тебе сказала по телефону.

– Да.

Она ушла.

Через пять минут зазвонил телефон.

– До свиданья, Рудольфио.

– До свиданья.

Он подождал, но она положила трубку.

Она уже больше не звонила, и он ее долго не видел, потому что опять уезжал и вернулся только в мае, когда на солнечных весах лето окончательно перевесило весну. В это время у него всегда было много работы; вспоминая о ней, он все откладывал: поговорю завтра, послезавтра, но так и не поговорил.

Они встретились случайно – наконец-то в трамвае. Он увидел ее и стал нетерпеливо проталкиваться, боясь, что она сойдет, – ведь она могла сойти и на другой остановке, а он бы, наверное, не решился прыгнуть вслед за ней. Но она осталась, и он поймал себя на том, что обрадовался этому больше, чем следовало, наверное, при их дружеских отношениях.

– Здравствуй, Ио, – касаясь рукой ее плеча, сказал он.

Она испуганно обернулась, увидела его и, радостно замешкавшись, кивнула.

– Не Ио, а Рудольфио, – как и раньше, поправила она. – Мы ведь с тобой все еще друзья, правда?

– Конечно, Рудольфио.

– Ты уезжал?

– Да.

– Я однажды звонила, тебя не было.

– Я уже целую неделю здесь.

Народу в трамвае было много, и их беспрерывно толкали. Пришлось встать совсем близко друг к другу, и ее голова касалась его подбородка, а когда она поднимала лицо и он, прислушиваясь, наклонялся, приходилось отводить глаза – настолько это было рядом.

– Рудольфио, хочешь, я тебе что-то скажу? – спросила она.

– Конечно, хочу.

Она опять подняла лицо, совсем близко к его лицу, так что ему захотелось зажмуриться.

– Я все время скучаю без тебя, Рудольфио.

– Глупышка ты, – сказал он.

– Я знаю. – Она вздохнула. – Но ведь не скучаю же я по всяким мальчишкам, они мне сто лет не нужны.

Трамвай остановился, и они сошли.

– Ты пойдешь к своей Клаве? – спросила она.

– Нет, давай погуляем.

Они свернули к реке, туда, где начинался пустырь, и шли без дорожки, перепрыгивая через кочки и кучи мусора, и он взял ее за руку, помогая перебираться через завалы.

Она молчала. Это было непохоже на нее, но она молчала, и он чувствовал, что она, как и он, тоже полна волнения – сильного, гудящего и ничему не подвластного.

Они вышли к яру и, все еще держась за руки, смотрели на реку, и куда-то за реку, и снова на реку.

– Рудольфио, – не выдержав, сказала она. – Меня еще ни разу никто не целовал.

Он наклонился и поцеловал ее в щеку,

– В губы, – попросила она.

– В губы целуют только самых близких людей, – мучаясь, выдавил он.

– А я?

Она вздрогнула, и он испугался. В следующее мгновение он вдруг понял – не почувствовал, а именно понял, – что она ударила его, закатила самую настоящую пощечину и бросилась бежать, снова туда – через пустырь, через кочки, через волнение и ожидание.

А он стоял и смотрел, как она убегает, и не смел даже окликнуть ее, не смел броситься за ней и догнать. Он еще долго стоял – опустошенный, ненавидящий себя.

Это случилось в субботу, а в воскресенье рано утром ему позвонила ее мать.

– Рудольфио, простите, пожалуйста, я, наверное, подняла вас...

Голос у нее был сбивчивый, дрожащий.

– Я слушаю, – сказал он.

– Рудольфио, Ио сегодня не ночевала дома.

Ему надо было что-нибудь ответить, но он молчал.

– Мы в отчаянии, мы не знаем, что делать, что предпринять, это впервые...

– Сначала успокойтесь, – сказал наконец он. – Может быть, она заночевала у подруги.

– Не знаю.

– Скорей всего так оно и есть. Если часа через два не придет, будем искать. Только успокойтесь, через два часа я позвоню вам.

Он опустил трубку, подумал и сказал сам себе: ты тоже успокойся, может быть, она заночевала у подруги. Но успокоиться он не мог, наоборот, он почувствовал, что его начинает бить нервная дрожь. Чтобы унять ее, он пошел в чулан и, насвистывая, стал рыться в своих старых, еще школьных учебниках. Задачник по алгебре где-то запропастился, и, отыскивая его, он немножко отвлекся.

Телефон, притаившись, молчал. Рудольф закрыл за собой на кухне дверь и стал листать учебник. Вот она: если из одного резервуара в течение двух часов перекачивать воду в другой резервуар...

Зазвонил телефон.

– Она пришла. – Не сдержавшись, мать заплакала.

Он стоял и слушал.

– Рудольфио, придите, пожалуйста, к нам.

Она опять заплакала и уж потом добавила:

– С ней что-то случилось.

Не спрашивая разрешения, он снял плащ, и мать молча показала ему рукой на дверь ее комнаты.

Ио сидела на кровати, поджав под себя ноги, и, раскачиваясь, смотрела прямо перед собой в окно.

– Рудольфио! – позвал он.

Она обернулась к нему и ничего не сказала.

– Рудольфио!

– Перестань, – брезгливо сморщилась она. – Какой ты Рудольфио, ты самый обыкновенный Рудольф. Самый обыкновенный Рудольф, понимаешь?

Удар был настолько сильным, что боль сразу охватила все тело, но он заставил себя остаться, он подошел к окну и оперся на подоконник.

Она все раскачивалась взад и вперед и все смотрела перед собой, мимо него, и тихо скрипели под ней пружины кровати.

– Ну хорошо, – соглашаясь с ней, сказал он. – Но объясни, где ты была!

– Иди ты к черту! – не оборачиваясь, устало ответила она.

Он кивнул. Потом снял с вешалки свой плащ и, не отвечая на молчаливые вопросы ее матери, спустился с лестницы и пошел к черту. Воскресенье только еще начиналось, прохожих на улице было мало, и никто его не остановил. Он перешел через пустырь, спустился к берегу и вдруг подумал: а куда же дальше?

1965

Там, на краю оврага

Там, на краю оврага, вырыл нору суслик. Это был один из тысяч и тысяч подземных ходов, которые имеют вход и выход, – чуть заметный вход и чуть заметный выход в густой траве на краю оврага. Суслик, выскакивая из норы, становился на задние лапы, торопливо осматриваясь, отвешивал поклоны на все четыре стороны и только после этого бросался в пожелтевшее пшеничное поле. Возвращаясь, он снова отвешивал поклоны на север, запад, юг и восток и нырял в холодную нору. Стоял август – обросший травой, хлебами и солнцем.

Мальчишка пошел влево, потом повернул вправо и попал на дорогу. Он нашел палку и стал сшибать по краям дороги зернистые верхушки травы: справа налево и слева направо, раз, раз, раз... Оставались последние дни до школы. Ему не хватило лета, чтобы отдохнуть, и он чувствовал, что ему не хватит детства, чтобы набегаться вволю. Мальчишка все дальше и дальше уходил от деревни по узкой заросшей дороге. И лето расстилось перед ним широко-широко: мальчишка уже знал, что горизонты – это мираж, который, кроме самого слова, ничего не имеет. Он мечтал однажды снести горизонты, как заборы, чтобы видеть сразу и день и ночь – там, где они сходятся и расходятся.

Мальчишка шел лениво, потому что ему не хотелось уходить из лета и возвращаться к матери, которая обязательно будет говорить о школе. Но ему не пришлось уйти далеко.

* * *

Мать видела, как мальчишка уходит все дальше и дальше от нее, и молчала. Она еще могла бы крикнуть, но она вспомнила, что ей не один раз придется кричать его в сентябре, когда он, позабыв о школе, вот так же пойдет к краснеющим горизонтам. А до сентября оставалось всего несколько дней. Она, вздохнув, согласилась с ним: пусть, мальчишки взрослеют, когда остаются наедине. Она уже давно мечтала о дне, когда он скажет ей не мальчишеское «мама», а мужское «мать».

Много лет назад вот так же просто от нее уходил муж. Тогда ничего нельзя было поделать: где-то уже совсем недалеко от деревни рвались снаряды. Она шла рядом с мужем, совсем молодая, и все целовала, пока он не убежал от нее. Он побегал, а она, остановившись, крикнула ему то же самое, что повторяла перед этим тысячу раз:

– Возвращайся!

А вот это последнее он, видно, не расслышал. Через два года крепко-накрепко его расцеловала немецкая пуля, он так навсегда и остался с ней, даже не написав письма. Она узнала об этом ранней весной, когда за деревней среди подснежников снова гремели взрывы, срывая подснежники и бросая их к ее ногам. Она поднимала подснежники и шла на взрывы, но они умолкали прежде, чем она успевала до них дотянуться, и ей ничего не оставалось, как вернуться домой. И все-таки что-то случилось: ей казалось, что ее душу теперь навсегда опечатали и никто уже не сможет в нее проникнуть. Она ошиблась. Она не подумала тогда об этом мальчишке.

Десять лет – для нее это был тяжкий груз. Они проходили мимо – незнакомые и чужие, они торопились, чтобы, как спасательная команда после пожара, бури, наводнения, расставить все по своим местам, а она непонимающе смотрела, кому и зачем это нужно. По ночам она оставалась наедине со своей бабьей тоской, а утром, с трудом поднявшись, смазывала искусанные губы желтым вазелином и шла на работу. Сначала, как ролик киноленты, она по ночам видела одно и то же: где-то уже совсем недалеко рвутся снаряды, и муж убегает от нее все дальше и дальше, но потом ролик стерся, и она осталась совсем одна. Потянулись безвкусные, пресные годы, и у нее не было ни желания, ни сил что-либо менять в своей жизни.

Впрочем, что-то должно было случиться: жизнь не признает вечного шаха и всякий раз ищет новый ход. И это в конце концов случилось. Она вовсе не думала о том, кто в данном случае проиграет, – она сделала ход и смела фигуры. Он приехал в командировку откуда-то из города и позвал ее, быть может, не надеясь на успех. Она равнодушно – не из желания и не из тщеславия – именно равнодушно прыгнула в эту воду, просто окунулась с головой – плыть пришлось немного, и она, одеваясь, поняла, что легче ей от этого не стало. Он тоже оделся и ушел, тихонько прикрыв за собой дверь, а у нее не осталось ни радости, ни сожаления – одна пустота. Будто ничего не случилось – она уснула так же тяжело, как всегда, и, словно неоткрытая земля, осталась опять одна, не принимая ни радиосигналов, ни света далеких прожекторов.

Но уже скоро, через несколько месяцев, люди легко рассмотрели, что она таит в себе великое богатство для сплетен. Ей некуда было скрыться от них, и она шла по улице, принимая на себя множество вспышек осуждения, злобы, гнева, принимая и гася их в себе. Опять она была одна, пока не появился мальчишка.

Мальчишка... Он спас ее от тоски и от сплетен, он вывел ее из небытия и привел в мир, населенный людьми. Ей нелегко было привыкнуть в нем, но, привыкнув, она уже не жалела об этом. За эти годы она, казалось, залечила все свои раны и забыла о их боли.

И вот теперь, за несколько дней до сентября, мальчишка вышел за деревню и свернул вправо. Она не стала его кричать. Она стояла и смотрела, как он уходит.

* * *

Больше двадцати лет назад мина зарылась в землю, не выполнив чье-то задание, и, казалось, навеки похоронила там жуткую силу своего единственного слова. Она лежала, как обретенное яйцо, ни больше, ни меньше: белок – это стальная оболочка и желток – небольшой, туго свернутый смертельный комок, разлетающийся на тысячи искр. Больше двадцати лет длился ее летаргический сон, и только однажды, когда суслик, проводя мимо нее ход в свое жилище, прикоснулся к ней, она, приготовившись, замерла, но удар был слишком мягкий, и мина так и осталась миной. Потом они привыкли друг к другу и уживались, как хорошие соседи. И все-таки мина обладала слишком большой силой, чтобы неслышно умереть вместе с ней. Она устала от собственной тайны. Она с нетерпением ждала той минуты, когда можно будет сказать свое единственное слово.

* * *

А мальчишка все шел и шел к горизонту – маленький, недавно спущенный на воду корабль, плывущий по Великому летнему морю. Он шел, стуча по степи палкой, а горизонт отступал все дальше и дальше, куда-нибудь к Африке, где не бывает зимы. Но мальчишка настойчиво шел за ним.

Суслик выкатился из норы и, не оглядываясь, покатился по степи. У оврага суслик остановился и, как всегда, встал на задние лапы, оглядываясь по сторонам. И тут он увидел мальчишку. Инстинкт сработал мгновенно. Перевернувшись в воздухе, суслик упал в нору.

Мальчишка остановился. Ему хватило одной секунды, чтобы из мальчишки превратиться сразу в командира и капитана. Размахивая палкой – ура-а! – он бросился к норе. Перед ним был вход в укрытие врага. Мальчишка, не раздумывая, вонзил в него палку.

Степь, охнув, сжалась. Сверкнули тысячи искр, тысячи смертельных искр, но через минуту снова наступила тишина.

Суслик, выскочив из норы с другой стороны оврага, долго-долго бежал по вздрагивающей, как от землетрясения, степи. Он так никогда больше и не вернулся к оврагу.

Там, на краю оврага, взрыв поднял из норы натасканное сусликом зерно. Оно лежало на дне воронки – желтое и мудрое – как подарок мальчишке.

А потом, на следующий год, на этом месте выросла пшеница.

<1967>

Старуха³

Старуха была старая-престарая. Лицо у старухи уже не могло выражать ее чувств, этих глубинных течений, происходящих где-то внутри, и все больше и больше ветшало. Оно постоянно оставалось неподвижным, и эта неподвижность была тем более нелепой, что лицо продолжало жить.

Мать была лет на сорок моложе старухи, но и она жила уже в последних числах октября или в первых числах ноября, если год принимать за человеческую жизнь. Она редко смеялась и совсем не плакала – видно, кончилось у нее все, что необходимо для смеха и слез. А когда она улыбалась, то и улыбка получалась неотчетливой, словно ей для этого не хватало своих сил.

Девчонка еще была маленькая. Когда она начинала играть, то звенела и скакала, как кукла-неваляшка. Но по утрам девчонка ходила в школу и училась читать и писать.

Они жили одни, в маленьком домике на самом краю поселка, совсем без мужчин. Старик у старухи умер давным-давно, муж у матери погиб в тайге пять лет назад, а брат у девчонки не родился. Они жили одни, являясь продолжением друг друга: мать была дочерью старухи и девчонка была дочерью матери, внучкой старухи, словно на их генеалогическом древе отмерли все ветви и только на самой его вершине несмело бились зеленые листья, идущие прямо от ствола.

Когда-то в далекие времена старуха была шаманкой. С тех пор все шаманы повымерли, она осталась одна. Уже давным-давно никто не приходил к ней и не просил спасти человека, вызвать удачу перед промыслом или отвести болезнь от оленей. Она не обижалась на людей: теперь настали другие времена, и то, за чем раньше шли к шаману, сейчас получают в больнице, в магазине или в колхозе. Старуха и сама лет тридцать подряд ухаживала за оленями и была соболя, редко-редко вспоминая о своем шаманском прошлом. Оно ей ничего не давало. Она отрешилась от него, как отрешаются от неудачного замужества, неудачного, быть может, одним тем, что оно продолжалось недолго. Старуха совсем не помнила в лицо своего старика, оно у него было тофаларским – это все, что от него осталось. Она помнила многое другое, но только не это. Точно так же старуха не помнила, что она испытывала, когда, одурев, прыгала на заре вокруг костра, выбрасывая вверх свои обессиленные руки.

И вот теперь, накануне смерти, старуха забеспокоилась. Ее неподвижное лицо по-прежнему ничего не выражало, но за ним скрывались мучения, которые нельзя было унять, словно они заменили сердце и теперь сами перекачивают кровь. Старуха не боялась смерти, она знала, что от смерти не спастись. Она выполнила свой человеческий долг: после нее на свете остаются дочь, ставшая матерью, и девчонка, которая тоже когда-нибудь станет матерью. Ее род продолжался и будет продолжаться – она в этой цепи была надежным звеном, к которому прикреплялись другие звенья.

Старуху мучило то, что она последняя шаманка, больше никого нет. Сотни и тысячи лет – у ее отцов и дедов, у их отцов и дедов – тайна и сила, которыми она владела, всегда считались великими. И вот теперь всему этому приходит конец. Человек, заканчивающий свой род, несчастен. Но человек, который похитил у своего народа его старинное достояние и унес его с собой в землю, никому ничего не сказав, – как назвать этого человека, который унес у своего народа самое большое богатство?

Старуха сидела на кровати, вытянув перед собой свои короткие ноги, и тихонько подвывала. Кровать стояла у окна, и в окно была видна земля ее отцов и дедов, их отцов и дедов, которая устояла после всех бед и несчастий и продолжает стоять. Старуха, подвывая, смотрела

³ Впервые рассказ опубликован в авторском сборнике «Край возле самого неба» (Красноярск, 1966) под названием «Эх, старуха».

на эту землю, и ей чудились еще более страшные несчастья, после которых ничего не останется. Она была просто старухой, старой-престарой, собирающейся умирать, и то, что ей чудилось, уже казалось ей неизбежным.

Пришла мать, и старуха умолкла. Ее неподвижное лицо теперь следило за матерью. Мать гремела на кухне посудой и не обращала внимания на старуху. Старуха решилась.

– Эй! – позвала она мать. – Иди сюда.

Мать подошла и остановилась у кровати, не решаясь сесть рядом с умирающей старухой, словно боясь заразиться смертью.

– Я шаманка, – с последним достоинством сказала старуха.

Мать знала об этом.

– Больше нету, – с последней тоской продолжала старуха. – Я одна. Нельзя, чтобы наш народ остался без шамана. Беда будет.

– Что ты городишь, старуха? – удивленно спросила мать.

– Беда будет, – повторила старуха. – Я умру, меня не будет. Надо тебе быть шаманом.

– Что ты городишь, старуха? – сурово спросила мать.

– Не надо шаманить. – Старуха испугалась, что мать уйдет, и заговорила торопливей: – Не надо, не надо. Я давно не шаманю. Надо остаться шаманом. Я умру, меня не будет. Надо, чтобы был шаман.

– Из ума ты выжила, старуха, – сердито сказала мать и ушла на кухню.

Старуха отвернулась к окну и снова завывала. Тоскливые, непрерывающиеся звуки шли из ее глубин, не касаясь лица. Мать вышла из кухни, задумчиво посмотрела на старуху и ничего не сказала. Старуха выла с удовольствием, вкладывая в этот вой тоску и страх. У нее отнимали последнюю надежду, и она прощалась с ней. Она прощалась с собой перед тем, как навсегда потерять себя. Никто не мог отнять у нее это право – попрощаться с собой.

В это время прибежала девчонка.

– Перестань, старуха, – прикрикнула мать.

Старуха умолкла не сразу, постепенно заглушая вой, словно она вместе с ним уходила в даль. Она оставила его у себя внутри, так что ни один звук не доносился наружу, и, повернув лицо, увидела девчонку. Девчонка понуро и удивленно смотрела на нее от порога. Они встретились глазами, и старуха совсем заглушила в себе вой, потому что теперь он был ей не нужен. Все ее силы сосредоточились на другом – на мысли, что девчонка будет жить дольше матери.

– Эй! – сказала она и, приглашая, закивала головой. – Иди сюда.

Девчонка подошла. Мать вышла из кухни, стала рядом с ней.

– Пусть она будет шаманом, – жалобно попросила старуха у матери, протягивая руку к девчонке.

– Перестань, старуха, – оборвала ее мать.

– Беда будет, – запричитала старуха. – Меня не будет, беда будет. Шаман надо.

– Мама, что она говорит? – испугалась девчонка, отступая от матери.

– Я – последний шаман, – опять запричитала старуха. Больше нету. Я умру – беда будет. Надо ей быть шаманом.

– Она умирает, – торопливо говорила мать. – Она старая-престарая.

– А шаманы?

– Давным-давно она была шаманкой, а теперь вспомнила. Ты не бойся. Она старая-престарая...

– Ой-е-е, – причитала старуха.

– Перестань, старуха! – крикнула мать.

Старуха умолкла и закрыла глаза. Держась за мать и оглядываясь на старуху, девчонка пошла на кухню. Никто больше не сказал ни слова.

Старуха лежала с закрытыми глазами и вспоминала, как давным-давно, когда она была совсем молодой, к ней приехал свататься человек с тофаларским лицом – все, что осталось теперь от него в ее памяти. Она вспомнила, как в первый вечер они, причмокивая, курили одну трубку и все время подталкивали друг друга локтями. Если бы старуха могла, она бы улыбнулась. Ей хорошо было вспоминать об этом, и она вспоминала дальше.

Ночью старуха умерла.

Ее хоронили через два дня. Весь поселок пришел попрощаться со старухой. Люди, не торопясь, проходили перед ней и заглядывали в ее неподвижное лицо, неподвижность которого наконец-то обрела смысл. Они отходили и шептались – почему-то никто не разговаривал вслух. И только потом, когда на кладбище вырос еще один холмик – ровно такой, сколько места заняла старуха в земле, председатель колхоза произнес речь:

– Старуха была хорошим человеком, – громко, чтобы слышали все, сказал он. – Еще совсем недавно она не меньше мужиков добывала соболя.

Девчонка стояла рядом с матерью и видела, как люди, соглашаясь, кивали головами.

– В войну старуха больше всех купила облигаций, чтобы у нашей власти были деньги, – продолжал председатель.

Две старухи, которые стояли неподалеку от девчонки, в голос заплакали. Председатель умолк и высморкался.

– Не обижайся на нас, старуха, – сказал кто-то в толпе.

– Не обижайся на нас, старуха, – повторила мать.

– Я работала со старухой в стаде, – вдруг громко сказала какая-то нестарая женщина. – Я бы всегда хотела работать с ней. Никто так не любил оленей и работу, как она.

И снова люди, соглашаясь, закивали головами.

Девчонка стояла рядом с матерью и со страхом ждала, что вот-вот кто-нибудь из них скажет, что когда-то давным-давно старуха была шаманкой. Но никто об этом не сказал. Люди стали расходиться. Они забыли об этом. Ни один человек не вспомнил, что старуха когда-то была шаманкой.

– Мама, – девчонка остановила мать и спросила: – Мама, почему они не сказали ей это, когда она была жива? Она бы не узнала, что она была шаманкой. Она бы узнала, что она была другая.

Мать не ответила.

Вечером девчонка пришла на могилу старухи одна. Солнце еще не зашло, и разрытая земля, укрывшая старуху, торопливо срасталась с кладбищенской целиной. В поселке кричали петухи и лаяли собаки.

Девчонка, откашлявшись, повернулась лицом к поселку и, волнуясь, будто на экзамене, громко и отчетливо сказала:

– Старуха когда-то давным-давно была шаманкой, но потом исправилась. В войну она больше всех купила облигаций, после войны она не меньше мужиков добывала соболя, а когда старуха была телятницей, с ней хотели работать все люди.

И тут девчонка умолкла, потому что больше слов не было.

Соглашаясь сама с собой, она еще несколько раз кивнула головой и только потом пошла в поселок.

<1966>

Мужчины⁴

По дороге Димка сказал:

– Первый класс закончим, а там видно будет.

Нам с Димкой не дружить было никак нельзя. Мы родились в один месяц, жили рядом и у нас на двоих был один велосипед. Его сообща купили наши, чтобы мы были друзьями. Димкина мать говорила еще, что спустя несколько лет они собирались купить нам ружье, тоже одно на двоих, но у них ничего не вышло, потому что Димкиного отца посадили в тюрьму.

Школа у нас была немаленькая, но мы тогда во всей школе не учились, а учились только в одном, самом большом классе. В первом ряду сидели мы, первоклассники, во втором второклассники, весь третий и полчетвертого ряда занимал третий класс, а на последних трех партах сидели четвероклассники. Мы учились с утра, а потом наша учительница обедала и бежала за три километра в Петровку, потому что у петровских своей учительницы не было.

На самый первый урок к нам пришел председатель сельсовета дядя Костя. У него была только одна нога, вторую ему отстрелили на фронте. Он подал учительнице костыли, чтобы она их подержала, сел за стол и сказал:

– Те, которые дети фронтовиков, встаньте.

Я поднялся, Димка остался сидеть. Нас стояло много, война тогда шла вовсю. Дядя Костя оглядел нас и наказал:

– Дети фронтовиков должны учиться хорошо!

– Константин Петрович, – вмешалась наша учительница, – все ребята должны хорошо учиться.

Дядя Костя подумал и поправился:

– Все ребята должны хорошо учиться, но дети фронтовиков должны учиться лучше всех.

Понятно?

– Понятно, – закричали мы, и дядя Костя взял у учительницы костыли и ушел.

За один урок в нашей школе можно было научиться чему хочешь. Когда мы, например, хором учили буквы из азбуки, во втором классе в это время шла арифметика, в третьем – родная речь, а в четвертом история или география. В войну ребята хулиганили мало, если они, конечно, были настоящие хулиганы, и все равно одной учительнице с нами со всеми управиться было тяжело. Даст она, например, нам задание, а сама уйдет к третьему классу и читает им родную речь, а мы тоже слушаем, если интересно. Зато, когда мы вслух учили буквы, с нами вместе их повторяли и в третьем, и в четвертом классе. Они сидят, пишут, а сами повторяют. Разве поймешь, кто это – они или мы – ведь букву говорят громко, вслух.

Когда мы уже научились немножко читать, к нам опять пришел дядя Костя.

– Те, которые дети погибших воинов, встаньте! – приказал он.

Захлопали крышки у парт, и поднялось восемь человек. Девятый, Колька Афанасьев из третьего класса, сначала тоже вскочил, но растерялся и сел, ожидая, скажут ему подниматься или не скажут. Я бы на месте Кольки тоже не знал, вставать или не вставать, потому что у него отец потерялся без вести. Вот уже год после того прошел, а он все не находился.

Дядя Костя поднялся за столом и по очереди оглядел всех, кто стоял.

– Гады! – закричал вдруг он. – Изверги! Таких людей извели, таких ребятшек сиротками сделали! У-у-у, гады!

⁴ В ранних редакциях (Красноярский комсомолец. 1966. 15 мая; Человек с этого света. Иркутск, 1967) рассказ носил название «Мы с Димкой».

Мы испугались и молчали. Было видно, как дядю Костю трясет, поэтому он больше ничего не мог сказать. Но потом он пришел в себя и сказал учительнице, которая тоже испугалась и стояла у печки:

– Надо их как-то выделить, чтобы видно было, что отцы погибли героями.

Учительница пожала плечами, она, видно, не знала, как их можно выделить.

– Флажки им на парты поставить, – подсказал дядя Костя. – Красные, наши, советские. Чтoб у других слезы к глазам подступали, а сами они, – дядя Костя показал рукой на тех, кто стоял, – помнили и учились на круглые пятерки.

После уроков мы с Димкой стали помогать ребятам и учительнице делать флажки. Мы вырезали их из старого лозунга, который повесили на воротах нашей школы еще до войны и на котором было написано «Да здравствует 1 Мая...» и дальше еще что-то. Материал на лозунге весь повыщел, и от красного на нем ничего не осталось, но другого у нас не было. У нас тогда много чего не было, даже тетрадок, и писали мы на газетах, а чернила разводили из сажи.

Мы сделали восемь флажков и истратили только пол-лозунга, а пол-лозунга спрятали в шкаф – это для тех, у кого отцы еще не погибли, но со временем погибнут. Флажки мы поставили на парты, просто воткнули их в щели, и наш класс сразу стал совсем другой, какой-то печальный, потому что флажки не развевались, а только висели. Если рядом быстро пройти или пробежать бегом, то флажок откидывался, а потом снова падал, и ничего с ним нельзя было поделать.

– Димка, – спросил я, когда мы шли домой, – а как же Колька Афанасьев?

– Колька Афанасьев – другое дело, – ответил Димка.

– Почему?

– Ты же знаешь, у него отец потерялся без вести.

– Ну и что?

– А может, он с фронта сбежал?

Я стал думать, потом сказал Димке:

– Нет, Димка, это неправда. Если бы Колькин отец сбежал с фронта, он бы прибежал сюда, уж целый год прошел. А раз его нету, значит, он тоже погиб, только погиб так, что никто не видел. Наверно, он погиб не смертью храбрых, а простой смертью.

– Кто его знает, – заколебался Димка.

– Давай, Димка, вернемся и сделаем Кольке флажок. Потому что так нечестно. У всех есть, а у него нет. И отца тоже нету. Думаешь, ему не обидно? Еще как обидно.

– Мне-то что, – пробормотал Димка. – Давай вернемся и сделаем.

Мы повернули обратно. В школе уже никого не было: учительница ушла в Петровку, ребята убежали по домам. Мы с Димкой достали лозунг и сделали еще один, девятый флажок, а потом поставили его на Колькину парту. Я стал прятать лозунг обратно в шкаф.

– Подожди, – сказал Димка, – посмотрим, сколько осталось.

Мы разостлали лозунг на полу, и Димка стал считать – на сколько флажков еще хватит.

– Вот весь изрежем, тогда и война кончится, – сказал он.

– Откуда ты знаешь? – удивился я.

– А я не знаю, – ответил Димка, – я просто так сказал.

Утром мы прибежали в школу пораньше, чтобы посмотреть, что будет делать Колька, когда увидит флажок. А Кольки, как нарочно, долго не было, он пришел уже перед самым уроком и сначала ничего не заметил и только уж потом завертел головой и заволновался – видно, он решил, что сел не за свою парту, но осмотрелся – нет, парта его, а что он думал про флажок, – мы не знали.

Учительница тоже увидела, что на Колькиной парте стоит еще один флажок.

– Афанасьев, – сказала она, зачем ты это сделал?

Колька вскочил.

– Это не я. Я пришел, он тут...

– Кто это сделал? – спросила учительница у всех.

Мы с Димкой поднялись и сказали:

– Это мы.

– Почему вы считаете, что у Афанасьева на парте должен стоять флажок?

Мы с Димкой молчали.

– Ну, отвечайте!

Димка кивнул на меня.

– Ну?

– Если бы Колькин отец сбежал с фронта, то он бы прибежал сюда, больше ему бежать некуда. Ведь он не прибегал, правда, Колька? Колька опять вскочил:

– Нет, его не было. Честное пионерское.

– Хватит, – оборвала нас учительница. – Садитесь.

Не говоря ни слова, она по очереди открыла все окна в классе. Начиналась весна. Мы стали смотреть, как флажки шевелятся, будто оживают и начинают дышать. Так и хотелось помочь им: разделить бы всем поровну и дуть на них из всей силы – тогда бы они забились.

Учительница встала и закрыла окно.

– Начнем урок, – сказала она.

Димка толкнул меня в бок и показал на дверь. Там стоял мой младший братишка Женька, которому исполнилось всего четыре года. Он увидел меня и потопал ко мне через весь класс. Ребята засмеялись.

– Здравствуйте! – удивленно сказала учительница, но Женька не ответил, он даже не повернулся к ней и продолжал топтать ко мне.

– А ну, марш домой! – попросил я.

– Володя, – захныкал Женька, – у нас папку сегодня на войне убили.

– Чего ты выдумываешь?!

– Я не выдумываю, – обиделся Женька. – Мамка письмо получила и теперь плачет.

Я кинулся из класса, Димка за мной. Женька бежал сзади.

Дома я распахнул дверь – у нас было много народу. Где-то там, за народом, голосила мама. Я повернул обратно, в дверях столкнулся с Димкой, проскочил мимо него и бросился на верхний край деревни, туда, за деревню. Димка опять побежал за мной. Где-то позади кричал Женька, он далеко отстал, но все бежал и кричал.

Я остановился возле землянки, которую мы с Димкой вырыли, когда еще не ходили в школу. Здесь было тихо, но где-то недалеко опять закричал Женька. Я не стал ему отвечать. Я сел у входа в землянку – можно было забраться и внутрь, но там было грязно. Подбежал запыхавшийся Димка и сел в сторонке.

– Володя! – кричал Женька. – Володя, где ты?

Мы с Димкой молчали. Женька заплакал и пошел обратно в деревню.

– Плакать будешь? – спросил меня Димка.

Я не ответил.

– Когда отца убивают, – можно.

– Толку-то, – откликнулся я.

– Толку нету. Говорят, легче бывает.

Было слышно, как в деревне беспокойно лают собаки, где-то за рекой ухнул выстрел.

– Вот у меня отец хоть и живой, а считай, без отца, – сказал Димка. – Еще хуже. Один стыд только.

– Ты его разве помнишь?

– Жить неохота, – сказал Димка.

– Может, он хороший человек был?

– Ну и что? А если он против русских шел?

Я не ответил. На другой день мы вырезали из нашего лозунга флажок, который мне полагался за отца. Мы воткнули его в парту, а потом сели за нее и стали рядом сидеть. Тут я опять понял, что отца у меня больше нет и уже никогда не будет. Мне захотелось плакать, но я сдержался и не заплакал, только, пока я сдерживался, из глаз у меня выпала одна капля и стукнулась о парту. Я быстро стер ее рукавом, чтобы Димка не заметил, но он все равно успел заметить.

– Ты меня не бойся, – сказал он. – Давай, если что. Он положил свои руки на парту, а на руки положил голову, будто устроился спать. Я сделал то же самое. Было так тихо, что показалось, война кончилась и такая тишина стоит везде. Но мы-то знали, что она не кончилась.

Мы еще лежали так, а потом пошли домой. Мы шли тихонько, потому что мне было страшно идти домой.

– Хочешь, я с тобой пойду? – предложил Димка.

– Хочу.

У нас дома стояла тишина. Мама, обняв Женьку, спала на своей кровати, а тетя Варя, Димкина мать, сидела с ней рядом.

Она увидела нас и замахала руками:

– Идите к нам, к нам идите. Поешьте там чего и никуда не убегайте, я скоро буду.

Я остался у Димки на ночь, и мы с ним спали вместе, а утром опять пошли в школу.

Потом война ушла из СССР и шла в других странах, но наших людей все равно там убивали. Весной мы сделали еще два флажка, и от лозунга осталось флажка на три, не больше. На войну его могло не хватить, а другого лозунга у нас не было.

– Может, обойдется, – сказал я.

– Должно обойтись, – кивнул Димка.

– Уж теперь война скоро кончится, немножко осталось.

Когда до конца первого класса осталось месяц или полтора, к нашей учительнице после ранения приехал капитан. Кем он ей был, мы не знали, наверно, женихом, потому что везде ходил за ней и даже один раз пришел к нам на урок. Пока учительница занималась с четвертым классом, он рассказывал нам про войну. Конечно, учительницу никто не слушал, все слушали его. У нас в деревне своих капитанов не было, а все больше были солдаты, и живого капитана мы видели в первый раз.

Он рассказывал, рассказывал, а потом почему-то спросил у меня:

– У тебя отец по званию кто был?

– Сержант, – ответил я, вскочив. Я сказал не «сержант», а «сел-жант», потому что «р» у меня не получалась.

– Ты не умеешь выговаривать букву «ры»? – засмеялся капитан. – Милый, тебя на фронт ни за какие пряники не возьмут.

Я замер. На фронт я не собирался, но одно дело, когда не собираешься, и другое – если тебя туда и не возьмут.

– Нет-нет, не возьмут, – продолжал капитан. – Ты сам рассуди: что решает успех боя и в конечном счете успех войны? Наступление – правильно?

Я кивнул.

– А что решает успех наступления, успех атаки? Многое, но прежде всего в самом начале атаки наш боевой клич, по которому русского человека знают и боятся во всем мире. Допустим, мне надо поднять своих солдат в атаку. Я поднимаюсь, устремляюсь вперед на врага и кричу... Что я кричу?

– Ура! – догадался я, но у меня получилось не «ура», а «уа».

– Ура!

– Петя, Петя! – учительница попыталась остановить капитана, но он не стал ее даже и слушать.

– Ура! – еще раз закричал он и, вдруг смолкнув, обвел нас бешеным взглядом. – И что мне на это отвечают мои молодцы, ваши отцы и старшие братья?

– Ура! – закричали ребята, прыгая через парты и набрасываясь друг на друга.

Мы с Димкой молчали. Капитан подошел к нам и, запыхавшись, сказал мне:

– Тренироваться надо. Будешь тренироваться – получится.

– Петя, перестань! – крикнула учительница.

– Все-все, я устал, я ухожу. – Капитан направился к двери. – Атака закончена, враг разбит.

Молодцы, ребята!

– Ура! – еще раз прокричало несколько голосов.

Когда урок кончился, мы с Димкой пошли в нашу землянку.

– Ты не обращай внимания, – сказал Димка.

– Ян так не обращаю. Дурак он.

– Ясно, дурак, – согласился Димка.

– Слушай, Димка, а пойдем сейчас к нему и скажем: «Ты не капитан, а дурак».

Димка промолчал.

– Пойдем, Димка! Ничего он нам не сделает.

– Не надо, – сказал Димка. – Он еще обидится и не пойдет больше на фронт. Пусть идет – может, фашиста убьет. А война кончится, ему и без нас скажут, что он дурак.

– А если не скажут?

– Ну, что ты! Еще как скажут! Вот увидишь, после войны дуракам никакого житья не будет.

– А что с ними можно сделать? – спросил я.

– Не знаю, – сказал Димка. – Наверно, учиться заставят. После войны знаешь, как все будет?

– Как?

– Ну, как? – Димка замялся. – Войны не будет, – сказал потом он. – Вот так.

Через несколько дней первый класс у нас с Димкой закончился, а война все еще шла. Это был май 1944 года.

<1966>

В общем вагоне

Давно, очень давно Волков не ездил в общем вагоне, а тут пришлось. Это было время летнего пассажирского наводнения, и поезда, как волны, один за другим шли к дальним западным и восточным берегам, с шумом сшибаясь на вокзалах и каким-то чудом все же расходясь по сторонам. Волков прошел в последний вагон и стал проталкиваться среди ног и спин. Сесть было негде: всюду люди и узлы, и узлы походили на людей, а люди на узлы – те и другие двигались, толкались и искали свободное место. Волков встал у самого выхода из последнего купе и снял пиджак.

Духота в вагоне стояла невыносимая. Люди быстро вспотели и теперь пылали, словно костры, разоженные друг возле друга. Капли пота на их лицах сверкали, как искры, – казалось, вот-вот они затрещат, разлетаясь по сторонам, но в самый последний момент люди торопливо гасили их платками. Поезд уже должен был двинуться, но почему-то все стоял и стоял.

Прямо перед Волковым на скамье сидели две девушки лет по 17–18 и мужик в соломенной шляпе. Четвертое место было занято странного вида остроконечным узлом, родство которого с мужиком даже не надо было доказывать, – восседал как его родной сын. Волкова этот узел раздражал. Только потому, что его принесли раньше, он занял место, а человек должен стоять на ногах.

– Папаша, – не вытерпел наконец Волков, – а узел-то можно бы убрать, а?

– А там водка, – сказал мужик.

– Ну и что?

– А ничего. Оно, конечно, можно и водку под лавку засунуть. Вот ты и сядешь.

– Спасибо, – буркнул Волков.

Только он сел, поезд тронулся. По вагону сразу же прошелся ветерок, и люди зашевелились, задышали, стали приглядываться друг к другу. В ожидании время остается как бы всего лишь с одной часовой стрелкой: оно утомительно и неторопливо. Но вот ожидание кончилось, минутная стрелка снова пошла по кругу, и люди сразу стали другими, словно в них тоже заработали какие-то важные части, которые были выключены. Мужик рядом с Волковым вдруг о чем-то забеспокоился и заерзал на своем месте, поглядывая то в одну, то в другую сторону. Потом он повернулся к Волкову.

– Далеко едешь?

– Нет.

– Это, смотря, как рассматривать, – философски заметил мужик, – а то можно сказать, что и до Москвы недалеко.

– Можно, – согласился с ним Волков, – но я до Москвы не доеду, я утром сойду.

Мужик кивнул головой, но не успокоился. О чем-то размышляя, он еще раз кивнул и после этого спросил:

– Это какая же остановка у нас утром будет?

– Комарове.

– Комарово, – мужик обрадовался. – Вот как. Так бы сразу и сказал, что Комарово.

– Они вот тоже в Комарово вылезать будут, – он показал рукой на девушек. – У меня там дружок до войны жил, Ванька Андриянов. Может, знаешь такого?

– Нет, не знаю, – сказал Волков. – Я там еще не был.

– Значит, в первый раз. Посмотри, посмотри. А я в Комарово был. Давно был, до войны еще. Мы там с Ванькой Андрияновым на бухгалтерских курсах вместе учились. А ты-то туда в гости едешь?

– Нет, не в гости. В командировку.

– А-а-а, ишь ты.

Видно, перед поездом мужик выпил и теперь мог беседовать хоть со всем вагоном. То и дело он засовывал ногу под скамью и передвигал там свой узел. Вид при этом у него был сосредоточенный и внимательный. Потом он ставил ногу на место и начинал крутить головой, словно проверяя, все ли в ней хорошо. По всему было видно, что мужик страдает, а страдать он, конечно, не хотел. Поэтому, решившись, он осторожно подтолкнул Волкова локтем, и когда тот обернулся, зашептал, показывая пальцем под скамью:

– Ав сумке-то водка.

– Да-да, – сказал Волков, не зная, что на это надо отвечать.

– Давай, – предложил мужик, сладко прищурившись.

– Нет, – Волков отказался. – Жарко.

Мужик кивнул, но сам, конечно, не понял, как можно отказываться от того, что, по его мнению, объединяет сердца и души всех людей. Он умолк, но не успокоился. Он поднялся и, оглядываясь, пошел в ту сторону, куда шел поезд.

Волков с облегчением вздохнул.

Трясло в вагоне ужасно – сказывалось то, что он был последним. Казалось, он беспрестанно переваливается с рельса на рельс, словно подпрыгивая то на одной ножке, то на другой, потом отдохнет, пройдетя немножко как следует и снова начинает прыгать. Привыкнуть к этому было бы нетрудно, знай Волков, что в поезде нет купированных вагонов и все едут так же, как и он. Но они были, и люди в них играли в шахматы, читали книги или просто, в конце концов, могли валяться на скамье и ничего не делать. Мысль об этом раздражала Волкова, и он морщился от нее, заранее чувствуя себя разбитым и нездоровым. О том, что будет ночью, он старался не думать.

Поезд шел на запад, вслед за днем, но не поспевал за ним, его самого уже нагонял вечер – он был здесь какой-то дымчатый и неясный, словно уставший от бега. Волков смотрел в окно, но как-то невнимательно – смотрел и почти ничего не видел.

Девушки рядом с ним о чем-то щебетали, и он невольно прислушался. Они говорили об одноклассниках, перебирая каждого, – кто куда пошел после школы. Сами они, судя по всему, только что сдали экзамены в институт и теперь на несколько дней, оставшихся до занятий, ехали домой. Они уже сейчас жили встречами и разговорами, которые им предстоят дома, ради них они и ехали, хотя, наверно, могли бы не ехать. И, конечно, они правы – это стоило того, чтобы тратить деньги и вести себя по-ребячьи. Волкову захотелось поговорить с ними и хоть ненадолго приобщиться к их радости, к чувству, которое он когда-то испытал сам. Сколько же с тех пор прошло?

Ровно шестнадцать лет, он один прожил почти столько же, сколько они вдвоем, но они считают себя совсем взрослыми, а он, наоборот, думает о своей взрослости как о будущем, хотя ему за тридцать. И попробуй тут разберись, кто прав, а кто нет.

Думая об этом, он спросил совсем другое.

– А Комарове далеко от станции, девушки?

Они повернулись к нему разом.

– Нет, два километра, – сказала одна.

– Там автобус ходит, – подсказала другая.

– Это хорошо, что автобус, – он улыбнулся им.

– А вы, правда, в первый раз к нам?

– Правда.

– А что вы слышали о нашем городе?

– Кажется, ничего, – сказал он, подумав. – Кроме того, что есть такой. Но, если вы хотите, я могу рассказать вам о нем.

– Это как? – спросила та, которая сидела рядом с Волковым, недоуменно подняв на него свои громадные, какого-то весеннего цвета глаза, в которых было и голубое, и синее, и зеленое – все сразу.

– А вот так.

Волков был рад, что затеял этот разговор – скорее время пройдет, но главное было не в этом, главное заключалось в том, что он будет меньше завидовать их молодости, непосредственности, наивности, тому внутреннему человеческому пространству, которое не заполнено еще в них ни большими ошибками, ни большими заботами.

Рассказать о городе, в котором они жили, Волкову ничего не стоило: он много ездил и знал, что районные городишки мало чем отличаются друг от друга.

– У вас там деревянные тротуары, – начал он, – да и то они в порядке только на главной улице. Эта улица длинная-длинная и по ней от начала и до конца – это значит от вокзала и до какого-нибудь маслозавода – ходят маленькие автобусы, с одной, с передней дверцей.

– Но у нас есть и большие, – поправила его та, которая сидела в углу. – И ходят они не до маслозавода, а до РТС.

– До РТС, – он сразу согласился. – Они проходят мост через Комаровку – так называется ваша речка?

– Та-ак.

– Она неширокая, спокойная, и зимой по ней возят сено. На лошадях. Теперь дальше. Город ваш почти весь деревянный, двухэтажных каменных зданий только пять или шесть – это райком, две школы, комбинат бытового обслуживания, клуб и контора РТС. Гостиница деревянная, и вход в нее почему-то со двора.

– Вы, правда, у нас не были? – удивленно спросила его девушка с весенними глазами.

– Правда.

Пришел мужик, шумно сел на свое место и, прислушиваясь, настороженно молчал.

– А вы не смеялись над нашим городом? – снова спросила девушка.

– Нет, зачем же?

– Он у нас старый, добрый и никому зла не делает. Мы его любим.

Волков улыбнулся.

– Честное комсомольское!

– И все-таки вы уезжаете из него в большой город, – сказал Волков.

– Во-во, – подхватил мужик. – Жили-были и нету. Только поднялись и ищи-свищи. От отца, от матери – ко всем чертям, и не найдешь – вот какое дело! А в деревнях что происходит!

– Да нет, отец, – с досадой сказал Волков, – не о том вы. Они же учиться едут. В своем маленьком городе они становятся добрыми – от тишины, от тополей, от речки, а умными надо становиться где-то в другом месте.

– Куда там!

– А что – конечно.

– Во-во, все умные, одни мы дураки.

– Да зачем вы так?

– А едут пускай едут. Мне начхать да рюмочкой запить, вот и все расставанья. У меня свои проблемы огородом стоят, весь век разбирай, не разберешь.

Волков молчал.

Мужик пожевал губами и вдруг радостно толкнул Волкова в бок.

– Земляка я встретил. В том вагоне едет. Я, значит, иду, а он сидит. Вот так я его и обнаружил. А он не знал, что я еду, оттого и сидел. А еще говорят...

Мужик на полуфразе умолк и, наклонившись, стал шарить рукой под скамьей, пока бутылки не зазвенели.

– Голос подают, – обрадовался он. – Водка, она в бутылке тоже ум имеет, а уж когда в человека войдет, то там безобразия разводит – это верно.

Он взглянул на Волкова, словно проверяя, какое на того это произвело впечатление, но ничего не увидел и продолжал:

– У меня сосед был. Весь век ни капли в рот не брал, а помирать лег, старуху за бутылкой послал. И всю ее, значит, выпил и помер. Это как объяснить?

– Не знаю, – пожал плечами Волков.

– А чего тут знать? Значит, всю жизнь человек от этой трезвости, как от заразы, мучился, а перед смертью не вынес. Это понимать надо.

Мужик, довольный собой, глубокомысленно вздохнул, заглянул вправо и обрадованно произнес:

– Идет, идет!

Подошел парень.

– Ну, здравствуй, еще разок, Петро, – засуетился мужик, протягивая ему руку.

– Здравствуй, Иван Сергеич.

– Вот ведь как, Петро, а! Ты, значит, там едешь, а я здесь сижу. Это как, а?

– Бывает, – развел руками парень.

– Ну, мы это положение исправим. Ты как, а? Ничего?

– Ничего.

– Во-во. Главное – не быть дураком. Правильно я говорю?

Мужик достал узел, поставил его себе на колени и развязал. Все это он проделал не спеша, с нескрываемым удовольствием. Бутылки были спрятаны в носки – видно, чтобы в дороге не побились.

Парню сесть было некуда, и он, стоя перед мужиком, следил за каждым его движением.

Вот показалось горлышко, и мужик, все так же не торопясь, отбил с него сургуч и достал стакан.

Рядом с Волковым забулькало.

– Ну, за встречу или как?

– А хоть как.

– Во-во.

А поезд все шел да шел. За окном лежала темнота, и поезд прошивал ее, как игла.

В соседнем купе заплакал ребенок. Волков видел, как мать, укачивая его, смотрела в темноту, и ей, наверно, было, тревожно от ее близости. Мужик снова налил в стакан и, набираясь духу, замер. У девушки, которая сидела рядом с Волковым, тускнели от тяжести глаза – два ее маленьких солнца приближались к закату. Черная, голая шея парня, которую, видимо, и зимой и летом укутывали только ветры, стала багровой.

Люди на скамьях постепенно расплывались. Волкова клонило ко сну, и все, что было перед ним, получало другие очертания и измерения.

Мужик, резко повернувшись, больно толкнул Волкова в бок.

– Осторожней, отец, – открывая глаза, со злостью сказал он.

– А, извиняй, извиняй.

Сон сразу пропал – покачался, покачался и, словно обидевшись, куда-то ушел. Волков выругался про себя и от нечего делать стал смотреть, как затихает вагон, как люди по очереди вытягивают ноги и роняют головы. Казалось, они были цифрами на какой-то замысловатой мишени, и невидимый стрелок мастерски поражает их одну за другой.

– Ну, я пойду, Иван Сергеич, а то место займут, – сказал парень.

– Иди, коли так, иди, – позволил мужик. – Я сейчас тоже прикорну, а завтра вместе сойдем. На сегодня хватит – правильно ты говоришь.

«Слава богу, – подумал Волков. – Может, правда успокоится».

Мужик прильнул головой к стене, что-то пробормотал и сразу же выпрямился.

– Мы какую станцию проехали? – спросил он.

– Не знаю, – ответил Волков. – Спи, отец, утром разберемся.

– Э, нет. Оно, конечно, спать можно, но, с другой стороны, можно и выпить. Ты как, а? Волков рассердился.

– Я никак, я уже сказал. И тебе, отец, хватит. Потом будешь всю ночь куролесить.

– Подожди, – мотая головой, сказал мужик. – Я тебе сейчас все, значит, до капли объясню.

Мы с Петром один носок опростали, а куда его один, когда у меня две ноги? Соображаешь?

Он хохотнул и снова достал узел.

Девушка, которая сидела рядом с Волковым, подняла голову и открыла глаза. Ее лицо недоуменно повернулось в сторону мужика и обиженно нахмурилось. Она снова закрыла глаза – казалось, хлопнула дверью и ушла, чтобы не оставаться вместе с ним. Но что-то заставило ее вернуться. Когда Волков повернулся к ней, она, вздохнув, молча смотрела перед собой, и этот вздох, как звук открываемой двери, снова вернул ее на прежнее место.

– Не спится? – вполголоса спросил Волков.

– Разве тут уснешь? – обиженно сказала она.

– Ничего, вы днем отоспитесь.

– Конечно, отосплюсь. А все равно спать хочется.

– А ваша подруга спит.

– Ага, она спит, – сказала девушка и, слабо улыбаясь, взглянула на Волкова.

– Что вы завтра будете делать? – спросил он.

– Не знаю.

– А я знаю.

– Вы все знаете.

– Да, – сказал он.

– А что я завтра буду делать?

– Вы пойдете по вашим деревянным тротуарам от самого вокзала до самой РТС.

Она молчала.

– Правда? – спросил он.

– Правда, – призналась она. – Но теперь я не пойду, раз вы про это знаете.

– Ну и зря.

– Я спать хочу, – сказала она. – Он еще долго будет пить?

– До утра, наверно.

Девушка неумело вздохнула. Через минуту, когда он взглянул на нее, глаза ее были уже закрыты, и Волков опять остался наедине с мужиком.

Тот, глядя куда-то в сторону, мял пальцами папиросу, и табак сыпался ему на колени.

– Вот что, отец, – Волков взял его за плечо. – Давай договоримся, что здесь ты курить не будешь. Здесь дети...

– Они спят, – возразил мужик.

– Если ты здесь закуришь, я тебя вытолкаю из вагона, – решительно сказал Волков.

Мужик поднялся и послушно заковылял в тамбур.

Волков устал. «Никогда, ни за что в жизни в общий вагон больше не пойду, – думал он. – Надо было подождать. Надо было пропустить хоть десять поездов, зато в одиннадцатом ехать нормально».

Потом он вытянул ноги и оглянулся на девушку. Она спала. Спать было неудобно, и она, охраняя себя от тряски, скрестила руки на груди. Ее узкие, сдвинутые вместе колени мелко подрагивали. Волков отвернулся, чтобы заглушить в себе поднимающуюся тоску. «Все это уже не для меня, – подумал он. – Вот так всегда: чет – нечет, чет – нечет, потом короткая, неслышная команда, и ты уже в другом ряду».

Он закрыл глаза, затем открыл их и еще взглянул на голые, дрожащие колени девушки. «Чет – нечет, чет – нечет, и ты уже в другом ряду», – повторил он.

Поезд, как шахтерская клеть, все глубже и глубже спускался в ночной забой, и отработанными штреками позади него оставались пустые и молчаливые станции. Иногда сбоку появлялась луна – единственный выход на-гора. В длинном, бесконечном коридоре, по которому шел поезд, насвистывал ветер.

Люди в вагоне, доверившись поезду, спали. Этот сон был беспокойным – то и дело кто-нибудь вздыхал или ворочался. Похоже было, что люди ехали на ночную смену – они спали как придется.

Волков долго сопротивлялся, но в конце концов не выдержал и, засыпая, почувствовал себя где-то высоко над землей. Он плыл над огнями, над крышами домов с посадочными крестами, но никак не мог выбрать место, где можно было бы приземлиться. Он заглядывал на них сверху, но сам пролетал мимо них, не останавливаясь. Было тихо, и ничто ему не мешало плыть все дальше и дальше.

Потом он почувствовал усталость, спустился, сел на первую попавшуюся скамью и, вытянув затекшие ноги, положил голову на спинку скамьи, чтобы было удобнее. Он решил отдохнуть.

Еще не проснувшись, Волков понял: что-то случилось. Казалось, кто-то стучался в него, он прислушался – стук был мягкий, но настойчивый, и он расходился по телу как вино – удар – глоток, удар – глоток и так без конца. Волков открыл глаза, осторожно повернул голову вправо и затаил дыхание.

Девушка спала, обняв его одной рукой и положив ему голову на плечо. Она спала и, видно, ни о чем не знала. Его сердце забилось сильнее, оно, как радист, быстро отстукивало своими длинными красными пальцами полные смысла точки и тире, разнося по всему телу весть о случившемся. А она дышала ровно и доверчиво, и это дыхание постепенно успокоило его.

Он прижался к ней ближе, закрыл глаза и тоже уснул. Но во сне он охранял девушку от всего, что могло бы ее разбудить. Он слышал, как пришел мужик и еще долго возился в своем углу, но он слышал все это так, как будто оно происходило где-то за стеной. Он отмечал про себя остановки, но отмечал их так, словно вспоминал забытое. Он спал и не спал, будто все время шел по коридору с темными и освещенными окнами.

Даже во сне он был счастлив от этой нечаянной близости с незнакомой ему девушкой, от близости, которая его волновала и одновременно успокаивала – он мог шагнуть в одну сторону, а мог в другую, и всюду ему было хорошо. В нем ненадолго сошлись два человека: один 18-летний парень, обнимающий свою девчонку в последней электричке, а второй – пожилой мужчина, к которому прижалась дочь. Случай устроил ему встречу, напоминая о чувствах, которые в нем были и которые будут, но он не мог в них разобраться, потому что спал.

Волков проснулся оттого, что ему стало холодно и одиноко. Он поднял голову и увидел, что уже рассвело. Девушка сидела, отвернувшись от него и глядя куда-то в сторону. Она стала чужой и далекой, нетрудно было понять, что она стыдится того, что произошло ночью.

– Скоро Комарове? – спросил он у нее.

Она не ответила.

– Сейчас будет, – сказала ее подруга.

Люди просыпались и, отряхиваясь, приходили в себя. По вагону пробежала проводница, размахивая желтым флажком. Девушки поднялись. Волков пошел вслед за ними, держась за верхние полки, – поезд уже тормозил.

Они сошли на перрон, и Волков сказал девушке, показывая на чемодан:

– Давайте помогу.

– Нет-нет, я сама, – она испугалась и заторопилась.

Задержавшись у газетной витрины, он подождал, пока она ушла. У него было такое чувство, словно он провалился на каком-то важном для себя экзамене и теперь многое потерял навсегда.

Он смотрел в газету, а сам думал: что же все-таки случилось?

Потом он шел по деревянным скрипящим тротуарам, которые угадал еще в поезде, по маленькому городку, в котором знал все наперед, и снова пытался понять, почему эта ночь в переполненном вагоне была такой хорошей и почему после нее осталась такая пустота. И идти ему уже никуда не хотелось, а хотелось сесть в поезд и вернуться обратно.

<1966>

День рождения

Рано утром, когда Виктор сошел с самолета, день рождения уже начался. Если считать от полуночи, он продолжается уже пять часов – было пять часов утра, начало шестого, а до следующей полуночи, когда он кончится, оставалось почти девятнадцать, больше чем достаточно. В последнюю неделю Виктор делал все возможное и невозможное, чтобы в этот день быть дома, и теперь, после нервного трепки, когда тысячу раз казалось, что ничего у него не выйдет, после горячки с работой, которую он закончил буквально за три часа до самолета, и после нескольких часов изнуряющего ночного полета, он чувствовал одну усталость и только потом слабое удовлетворение тем, что он своего добился. Он сел в машину, назвал шоферу адрес и закачался на сиденье, глядя перед собой обессиленными глазами, за которые ничто не проникло: он смотрел и ничего не видел.

У своего дома он вышел из машины и вдруг увидел солнце. Оно поднялось уже высоко – солнце его дня рождения, а значит, и его солнце, обещающая хороший и ясный день. Он подумал, что ему повезло: родился он зимой, поздней осенью или ранней весной, и все было бы по-другому, без этого разлива солнца и зелени, но зато с непогодой и непогодной спешкой, когда день рождения сразу же торопится уйти и его надо удерживать чуть ли не силой. А тут вот он: этот праздник уже сам по себе, который приходит и с улыбкой напоминает: вы не забыли, какое сегодня число?

Двадцатое июня. Можно подняться к себе и выспаться – этот день будет длиться долго, он почти самый длинный в году, и он подождет. Виктор жил один, и когда он открыл свою комнату, которая пустовала без него три месяца, – здесь еще не было праздника: на полу толстым серым слоем лежала пыль, в воздухе стоял ее сухой, неприятный запах, и вся комната, в которую давно никто не входил, недоуменно выглядывала голыми окнами на улицу. Виктор молча поставил чемоданчик у дверей, прошел и, чтобы этот солнечный праздничный день постепенно натекал в комнату, распахнул окна. Он заставил себя помыть пол и принять душ, потом лег. Прежде чем отмечать день рождения, ему надо было отдохнуть. В сущности, каждый человек весь год совершает кругосветное путешествие и только ко дню рождения возвращается домой. Он работает, учится, любит, делает успехи и терпит неудачи – и все это в дороге, где дни и месяцы, как географические координаты, следуют друг за другом до последнего мгновения, когда человек поздно вечером накануне дня рождения переступает порог родного дома, в котором он появился на свет. Наконец-то он остается один, и у него есть время подумать о себе, прежде чем отправиться в очередное путешествие. Он вспоминает мать, детство возле матери, и эти воспоминания, молчаливые сами по себе, снова говорят ему, что он не всегда был на свете, а значит, и не всегда будет. Он с тревогой начинает подсчитывать, сколько он прожил, и боится думать, сколько осталось, словно лезет не в свое дело, зато искренне удивляется, как много прожил, потому что только в день рождения человек точно знает, сколько ему лет. Потом он об этом опять забудет, уже через день он снова отправится в путь, и утратой для него станет еще один год – эта круглая, как монета, единица жизни, которая к старости необыкновенно поднимается в цене.

Через двадцать минут Виктор уснул, а день рождения потихоньку продолжался без него своими неторопливыми утренними часами. Люди, для которых этот день был обычным, просыпались и шли на работу; равнодушные к нему и сосредоточенные на другом, они не успели еще испытать в этот день ничего, чем бы он был им дорог, а то, что каждый день – чей-то день рождения, их не волновало.

Когда он проснулся, вокруг было полным-полно солнца, оно залило весь город и даже доставало до сопот далеко за городом. Солнце ослепило Виктора, и он, улыбаясь, несколько минут привыкал к нему и только потом посмотрел на часы. Было одиннадцать – столько часов

продолжался его день рождения, а он все еще не вступил в него, все еще готовил себя к этому вступлению. Волнуясь, Виктор заторопился. Он представил себе, как выйдет сейчас на улицу и позвонит друзьям: «Ребята, а вы не забыли, что у меня сегодня день рождения?» «Витька! – закричат они. – Приехал! Ну и ну!» И пойдет от улицы к улице: «Витька приехал! Он еще и именинник – будьте готовы!»

Он оделся и вышел на улицу. Теперь, когда все приготовления остались позади, его снова охватило волнение, и он решил подождать, пока оно пройдет. Он стоял и смотрел на людей. Люди не знали, что у него день рождения, и проходили мимо, они шли друг за другом по своим обыденным делам, и он для них был такой же прохожий, как и они сами. Они уже успели привыкнуть к лету, и их не удивляла ясная, солнечная погода, выдававшаяся в этот день, который – они знали это точно – утром пришел и вечером уйдет.

Телефонная будка стояла все там же, сразу за углом. Виктор снял трубку, улыбаясь, набрал номер, но сразу перестал улыбаться: ему никто не отвечал. Он подождал и снова набрал тот же номер. Гудки. Он обиделся. Он стоял в будке и смотрел через стекло на улицу – она вся была в солнце, как в весеннем цветении, и по ней, не торопясь, шли друг за другом люди.

Он мог бы набрать другой номер, но не решился, боясь услышать все те же гудки. Лучше всего немножко обождать: невезенья, как и беды, не ходят порознь – пусть пройдут. Он вышел из будки, старательно прикрыл за собой дверцу и стал прохожим.

Пока он звонил, день рождения не остановился ни на секунду.

Виктор шел и размышлял о том, что это его личный праздник, самый личный из всех, можно сказать, его собственность. Есть люди, которые не знают, когда у них день рождения. Это сиротство. И есть немало людей, которые забывают про свой день рождения. Это неуважение к себе, нежелание или боязнь остановиться и осмотреться, где ты есть, все ли у тебя так, как надо. Отмечая день рождения, человек находит и утверждает себя среди множества других людей и, как духовник, исповедует себя за прошлое и благословляет на будущее.

Становилось жарко. Казалось, день созревал, как плод, чтобы потом, к вечеру, опасть. После полудня поутихли уличные шумы, улицы стали тяжелыми, и солнце – желтый глаз светотопора между утренним и вечерним многолюдьем – повисло как раз над городом.

Возле телефонной будки Виктор остановился и осмотрелся. Улица была почти пуста – в одном и другом концах с нее уходили две последние фигуры, оставляя всю улицу Виктору.

Он зашел в будку и, прежде чем звонить, постоял в ней: теперь улица осталась совсем одна, и дома, как макеты, казались неживыми. Он вдруг забеспокоился, работает ли телефон, и стал торопливо искать монету. Она звякнула где-то внутри аппарата, и Виктор услышал гудок. Ему стало легче. Он набрал номер, но не тот, который набирал раньше, а другой, чтобы дать тому номеру возможность подготовиться к его звонку. Ему ответили.

– Здравствуйте, – обрадованно сказал Виктор. – Толя дома? Я бы хотел с ним поговорить.

– Толя уехал, – ответили ему.

– Уехал?

– У него отпуск. Уже две недели. Недели через две позвоните, он будет дома.

Виктор опустил трубку и стал смотреть на телефонный диск, на цифры в кружках, похожие на мишени в тире. Потом он набрал тот, первый номер, и долго слушал длинные гудки: ему по-прежнему не отвечали. Что такое? Он все еще смотрел на цифры, и теперь они казались ему загадочным шифром, который он не сумел разгадать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 0 – и больше ничего. И это в день рождения!

Он вышел. Мимо него по обочине тротуара, смешно подпрыгивая, бежали строем пять лохматых воробьев. Сдержаться было невозможно – он улыбнулся. Воробьи добежали до угла, затем, словно по команде, повернулись и запрыгали обратно. Виктор рассмеялся и вдруг увидел на противоположной стороне улицы девушку. Он показал ей на воробьев, но она ничего не поняла и даже не улыбнулась. Воробьи взвились вверх и потерялись в тополях.

Ничего страшного, решил Виктор, времени еще много. Он знал, что, куда бы он ни пошел, день рождения до самой последней минуты будет с ним вместе. Можно было вернуться домой и переждать жару, но даже мысль о том, что он останется один и будет бездействовать в день рождения, который не остановится ни на одно мгновение, заставляла его идти все дальше и дальше от дома.

День рождения уже перешел на свою вторую половину и постепенно начал скатываться вниз, к далеким холмам за городом.

Виктор пошел на автобусную остановку. Он не решался больше звонить – все равно никакого толку. Лучше нагряться к ребятам самому: постучаться, чуть отступить от двери, а потом, когда дверь откроют, смотреть на ребят так, будто он был здесь два часа назад или, по крайней мере, только вчера вечером. Виктор опять приободрился. Конечно, ничего страшного: времени еще полным-полно, почти десять часов золотого именинного времени, а в часах есть минуты, в минутах есть секунды.

Прежде всего он поехал к Женьке. Женька жил на четвертом этаже, и Виктор, поднимаясь к нему, чтобы не запыхаться, старательно ступал на каждую ступеньку. Перед дверью он сделал равнодушное, скучающее лицо, постучал и, когда за дверью послышались шаги, чуть отступил назад.

Ему открыла Женькина бабушка. Он обиделся: почему бабушка, неужели Женька не мог выйти сам? Теперь его планы рушились, а равнодушная, скучающая маска была и совсем не к месту. Он улыбнулся.

– Здравствуйте, бабушка!

– А, Витя! – Она узнала его. – Проходи, пожалуйста. Давно ты у нас не был.

– Я уезжал, – объяснил он, – три месяца был в командировке.

– Теперь все ездят, – вздохнула бабушка. – У нас Женька тоже уехал.

– Женька уехал?

– Тоже в командировку в какой-то город. Проходи, Витя, посидишь.

– Нет, я пойду, – отказался он. – Я потом зайду, когда Женька приедет.

Он спускался вниз, все так же ступая на каждую ступеньку. Вышел на улицу и остановился. Мимо прошел автобус, и он смотрел, как автобус лениво заворачивает за угол. Через две минуты из Женькиного подъезда вышла женщина и повернула вправо – Виктор и ей посмотрел вслед. Потом он вдруг спохватился и догнал ее.

– Скажите, пожалуйста, какое сегодня число? – спросил он.

Женщина растерялась и долго не могла вспомнить, наверное, не только число, но и даже месяц.

– Двадцатое, – сказала, наконец, она. – Двадцатое июня.

– Спасибо.

Женщина, оглядываясь, ушла. Виктор остановился и осмотрелся. Он смотрел на солнце, на улицу, уходящую от него в две противоположные стороны, словно хотел удостовериться, не фальшивый ли это день. Потом медленно пошел дальше.

Где-то заголосил заводской гудок: кончилась первая смена.

Прохожих сразу стало больше, а через полчаса – много. Теперь улицы сходились и расходились, полные людей. Виктора толкали, и он прибавил шаг, свернул на боковую улочку и в маленьком тихом скверике сел на скамью. Он сидел без движения и, казалось, чувствовал, как движется время: возле него чуть слышно шелестели секунды, где-то рядом падали, как капли воды, минуты – день рождения таял у него на глазах. Было больно сидеть и наблюдать, как он уходил. Виктор поднялся.

Он решил испытать счастье еще раз и снова позвонил. Надеяться было почти не на что, и когда ему ответили, он растерялся.

– Алло! – кричали ему. – Алло!

- Галка, – сказал он. – Где ты бродишь? Я тебе звоню, звоню...
- Неужели это ты? – спросила она. – Приехал?
- Ну конечно, приехал. Я тебе звоню, звоню. Где ты бродишь?
- Я была на консультации, я ничего не знала.
- Вот, – сказал он, – дозвонился. Как ты?
- Я ничего, – ответила она. – А ты?
- Тоже ничего. Слава богу, что ты пришла. Я уж думал, все пропало.
- Ну что ты...
- Ты тут без меня меня не бросила?
- Дурак, – сказала она.
- К тебе сейчас можно?
- Конечно, можно. С какой стороны ты пойдешь? Я тебя встречу.
- Не надо, – сказал он. – Я лучше к тебе постучусь, и ты выйдешь, хорошо?
- Да, – ответила она, – только скорей.

Он шел к ней, заставляя себя не торопиться, чтобы скрыть от себя радость, и на какое-то время забыл, что у него день рождения, вернее, перестал о нем думать, словно они ненадолго разошлись – Виктор и его день рождения – и договорились встретиться позднее.

Галка была дома одна.

– Слава богу, что я тебя нашел, – сказал он. – А то знаешь, как мне стало тоскливо? Хоть плачь.

– Почему? – спросила она.

– Не знаю. Может, потому, что у меня сегодня день рождения, а никого нет. Я весь день был один.

– У тебя день рождения?

– Да, – усмехнулся он. – Вот этот самый, который сегодня.

– Я ничего не знала, – обиженно сказала Галка.

– А это и не надо было знать. Я пришел, сказал, и этого достаточно.

Галка протянула ему руку.

– Поздравляю.

– Не стоит, – сказал он, пожимая руку. – Не люблю я все эти поздравления. Только не обижайся. От поздравлений мне и в самом деле бывает неловко, я чувствую себя так, будто меня проверяют, как я умею держаться.

– Ну, какая ерунда!

– Я знаю, а все равно... Ну ладно, хватит об этом. Давай куда-нибудь сбежим и что-нибудь натворим, а, Галка? Собирайся.

Она стояла перед ним, не двигаясь, и растерянно мигала глазами.

– Ну, чего ты? – сказал он.

Она покачала головой:

– Витя, у меня завтра экзамен, самый противный, а я ничего не знаю. Я, наверное, не смогу.

– А-а-а, – протянул он.

– Витя, а если мы перенесем твой день рождения на завтра? И тогда мы сбежим и натворим.

– Но он у меня сегодня, – сказал он. – Завтра будет другой день, не мой. Я привязан к этому дню, тут ничего не поделаешь.

– Что же делать? – спросила она. Он молчал. – Почему ты мне не написал? Я бы заранее приготовилась.

– Не надо ничего заранее.

– Что же делать?

– Учи, – сказал он. – Я пойду.

– Ты обиделся? – испугалась она.

– Нет-нет, ничего. Сегодня странный день. Учи, я приду завтра, когда он кончится.

Он ушел. Он шел никуда, лишь бы что-нибудь делать. С одной улицы свернул на другую, потом на третью – он и не знал, что куда-то идет, и не видел, куда приходит. В городе все еще был его день рождения, но солнце уже иссякло. Наступил теплый и тихий, как полусон, вечер. Улицы опять стали оживленными: люди в знак благодарности провожали день, который они благополучно прожили, и двигались вслед за ним туда, куда, казалось, он уходит.

Виктор долго бродил по городу.

Он припомнил, как встречал день рождения в прошлом году, и два, и три года назад, и вдруг сделал для себя одно важное открытие: всякий раз это был очень грустный день. Веселились друзья, звенели то стаканы, то бокалы, раздавались крики и смех, а он, молчаливый и тоскующий, сидел среди гостей, и было ему не по себе. «Что с тобой? – спрашивали они. – Ты совсем скис. Что-нибудь случилось?» – «Нет-нет, – отвечал он. – Ничего не случилось. Что-то нашло, сам не знаю что, не обращайтесь внимания». Потом он стал вспоминать, как вели себя другие, к кому он сам приходил на день рождения, – то же самое, никто из них не бывал веселым. Видно, это правило: день рождения – самый грустный день для человека.

Ничего странного тут нет, думал Виктор. В этот день человек грустит о своих несбывшихся надеждах, о планах, которым не дано было осуществиться, о мечтах, которые так и остались мечтами, – и во всем этом он упрекает себя, словно он не сдержал слово, которое давал не один раз. Человек смотрит на себя со стороны и остается недоволен собой: он отступал, ошибался, фальшивил, глумился, и вот теперь он то, что с ним осталось, и ничего уже невозможно вернуть. А потом где гарантия, что все хорошо будет завтра и послезавтра? Жизнь не закон, который можно вывести раз и навсегда, и никто никогда не чувствовал себя еще достаточно взрослым и опытным для жизни. С мудрецами она ведет себя по-детски, с детьми – как мудрец, для нее нельзя подобрать возраст, как подбирают одежду для зимы или лета.

В конце концов, ко дню рождения надо относиться проще, решил Виктор, и смотреть на него только как на точку, которая заканчивает каждый круг человеческой жизни.

В торжественных случаях можно считать его своим личным Новым годом – Новый год для одного человека. Для одного? Виктор насторожился. На земле живет почти три с половиной миллиарда человек. Три с половиной миллиарда на триста шестьдесят пять дней: каждый день – день рождения около десяти миллионов человек. Виктора поразила эта цифра. Сегодня на земле десять миллионов именинников, а в городе, в этом городе, где население больше 700 тысяч, – даже здесь их две тысячи! А он-то по наивности считал, что над городом стоит только его день и город охраняет его добрый дух.

Ему вдруг стало безразлично, как закончится его день рождения, лишь бы скорей он закончился, чтобы очутиться опять в простом, обыденном времени, с которым можно вести себя на равных. Завтра в городе будет две тысячи именинников, но это уж их забота, что они станут делать. Интересно, многие ли из них с таким же страхом, как он, оглядываются на каждую минуту дня рождения и с такой же надеждой ждут от каждой следующей минуты какого-то откровения?

Виктор вышел на набережную реки, и заходящее солнце ослепило его своим спокойным светом. Гуляли парочки, на них тоже был свет заходящего солнца, они тоже чувствовали его доброту и умиротворенность и разговаривали тихими неторопливыми голосами. От реки до лица Виктора доставал слабый ветерок, он доносил сырость и шуршание воды. Виктор взглянул на солнце, и глазам уже не было больно, они смотрели не щурясь. Он примирился с тем, что день рождения прошел, и провожал солнце без сожаления; была только грусть, что через несколько минут исчезнет этот мягкий, ласковый свет, который начал его успокаивать.

Он пожалел, что вышел на набережную так поздно.

Всюду гуляли парочки, и оттого, что он был один, ему стало неловко, словно он пробрался сюда тайком. Он обрадовался, когда увидел на берегу, возле самой воды, мальчишку, и спустился к нему. Мальчишка бросал в воду камни. Виктор сел рядом и стал смотреть на расходящиеся круги; по тому, как они расходились – с какой-то благосклонной неторопливостью, – и в них чувствовалась та же доброта. Солнце уже наполовину зашло и казалось удивительно четким.

Мальчишка заметил Виктора и остановился.

– Бросай, не бойся, – сказал Виктор.

– Я не боюсь, – фыркнул мальчишка. – Вот еще.

– Ну так почему не бросаешь?

– Не хочу.

Мальчишка собрался уходить, и Виктор решил удержать его: он не мог больше оставаться один. Мысль, что он проворонил свой день рождения, несмотря ни на что, жила в нем, и он боялся, что придется снова терзаться, что он мог сделать и не сделал, чтобы не быть сейчас одному.

– Как тебя зовут? – спросил Виктор.

– А тебе зачем? – не поддавался мальчишка.

– Низачем, конечно, – согласился Виктор и ответил откровенно: – Просто без этого трудно было бы сказать тебе, что у меня сегодня день рождения.

– У кого? У тебя?

– Ну да.

– Мне-то что, – буркнул мальчишка, но не ушел и, косясь на Виктора, снова стал бросать камни. – Ты через реку перебросишь? – спросил потом он.

– Нет, я думаю, никто не перебросит.

– Перебросят, – уверенно сказал мальчишка. – Что тебе подарили? – спросил он через минуту.

– Подарили? – Виктор за весь день ни разу не вспомнил о подарках. – Ничего не подарили.

– День рождения и ничего не подарили?

– Видишь ли, я только сегодня приехал, три месяца был в командировке. Ну и никто не знает, что я приехал.

– Так не интересно, – сказал мальчишка.

– Почему?

– Для чего тогда день рождения?

– А как ты считаешь, для чего он? – серьезно спросил Виктор.

– Чтобы был праздник, – ответил мальчишка. – В день рождения хорошо, – добавил он. – Что хочешь, то и делаешь. Только он быстро проходит.

– День рождения?

– Ага. Не успел оглянуться, а уж вечер. И опять целый год надо ждать. Знаешь, как плохо вечером, когда день рождения проходит?

– Знаю, – сказал Виктор. – Очень хорошо, брат, знаю. Тоска смертельная, будто завтра умирать. А? Как ты считаешь?

Мальчишка не ответил, видно, что-то в словах Виктора не понравилось ему. Откидываясь назад, он опять бросал камни. Солнце уже зашло, и темнеющая вода совсем притихла. Фигуры людей наверху казались громадными, но голоса их доносились слабыми, теряющимися отзвуками. На мгновение Виктору почудилось, что он потерялся: все вокруг выглядело нереальным. Он встрепенулся и окликнул мальчишку:

– Слушай, а что, если мы с тобой пойдем и выпьем в честь моего дня рождения?

– Я еще не пью, – ответил мальчишка.

– Я возьму тебе соку. Пойдем, а то мне чего-то тоскливо одному стало.

Мальчишка всполоснул в воде руки и встряхнул их.

– Пойдем. Только я ненадолго, мне домой надо.

– Понятно.

Они поднялись наверх и направились в кафе, которое было тут же, неподалеку, на берегу реки. Ощущение нереальности все еще не проходило: теперь, когда рядом с ним шагал незнакомый мальчишка, оно, казалось, стало больше.

– Почему ты один? – спросил вдруг мальчишка.

Что-то дрогнуло внутри Виктора.

– Так получилось, – отговорился он. – Тебе трудно будет понять.

– У тебя, наверно, нет друзей?

– Не знаю. Я считаю, что никто не знает, есть у него друзья или нет. И это хорошо: слава богу, хоть друзья не поддаются регистрации.

– Если ты так говоришь, значит, у тебя нет друзей, – сказал мальчишка.

– Ишь ты! – удивился Виктор. – Впрочем, может, ты и прав, не знаю.

Они зашли в кафе, и Виктор взял мальчишке стакан виноградного соку и себе стакан вина. Они молча выпили.

– Спасибо, – сказал мальчишка. – Теперь я пойду.

– Хочешь еще соку?

– Нет.

– Ну тогда топай. Будь здоров.

Мальчишка подал Виктору руку и подмигнул.

– Поздравляю тебя с днем рождения!

И потому, что он подмигнул, слова эти прозвучали просто и естественно. Они тронули Виктора. На них не надо было отвечать – такие поздравления всегда бывают искренними. Виктор только кивнул и остался сидеть. Мальчишка ушел. Виктор смотрел в окно, как он переходит через улицу. Потом поднялся и тоже вышел.

Он еще долго бродил по городу. Постепенно затихали улицы, наступала ночь. На душе у Виктора было пусто, он устал. День рождения теперь казался ему далеким и неправдоподобным. Он чувствовал себя так, будто находится в дороге и только завтра приедет в свой родной город: что-то было позади, что-то ожидалось впереди, но сейчас, в эту минуту, у него ничего не было. Он двигался, чтобы быстрее пришло завтра.

Только когда до полуночи осталось совсем немного, он направился домой. Поднимаясь по лестнице, он заметил на площадке у своих дверей чью-то фигуру. Фигура вдруг сказала:

– Где ты бродишь? Я тебя жду, жду...

– Неужели это ты, Галка? – он так устал, что в его голосе не было ни единой ноты удивления.

– Ну, конечно, я. Я тебя жду, жду... Где ты бродишь?

– Не знаю, – сказал он и открыл дверь. – Зачем ты пришла? Что ты завтра будешь делать на экзамене?

– Ерунда, – отмахнулась она.

– Я устал, – сказал он. – Этот чертов день...

– Зачем ты так – это был твой день рождения.

– Да, кажется...

Через минуту они услышали далекий тонкий звон: день рождения закрыл за собой свою последнюю дверь, с другой стороны открылась первая дверь нового дня.

<1966>

Василий и Василиса

Василиса просыпается рано. Летом ее будят петухи, зимой она петухам не доверяет: из-за холода они могут проспать, а ей проспать нельзя. Некоторое время она еще лежит в кровати и думает, что сегодня ей надо сделать то-то, то-то и то-то, – она как бы прикидывает день на вес, тяжелым он будет или нет. После этого Василиса вздыхает и опускает с деревянной кровати на крашенный пол ноги – кровать вслед за ней тоже вздыхает, и они обе успокаиваются.

Это полусонное, полубодрящее состояние длится у нее недолго. Она не замечает его, для нее это всего один шаг от сна к работе, один-единственный шаг. Одевшись, Василиса срывается и начинает бегать. Она затапливает русскую печь, лезет в подполье за картошкой, бежит в амбар за мукой, ставит в печь разные чугуны, готовит пойло для телят, дает корм корове, свинье, курам, доит корову, она делает тысячу дел – и ставит самовар.

Она любит ставить самовар. Первая работа сделана, рань прошла, и теперь Василиса испытывает жажду. День у нее разделяется не на часы, а на самовары: первый самовар, второй, третий... На старости лет чаепитие заменяет ей чуть ли не все удовольствия.

Она еще суетится, возится с чугунами, а сама все время посматривает на самовар: вот он уже посапывает, вот начинает пыхтеть, а вот забормотал, заклокотал. Василиса переносит самовар на стол, садится к нему поближе и вздыхает. Она вздыхает всегда, вздохи у нее имеют множество оттенков – от радости и удивления до боли и страданий.

Василий поднимается не рано, рано ему подниматься незачем. Даже летом, когда утрами вокруг него безумствуют петухи, он видит и слышит их всего лишь во сне. Единственное, как в бане, маленькое окошечко в его амбаре на ночь занавешено: Василий не любит лунный свет, ему кажется, что от луны веет холодом. Кровать стоит изголовьем к окошку, по другую его сторону стоит столик. У дверей на гвоздях развешаны сети, снасти, поверх них полушубки, телогрейки. Просыпаясь, Василий сдергивает с окна занавеску, жмурится от врывающегося света, а привыкнув к нему, заглядывает в окно: как там со снегом, с дождем, с солнцем? Он одевается молча, совсем молча – не пыхтит, не кряхтит, не стонет.

Когда Василий входит в избу, Василиса не оборачивается. Он садится у другого края стола и ждет. Не говоря ни слова, Василиса наливает ему стакан чаю и ставит на середину стола. Он придвигает стакан к себе и отпивает первый, обжигающий горло глоток, который уходит внутрь твердым комом.

Василиса пьет чай вприкуску с сахаром-рафинадом. Василий пьет без сахара, он его не любит. Он считает, что все надо потреблять в чистом, первозданном виде: водку – так без примесей, чай – так неподслащенный. Он выпивает свой чай и ставит стакан на середину стола. Василиса берет стакан, наливает и опять ставит на середину. Они молчат.

На кровати у стены, скрючившись, спит Петр, последний сын Василия и Василисы. Его голые колени выглядывают из-под одеяла – так всегда, и зимой, и летом.

Василиса вздыхает и наливает себе еще стакан чаю. Василий ставит свой стакан на середину стола, поднимается и уходит. Василиса не оборачивается, когда он уходит.

– Эй, отик, – говорит она Петру, – вставай, а то пролежни будут.

Петр с неудовольствием открывает глаза и прячет колени под одеяло.

– Вставай, отик, – беззлобно повторяет Василиса. – Не на Лену выехал. Пей чай да отправляйся.

Таня, жена Петра, тоже просыпается, но ей на работу не идти, она ждет маленького.

– Ты лежи, – говорит ей Василиса. – Тебе торопиться некуда. Отика поднимать надо.

Для нее все лентяи делятся на просто лентяев или лентяев начинающих, лодырей – лентяев с опытом и со стажем, и отиков – неисправимых лентяев. Василиса знает, что Петр никакой не отик и что она несправедлива к нему, но поворчать ей надо.

– Отик – он и есть отик, – бормочет она.

Она уже снова на кухне, что-то доваривает, дожаривает. День еще только начался. Василиса вздыхает – весь день еще впереди.

* * *

Вот уже больше двадцати лет Василий живет в амбаре, среднем среди трех, стоящих одной постройкой. Амбар маленький и чистый, без сусеков, с ладно сделанным, как в избе, полом и хорошо подогнанным потолком. Раньше летом в нем спали ребята, но это было давно, очень давно, – еще когда Василий жил в избе.

На зиму он ставит к себе в амбар железную печку. Пять лет назад Петр провел к нему свет, но с тех пор ласточки почему-то перестали вить гнезда над дверью амбара и куда-то переселились. В первое время Василий огорчился, он любил наблюдать за ними, но потом привык и без них.

Только по утрам, еще когда молодые спят, Василий заходит в дом, и Василиса наливает ему стакан крепкого горячего чая. Она сидит у одного края стола, он у другого. Они молчат – будто не видят друг друга, и только по стакану, который ставится на середину стола, каждый из них знает о присутствии другого. Они молчат, и это не натянутое молчание, это даже вовсе не молчание, а обычное физическое состояние без слов, когда слов никто не ждет.

Обедает и ужинает Василий у себя в амбаре. У него есть кой-какая посуденка, и он давно уже сам научился готовить. Правда, егостряпня совсем проста – все больше каша да макароны вперемежку с консервами, но иногда, если повезет на охоте, бывает свеженина. В такие дни на довольствие к нему переходит и Петр, – то и дело он бегаёт в избу за сковородкой, за солью, еще за одной вилкой, еще за одним стаканом – значит, с удачи взяли бутылку.

– Если ты там загулеванишь, домой не приходи, – кричит ему вслед Василиса. – Вот отик. «Отик» она произносит нараспев, с удовольствием.

У амбара выются ребятишки: тут и Васька, сынишка Петра, названный в честь деда, и все трое Настиных. Настя, средняя дочь Василия и Василисы, живет в этой же избе, но в другой, в меньшей ее половине. Через три дома живет и старшая дочь Анна, она замужем за учителем.

Василий не скупой. От добычи он оставляет себе немного, ему много и не надо. Самый большой кусок он отдает Насте, – ей приходится хуже других – трое ребятишек на шее, мужика нет. Петр отрубает для себя кусок сам и сразу же, чтобы не мозолить глаза, уносит его в свой амбар. Оставшееся мясо Василий делит пополам и одну долю велит ребятишкам отнести Анне. Ребятишки убегают всей гурьбой. Тогда-то и появляется сковородка со свежениной – с еще шевелящейся от жара, с побрызгивающим и потрескивающим салом, с поджаренными до корки боками больших кусков.

Без тайги Василий жить не может. Он знает и любит ее так, будто сам ее сотворил, сам разместил и наполнил всеми богатствами, какие в ней есть. В сентябре он уходит за орехами и бьет шишку до самого снега, затем сразу же наступает пора промысла – Василий промышляет белку и соболя дважды, до Нового года и после Нового, весной опять орехи: после снега шишка – паданка валяется под ногами, в мае можно брать черемшу, в июне грех не половить таежных красно-черных хариусов, в июле поспевает ягода – и так каждый год.

К нему приходят мужики, допытываются:

– Как считаешь, Василий, будет нынче орех или нет?

– Если кедровка не съест, то будет, – хитро отвечает он.

– Оно понятно, – мнетя мужик.

– Через неделю пойду на разведку, погляжу, – не вытерпев, говорит Василий. – Вот тогда можно сказать. А сейчас, сам видишь, в амбаре сию, отсюда не видать.

Он нигде не работает, тайга его кормит и одевает. Пушнины он сдает больше всех, орех в урожайные годы набивает по пять, по восемь кулей. Еще с зимы ему идут письма от лесоустроителей из Литвы, и от геологов из Москвы, и из области, чтобы он согласился на лето пойти к ним проводником в экспедицию. Как правило, предпочтение он отдает литовским лесоустроителям: ему интересно наблюдать за людьми из другого народа и запоминать их мудреные слова. Поднимаясь после привала, он, не сдерживая довольной и хитрой улыбки, говорит «айнам», и литовцы смеются и идут вслед за ним. Лесоустроители нравятся Василию еще и тем, что они специально учились, чтобы привести тайгу в порядок, и никогда не пустят в лесу пала, а геологи чувствуют себя в нем постояльцами и могут напакостить, повалить из-за десятка шишек богатющий кедр или не притоптать костер.

Уходя в тайгу, Василий запирает амбар на замок, и Василиса, наблюдая за ним из окна, ворчит:

– Как же, обворуют, сундуки там у него добром набиты. Хошь бы штаны с больших денег купил. Ходит с голой задницей, людей смешит. Ни стыда, ни совести.

... Они сидят друг против друга – Василий на кровати, Петр на низкой детской табуретке, сколоченной для него же лет двадцать пять назад, и Василий, еще не захмелев, жалуется на поясницу:

– Болеть, холера, стала. Согнешься, а разгибаться нету ее.

– Пора бы ей болеть, – хмыкает Петр. – Ты бы еще хотел, чтоб в шестьдесят пять лет молодым бегать. И так здоровье – дай бог каждому.

– Один нонче побаиваюсь бельчить, надо товарища искать. – Василий говорит это почти с гордостью: вот, мол, только когда мне понадобился товарищ.

Петр сосредоточенно тычет вилкой в сковородку.

– Может, ты со мной пойдешь? – спрашивает Василий, зная, что никуда тот не пойдет.

Петр вскидывает вверх свое курносое небритое лицо:

– Так я бы пошел – да кто отпустит? Колхоз не отпустит.

– Колхоз не отпустит, – соглашается Василий. – Но.

Вопрос решен, и Василий снова наливает в стаканы.

... К Василисе пришла подруга, семидесятилетняя бабка Авдотья.

– Иду, дай, думаю, зайду, на Василису погляжу, – кричит она на всю избу.

Василиса снимает фартук – она что-то стирала и не достирала – подходит к Авдотье и протягивает ей руку:

– Давай поручкуемся, старуха Авдотья.

У бабки Авдотьи рука слабая, как тряпка.

– Иду, дай, думаю, зайду, на Василису погляжу, – снова кричит она. – А тебе и присесть некогда.

– А когда присядешь? – с готовностью откликается Василиса. – Весь день на ногах, то одно, то другое...

– Ее и за тыщу лет не переработать, – кричит бабка Авдотья. – Попомни, Василиса, она все равно после нас останется. Хошь конем вози, а останется.

– Останется, останется, – кивает Василиса. – Ее из одного дня в другой перетащишь, а уж надо подальше тащить. Так и кочуешь, как цыган с торбой.

– И никуда не денешься!

– А куда денешься?

– Нет, нет.

Они долго и согласно кивают друг другу головами. Потом бабка Авдотья спрашивает:

– У тебя Петра-то где – на работе?

– Как же, жди – на работе! – хмыкает Василиса. – Евон, в амбаре заперлись, поливают, чуть свет стоит.

– Во-во-во, – обрадованно кричит бабка Авдотья. – У меня с зятем такая же история. Один зять трезвенный, а другой просыхать не хочет.

Василиса понимающе кивает.

– Ты-то туда не заходишь? – бабка Авдотья головой показывает в сторону амбара.

– Ты, старуха, ума, ли чо ли, решилась, – обижается Василиса. – Да я с ним в уборной рядом не сяду. Ты сморозишь – хоть стой, хоть падай.

– Хе-хе-хе, – смеется бабка Авдотья. – Интерес меня взял, я и спросила. Думаю, может, на старости лет сошлись, а я знать не знаю.

– Не болтай, старуха Авдотья.

...Василий взбалтывает остатки водки и разливает. Петру неудобно сидеть на детской табуретке, и он пересаживается на кровать.

– Обидно мне, Петька, что ты тайгу не уважаешь, – говорит Василий. – У нас вся родова была таежники, а я умру, и ружье продавать надо.

– Я ее уважаю, – слабо возражает Петр, – да кто из колхоза отпустит?

– Оно конечно.

– Никто не отпустит. Если бы я был не тракторист, тогда другой разговор. А так – это головой о стенку биться.

– Ружье не продавай, – вдруг строго говорит Василий.

– Вот еще – зачем мне его продавать?

– Не продавай. Мне жить немного осталось, пускай память обо мне будет. Глядишь, и сгодится – зверя где встретишь. Ружье доброе.

– Хватит тебе. Сказал, не продам, – значит, не продам.

Они умолкают. Последняя водка в стаканах еще не выпита, она мелко дрожит, и сверху при электрическом свете кажется, что она подернулась тонкой пленкой.

– Петька, – говорит Василий, – давай споем.

– Давай.

– Какую петь будем?

– Мне все равно, начинай.

Василий долго не начинает. Он берет стакан и перебирает его в руках. Потом, склонившись над самым столом, решается.

Расцветали яблони и груши...

Он поворачивается к Петру, и тот подхватывает. Больше они не смотрят друг на друга.

Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

...Василиса поднимает голову и прислушивается. Бабка Авдотья ушла. Василиса вздыхает, но и самой ей непонятно, что было в этом вздохе.

* * *

Случилось это года за два до войны. Тогда Василий вдруг задурил: через день да каждый день приходил домой пьяный, а как-то раз попытался избить Василису. Он загнал ее на русскую печку, где деваться ей было уже некуда, и полез вслед за ней. В последнюю секунду под руку Василисе попался ухват, она схватила его, наставила рогами в приподнявшуюся шею Василия и изо всех сил саданула вперед. Василий упал, а она, не выпуская ухвата, спрыгнула и успела прижать его шею к полу. Он извивался, вытянув шею, как петух на чурке, которому собираются

рубить голову, хрипел, матерясь, но вырваться из-под ухвата не смог, Василиса выпустила его только тогда, когда он пообещал не трогать ее.

Напившись, Василий вспоминал этот случай, свирепел от сознания своего позора и набрасывался на Василису с кулаками. Она умирала его, с пьяным, с ним справиться было не трудно. Но как-то раз – Василиса в то время опять была беременной – он схватил топор, лежавший под лавкой, и замахнулся. Василиса до смерти перепугалась, закричала не своим голосом и выскочила из избы. В ту ночь у нее случился выкидыш. Вернувшись домой, она растолкала Василия и показала ему на порог:

– Выметайся!

Он ничего не понимал. Она повторила еще решительнее:

– Выметайся, тебе говорят!

Василиса сама вынесла одежку Василия на крыльцо, и он по тротуарчику, насланному им незадолго перед этим, перетащил ее в амбар. Вечером он хотел было войти в дом, но Василиса решительно стала в двери:

– Не пущу!

Они прожили вместе двадцать лет, и у них было семеро детей. Два старших парня уже работали, младшему, Петьке, пошел пятый год. Когда грянула война, председатель сельсовета послал нарочного по домам, чтобы все знали и чтобы никто не собирался в тайгу. Василисина семья как раз сидела за столом.

Нарочный, сопленосый мальчишка, которому война представлялась игрой для взрослых, забарабанил в окно и весело закричал:

– Э-э-эй! Война началась! Война!

Сразу же пришел Василий, и Василиса не стала его выгонять, не до того было. Он сел на лавку у двери, положил руки на колени и молчал – видно, одному в амбаре молчать было невмоготу.

Через три дня он опять пришел, уже собранный, с мешком. Мешок он оставил у дверей, сам прошел на середину горницы. Все встали, Василиса тоже. Василий, сморщившись, потерянно махнул рукой и стал неловко тыкаться лицом в ребячьи плечи. Потом он подошел к Василисе и остановился перед ней. Ребята смотрели на них и мучительно ждали.

– Василиса, – хрипло сказал Василий. – Не суди меня боле – убьют, поди. Ты тут ребят... того...

Василиса первая подала ему руку, Василий пожал ее и, не договорив, ушел. Он аккуратно прикрыл за собой ворота и зашагал к сельсовету, где фронтовиков ждали подводы.

Потом подводы выезжали прямо со двора. Василиса проводила на войну двоих старших сыновей и дочь Анну. Каждый из них садился в сани или в телегу еще во дворе, и Василиса сама открывала ворота, прижимала фартук к губам и, крестясь, смотрела, как из дворов одна за другой выезжают подводы и медленно движутся по улице за деревню, как поют пьяные мужики, как, хватаясь за них, голоса бабы. Василиса не ходила за деревню, она стояла у ворот, а потом закрывала за собой ворота, словно запиралась от новой подводы.

Один из сыновей не вернулся совсем, а другой вернулся, но сразу же уехал в город и теперь живет там. Василий пришел позже всех.

Была уже осень, в деревне копали картошку. Василиса только что принесла на себе мешок и собралась высыпать картошку в подполье, когда прибежала Настя.

– Мама, отец приехал! Идет.

Василиса выпрямилась.

– Живой, выходит, остался, – рассуждая сама с собой, неторопливо сказала Василиса. – А вот Сашку убили.

Не развязывая мешок, она сбросила его в подполье и вздрогнула, когда он ударился о твердое. Раздражаясь все больше и больше, Василиса ушла в горницу. Переодеваться она не

стала. Когда на крыльце слышались шаги, она готова была ругаться, чтобы скрыть свою растерянность. Она стояла не двигаясь и ждала.

– Это я, Василиса, – сказал Василий от порога, и она опять вздрогнула, потому что давно не слышала его голоса. Она молчала, но ее лицо, готовое к ответу, не выдержало, и она, подчиняясь этой готовности, произнесла:

– Сашку убили.

Василий кивнул.

Больше она ничего не сказала. Слава богу, прибежали ребята, и ей можно было уйти во двор и заняться своими делами. Потом пришли гости, мужики, тоже вернувшиеся с войны, а Василиса сидела на кухне, пока не устала сидеть. Тогда она зажгла лампу, полезла в подполье и стала перебирать картошку.

Мужики пели незнакомыми, приобретенными где-то там, на войне, голосами, приобретенными и в криках «ура», и в криках о помощи – Василисе казалось, что они собрались только для того, чтобы наконец-то до конца пропеть и прокричать в себе чужие голоса, вслед за которыми должны начаться их собственные.

Песни были пьяными, но сдержанными, без залихватской удалы, и мужики, выводя их нестройными голосами, казалось, все время оглядывались, не случилось ли что-нибудь позади них; казалось, каждый из них приостанавливал себя, чтобы не забыться и не потеряться. И громкий пьяный разговор тоже был сдержанным, он быстро прерывался песнями – все это походило на тупую, беспокойную боль, вспыхивающую то в одном, то в другом месте.

Василиса устала и вылезла из подполья, делать ей больше ничего не хотелось. Она позвала Настю и сказала:

– Иди, прибери отцу в амбаре.

– Мама! – голосом упрекнула Настя.

– Иди, – сказала Василиса. – Не твое дело.

Почти сразу же в кухню пришел Василий.

– Не хошь, стало быть, простить? – спросил он, вставая прямо перед Василисой. – Не хошь. А я, Василиса, тебе гостинец привез, да все не знал, как поднести.

Он ожидающе замолчал, покачиваясь из стороны в сторону.

– Не будет нам житья вместе, – сказала Василиса. – Я, Василий, один раз сделанная, меня не переделать.

– Война всех переделала, – тихо возразил Василий.

– Война, война, – повторила Василиса. – Война, она горе, а не указ. Она и так из баб мужиков понаделала. Когда это теперь новые бабы нарастут? Похоронить ее надо скорей, войну твою.

Она вздохнула. Василий попытался ее обнять, но она отстранилась, и его руки провалились в воздухе.

– Незачем это, – сказала она, отходя. – Я, Василий, спеклась, меня боле греть не к чему.

Когда он ушел, она боялась, что ей захочется плакать, но плакать совсем не хотелось, и она осталась довольна. В ту ночь она уснула быстро, и ее сон был спокойным, а утром, поднявшись, Василиса увидела, что на улице лежит густой непроглядный туман – ей захотелось снова лечь в постель и уснуть.

После войны Василий дома жил недолго. Он дождался лета и уехал на Лену, на золотые прииски. Прощаясь, он давал понять, что вернется не скоро, может быть, не вернется совсем. Кто знает, разбогатеть он хотел или неумогу ему стало жить рядом с семьей, да совсем отдельно от нее, как прокаженному. Перед отъездом Василий отдал Петьке все свои ордена и медали, наказав беречь их пуще глаза, постирал с вечера гимнастерку и пошел в деревню прощаться. В тот день он был разговорчивый и веселый, обещал всем присылать деньги, а наутро замолчал, будто уехал раньше срока.

На пароход Василия провожали Настя и Анна, Петька где-то забегался и опоздал. Спустили трап, Василий заволновался. Как-то рассеянно он пожал руки дочерям и ушел, через минуту они увидели его на палубе, но он уже не смотрел на них. Пароход трижды прогудел и отчалил, и Василий, уезжая, по-прежнему стоял на палубе и, кажется, все так же никуда не смотрел и ничего не видел.

Настя вышла замуж уже без него. Среди всех своих сестер и братьев, которые были одинаково медлительными и рассудительными, Настя выделялась порывистостью и удивительной энергией. «Скороспелка», – говорила о ней Василиса. В двенадцать лет Настя была доверенным лицом чуть ли не всех деревенских влюбленных, они передавали ей друг для друга записки, а двадцатилетние девицы поверяли ей свои тайны. В четырнадцать лет Настя пошла работать на ферму, в семнадцать вышла замуж, через год родила двойню. Она торопилась даже тогда, когда незачем было торопиться, и ее женское счастье, видно, не выдержало такого бешеного темпа и лопнуло: через четыре года Настин муж погиб на лесозаготовках, оставив ей трех маленьких ребятишек. После этого жизнь пошла медленней.

Василий вернулся на другое же лето. Удачи он на приисках не добыл, денег тоже, он приехал исхудавший и обовшивевший, в одной гимнастерке, которую Настя потом долго парила и проглаживала. Неделью Василий отсыпался в амбаре, никуда не выходя и ни с кем не разговаривая, потом снарядился и ушел в тайгу.

С тех пор он больше никуда не уезжал.

* * *

Июль, вторая половина месяца. Лето пошло на убыль, но дни стоят душные и тяжелые, они накрыли деревню, как стеклянные колпаки, сквозь которые пробивается солнце, но не может пробиться ни одно дуновение ветерка. Дороги безудержно пылят, и пыль, оседая на крышах, делает все дома старыми, похожими на прошлогодние скирды. Над Ангарой стоит дым: где-то горят леса.

Колхоз уже откосился, уборку начинать еще рано. Колхозники, как могут, используют эту небольшую передышку для себя – теперь начинается личный сенокос. По утрам деревня уплывает на острова, уходит в тайгу, в домах остаются немногие, и они усердно по два раза в день, утром и вечером, поливают огороды. Над огородами, несмотря на жару, стоит дружный огуречный дух.

У Петра и Насти покос в одном месте – от деревни пятнадцать километров. Бегать каждый день туда и обратно тяжело, поэтому уходят сразу на неделю, чтобы пораньше начинать, попозже заканчивать.

На две семьи с ребятишками и с хозяйством остается одна Таня. Василий тоже мог бы никуда не ходить, но он уже привык к таким походам и считает себя обязанным помочь сыну и дочери. Впервые в этом году на сенокос увязался Васька, девятилетний сын Петра.

Погода сенокосная, сено в жару сохнет быстро, но косить тяжело: трава перестояла и высохла еще на корню, так что только успевай отбивать литовки. У Василия прокос широкий, но недлинный, он часто останавливается и курит, отирая рукавом рубахи пот со лба и затылка.

– Васька! – кричит он. – Где котелок?

Васька бегом приносит воду, и Василий жадно пьет, потом задирает голову и шурится на солнце. Кажется, солнце, как мяч, закатилось в яму, откуда ему ни за что не выкатиться – вот и будет теперь жарить бесконечно.

– Хошь бы какая дешевенькая тучка прикрыла, – бормочет Василий и снова берется за литовку.

Петр косит в сторонке, он в майке, голову повязал носовым платком. Его литовка, вонзаясь в траву, уже хрипит от бессилия. Петр поднимает ее, окунает брусок в воду и начинает

отбивать. Еще не отбив, он оглядывается на Василису – она давно уже неподвижно сидит на колодине.

– Мать, – кричит он, – шла бы ты в шалаш. Пускай жара спадет, потом покосишь.

Василиса не отвечает.

– Мама, – услышав Петра, кричит Настя. – Иди, ставь обед, сейчас все придем.

Василиса поднимается и подходит к Петру.

– Сил нету, – печально говорит она ему и вздыхает. – Износилася. Думала, помогу, ан нет.

– Ты чего, мать? – спрашивает Петр.

– Я отойду, ты не думай. Вот полежу и отойду, а завтра сама своя буду. Это с непривычки, уж год не косила.

Согнувшись, она уходит в шалаш, и все трое – Василий, Настя и Петр – смотрят ей вслед.

– Давай перекурим, – кричит Василий Петру.

Петр подходит к нему и, зажав между руками котелок, долго пьет. Потом он сдувает со лба капли нависшего пота и садится.

– Чего это с матерью? – спрашивает Василий.

– Старая, – обычным голосом отвечает Петр. – Сколько ей лет?

– На два года моложе меня была.

– Старая, – повторяет Петр.

Поздно вечером они сидят у костра и пьют после ужина чай. Костер то взвивается вверх, и тогда, как одежда, на каждом из них отчетливо видна усталость, то снова сникает. За шалашом, в темноте, собака звучно вылизывает из банки остатки консервов. Ночь ложится на деревья, на скошенную траву, и только на костер, боясь обжечься, она лечь не решается. Костер от этого гоношится, подпрыгивает.

Они долго не спят: начало сенокоса положено, первый день прошел как надо, и все это живет в них близкими, еще не улегшимися чувствами.

– Надо укладываться, – говорит наконец Василий. – Копен десять за день накопили, и то ладно.

– Нет, больше, – быстро поправляет Настя, она всегда говорит быстро. – Я одна копен пять намахала.

– Хорошо бы больше, – откликается Петр.

– Завтра поторапливаться надо. – Василий поднимается. – Ненастье будет.

– Какое еще ненастье? – настороженно спрашивает Василиса и смотрит на Петра.

– Собака траву ела, – говорит Василий Петру. – Примета верная.

Петр молчит.

* * *

Василий и Петр женились в один год, даже в один месяц. Петр, которому тогда едва исполнилось двадцать лет, привел в дом с нижнего края деревни Таню, дочь кузнеца. Василий привел в амбар чужую, не деревенскую, которая как-то ненароком забрела в деревню и задержалась, переходя из избы в избу и обшивая баб сарафанами да платьями. Мастерница она была хорошая, за шитье брала недорого, и заказы поступали к ней один за другим. Рассказывали, что новенькая приехала с Украины, чтобы разыскать сына, потерявшегося в войну, да вот на обратную дорогу денег ей не хватило, и она решила приработать.

Где и как они с Василием сговорились, никто не знал. Петру уже сыграли свадьбу, на которой больше всех пела и плясала Настя, прошли ноябрьские праздники, выпал запоздавший в ту осень снег. Василий, собиравшийся перед этим на промысел, вдруг приостановил сборы и как-то раз позвал к себе Петра.

– Ты эту, пришлую, видел? – спросил он сына, не глядя на него.

– Это которая шьет?

– Ага.

– Видел, она ж по деревне ходит.

– Хочу взять ее к себе, – сказал Василий и повернулся к Петру.

– Да ты что, отец, серьезно? – не сдержавшись, удивился Петр.

– А чего? Нельзя мне, что ли?

– Да почему нельзя! – забормотал Петр, не зная, что сказать. – Конечно. Ты еще не старый. Кто говорит, что нельзя?

– Дело не в том, старый или не старый, – невесело поправил Василий. – Надоело мне самого себя обстирывать, самому себе кашу варить. Живу как арестант. Хозяйка нужна – вот какое дело.

Они помолчали.

– Заходи перед вечером завтра, бутылку на троих разопьем, свадьбу, стало быть, сыграем, – Василий усмехнулся. – Я Насте накажу, чтобы сготовила.

Дома Василиса хлопотала на кухне.

– Мать! – возбужденно закричал Петр, входя. – У нас отец женится.

– Но, – бесстрастно откликнулась Василиса.

– Точно говорю. Завтра приведет.

– Пускай хошь тыщу раз женится, я к нему никакого касанья не имею.

– Обидно, поди?

– Чего ты, Емеля, мелешь? – вскинулась Василиса. – Обидно стало, изошлась вся от обиды – куды там! Полоумная она, раз идет за него. Добрая не пошла бы.

Новую жену Василия звали Александрой, и была она не намного старше Анны, его первой дочери. Василиса впервые увидела ее утром из окна, когда Александра, припадая на одну ногу, шла через двор в уборную.

– Да она хромоножка, – обрадовалась Василиса. – Я говорила, добрая за него не пойдет, так и есть. Теперь они заживут. Черт черту рога не обломит.

В первое время Александра нигде не показывалась, отсиживалась в амбаре. Василий сам кипятил чай, сам ходил в магазин, но он тоже старался лишний раз на улицу не выходить. Для деревни его женитьба была ковшом меда, вылитым на муравейник: ее судили и рядили на все лады, после войны она стала самым важным событием, намного важнее любой смерти, случившейся за последние годы. У баб вдруг не стало хватать соли, хлеба, исчезли куда-то стиральные доски и утюги, и за всем этим они шли к Василисе, заводя разговоры о молодых – конечно, имелось в виду, что они спрашивают о Петре и Тане. И только бабка Авдотья, которая уже и тогда была глуховатой, хитрить не собиралась.

– Ты, сказывают, сестричкой обзавелась, Василиса, – кричала она.

– Тебе, старуха Авдотья, делать нечего, вот ты и ходишь, сплетни полощешь, – сердито отвечала Василиса.

– А тебя за душу берет!

– Мне начхать, мне ихнее исподнее белье не стирать.

Бабка Авдотья обводила избу испытующим взглядом и снова кричала:

– Сюды-то не заходит?

– Пускай только зайдет, – я ей глаза выцарапаю.

– Выцарапай, выцарапай, – поддакивала бабка Авдотья. – Ей волю дай, и тебя из избы выгонит. Ты, Василиса, с нее глаз не спускай.

Вскоре они встретились, жить в одном дворе и совсем не встречаться было невозможно. Александра, выйдя из амбара, вдруг прямо перед собой увидела Василису и в нерешительности остановилась, не зная, как быть. Василиса с интересом разглядывала ее и ждала.

– Здравствуйте, – совсем растерявшись, чуть слышно поздоровалась Александра.

– Вот оно как – здрасьте, значит, – удивилась Василиса и рассердилась. – А чаю не хотите? Хромай, куда хромала, хромоножка, я не сахарная, от твоих «здрасьте» не растаю. Ишь ты, здрасьте, обходительная какая.

Она долго не могла успокоиться, ворчала на Петра, через стенку накричала на Настю, на весь дом гремела посудой. Ей казалось, что ее оскорбили, а она не сумела ответить как следует, она на все лады повторяла злополучное «здравствуйте», произнесенное Александрой, словно оно не переставало ее жалить.

Настя подружилась с Александрой и уже через месяц звала ее Шурой. А потом у Насти застучала машинка – это Александра шила ее ребятишкам рубашонки, штанишки, а они, несмышленишки, бежали хвастаться к Василисе. Заглянув на стук машинки один раз, зачастила в Настину избу и Таня – тоже что-то кроила, шила, а потом появлялась в новом халате, в новой юбке.

Василиса хмурилась, молчала. Через стенку было слышно, как на той половине избы разговаривали, смеялись. Василисе казалось, что никто ее больше не замечает, никто с ней не считается, а только терпят – мол, живешь, ну и живи, а нам не мешай.

– Матерью-то еще не зовешь ее? – с обидой спрашивала она у Насти.

– Ты, мама, не говори чего не следует, – сердилась Настя.

– А по мне, хошь зови. Мне помирать скоро, а она вон кобылой ржет – молодая.

– Ты, мать, жизнь прожила, а ума не нажила, – вступался за Александру Петр. – Ходишь, злишься, а за что – сама не знаешь. В чем она перед тобой виновата?

Василиса умолкала, уходила в себя.

Однажды после Нового года, когда Василиса ушла в гости, Александра наконец-то осмелилась войти в избу – сама бы она ни за что даже через порог не переступила, да ее позвала Таня, чтобы помочь ей разобраться в какой-то выкройке. Они заговорились, потом Александра выглянула в окно и ахнула: Василиса закрывала за собой ворота. Александра метнулась в дверь, но проскочить незамеченной мимо Василисы не успела.

– Эт-то еще чего? – увидев ее, закричала Василиса. – Ах ты, супротивница! В избу захотела. Я тебе сейчас покажу дорожку, я тебе...

– Меня Таня позвала, – пыталась оправдаться Александра.

– Мало ей амбара! – гремела Василиса, торопливо осматривая двор, словно подыскивая палку. – Мало ей Настькиной половины – сюды захотела! Я тебя отважу!

– Не смей! – пыталась защищаться Александра.

– Я тебе не посмею! Я тебе сейчас вторую ногу обломаю!

– Злишься, да? – вдруг переходя в наступление, закричала Александра. – Хочешь выжить меня? Не выйдет! Все равно он с тобой жить не будет, – отталкиваясь одной ногой, она наступала на Василису. – Он мой! Ты ему не нужна, не нужна, не нужна!

– Чего-чего! – опешила Василиса и рывкнула: – Кыш, кукша! Кыш, кукша! – еще раз крикнула она и, не оборачиваясь, пошла в дом.

– Чтоб больше эта хромая нога сюды не ступала, – строго выговаривала Василиса Тане. – Покуда я здесь хозяйка, а не она. У меня и без нее кровь порченная, моя судьба не сладкая была. Вот умру – еще помянете меня.

Она сняла с головы платок, который снимала редко, и стала гребешком расчесывать свои седые волосы. Таня, напугавшись, забилась на кровать и молчала.

– Сейчас бы квасу попила, – неожиданно сказала Василиса Тане.

– А квасники есть? – обрадовалась Таня. – Я бы поставила.

– Нету, – вздохнула Василиса.

Со временем Василиса, кажется, стала привыкать к Александре, она уже не ворчала, не злилась, а встречая ее, отводила глаза и молча проходила мимо. О случившемся Василиса не вспоминала – то ли чувствовала себя виноватой, то ли просто не хотела беречь душу. Она

стала молчаливой, задумчивой, по вечерам, убравшись по хозяйству, уходила к старухам на чай и возвращалась только ко сну.

– Ты у нас, мать, не заболела? – спрашивал Петр.

– Есть когда мне болезнями заниматься, – неласково отвечала она и уходила.

Потом выяснилось, что Василиса писала письмо среднему сыну, который жил в тридцати километрах от деревни в леспромхозе, чтобы он взял ее к себе. Сын с радостью согласился и даже собрался ехать за ней, но она с попутчиками передала, чтобы он не торопился. Переселиться на новое место она так и не решилась.

– Везде хорошо, где нас нету, – вздыхая, говорила она Тане. – Куда мне теперь трогаться, помирать скоро надо.

В последнее время Василиса привязалась к Тане, по утрам, жалея ее, стараясь не греметь посудой, не позволяла ей делать тяжелую работу. Таня часто болела, а заболев, улыбалась грустной и виноватой улыбкой.

– Поболей, поболей, – утешала ее Василиса. – Потом детей народишь, болеть некогда будет. А жисть, она долгая. Твоя жисть тоже несладкая будет, мужик тебе не золото достался.

Потом она шла к Насте и говорила:

– Ты бы, Настька, сходила в амбар, к этим. У них, поди, малина есть. Пускай Таня чай с малиной попьет. Скажи Александре своей, что для Тани.

Прошла зима, в марте побежала под гору талая вода, запахло землей. Настиних ребятишек в эту пору домой загонять приходилось ремнем или пряником. Убегут и дверь не закроют, кому не лень – приходи и все собирай. Мать на работе, Василиса, как могла, следила – да разве за всем уследишь?

Как-то раз Василиса пошла посмотреть, есть ли кто у Насти дома, открыла незапертую дверь и вдруг замерла. В комнате кто-то плакал. Осторожно ступая, Василиса воровато заглянула в комнату – на кровати, зарывшись головой в подушку, лежала Александра и всхлипывала.

«Евон как, – удивилась Василиса. – Плачет». Она подождала, но Александра все не успокаивалась. Василиса подумала и подошла к самой кровати.

– Слезами горе не зальешь, – негромко, чтобы только дать о себе знать, сказала Василиса. Александра испуганно вскочила и села на край кровати.

– А может, горя-то и нету, – продолжала Василиса. – У бабы, как у курицы, глаза на мокром месте.

Александра, не переставая всхлипывать, по-прежнему смотрела на нее с испугом.

– Пойдем-ка, бабонька, ко мне, – вдруг предложила Василиса. – Я самовар поставлю, чаю попьем.

Александра, отказываясь, замотала головой.

– Пойдем, пойдем, не ерепенься, – решительно сказала Василиса. – Я на тебя зла не имею, и ты на меня не имей. Нам с тобой делить нечего. Это жисть во всем виновата, зачем нам на себя вину брать?

Она привела ее в дом и усадила у стола. Александра то всхлипывала, то начинала икать.

– Не могу, когда бабы плачут, – обращаясь к опешившей Тане, которая лежала в кровати, объяснила Василиса. – Для меня это нож острый по сердцу. Жисть как пятак – с одной стороны орел, с другой решка, все хотят на орла попасть, а того не знают, что с той, и с другой стороны он пять копеек стоит. Эх, бабоньки, – она вздохнула. – Много плакать будем – сырость пойдет, а от сырости гниль заводится. Да кто вам сказал, что ежели плохо, то плакать надо?

Она ушла на кухню и загремела там самоваром.

– Ну? – вернувшись, спросила она у Александры и показала в сторону амбара. – Он, ли чо ли?

– Нет, – замотала головой Александра. – Это из-за мальчика, из-за сына.

Она взглянула на Василису и умолкла.

– Ты Расскажи, – попросила Василиса, – легче будет.

– Легче не будет. Я чаю подожду, чтобы запивать. Так не могу.

Александра помолчала, но почти сразу же, не вытерпев, стала рассказывать:

– Ему было четыре годика, совсем маленький. Меня взяли в труд-армию, а он остался с моей мамой. Их без меня эвакуировали, я долго не могла попасть в город, пришла, а их нету. – Она опять всхлипнула.

– Скоро чай будет, – напомнила Василиса.

– Маму дорогой ранило, ее сняли с поезда, а его повезли дальше. Говорили, что в вашу область.

– Скоро чай будет, – опять сказала Василиса.

– Теперь он мне снится. Когда ему исполнилось десять лет, снился десятилетним, когда исполнилось пятнадцать, и во сне столько же. А теперь он совсем взрослый. Приходит сегодня ночью и говорит: «Мама, дайте мне свое родительское благословение, жениться хочу».

– А ты? – вся подавшись вперед, спросила Василиса.

– А я ему отвечаю: «Подожди, сынок, вот найду тебя, тогда и женись». – «А скоро ты меня найдешь?» – спрашивает он.

– Ой ты! – ахнула Василиса.

– Скоро, – говорю, – сынок, очень скоро. Он и пошел от меня. «Ау! – кричит. – Мама, ищи».

Василиса, замерев, ждет продолжения. Александра молчит.

– Так и ушел?

– Ушел.

– А не сказал, где искать-то?

– Нет.

– Спросить надо было, допытаться.

Александра бессильно пожала плечами.

– Самовар кипит, – сказала она.

Они пили чай и разговаривали, потом разговаривали уже после чая. А через несколько дней рано утром Александра зашла к Василисе попрощаться.

– Собралась я, – грустно сказала она. – Пойду дальше.

– С богом, – благословила ее Василиса. – Иди, Александра, иди. Земля у нас одна, так и иди по ней. А я за тебя молиться буду.

Она вышла проводить ее за ворота и долго смотрела ей вслед, как когда-то в войну, когда провожала ребят.

В то утро Василий впервые пришел к самовару. Василиса налила ему стакан чаю и поставила на середину стола.

* * *

В последнее время Василий все чаще жалуется на поясницу. Он сидит на кровати и, раскачиваясь, пробует размять спину. При этом он морщится и кричит, на его измученном лице в рыжей щетине блестят капли пота.

– Ох, – стонет он. – Подсидела окаянная, скараулила нечистая сила! Хошь бы на минутку отпустила.

Обессиленный, Василий ложится и закрывает глаза. Спокойно лежать он тоже не может и опять приподнимается.

– Васька! – кричит он в открытую дверь.

Никто ему не отвечает.

– Васька!

Васьки нет.

После работы к Василию приходит Петр.

– Ты накажи Ваське, чтоб заглядывал ко мне, – просит Василий. – А то круглый день один. Умру, и никто глаза не закроет.

– Как у тебя? – спрашивает Петр.

– Чего как? Сам видишь, как. Вся спина книзу опускается. Хошь караул кричи.

– Врача надо.

– Врача, врача, – злится Василий. – Была вчера фельдшерица, а толку сколько? Я ей говорю, поясница болит, а она глазами хлопает. Она до меня знать не знала, что у человека поясница есть.

– У них это по-другому называется.

– Они понос тоже по-другому зовут, а лечить обязаны, на то учились.

– Что она тебе сказала-то?

– Ничего. Постукала и ушла, как на экскурсию сходила. Завтра, говорит, приду, и все идет.

Он откидывается к стене и стонет. Через минуту опять выпрямляется.

– Ты сбегай в магазин, – просит Василий. – От нее мне легчает. Хошь ненадолго, а отпустит, чтоб оглядеться. Деньги там, на полке. И сам со мной с устатку выпьешь.

Петр поднимается, молча отыскивает деньги и уходит.

На следующий день за водкой бежит Васька.

– На сдачу конфет взял, – хвастает он Василисе.

– Хорошее лекарство придумали, – с удовольствием язвит Василиса. – стакан выпил, крикнул, и вся хворь из тебя, как от чумы, уходит.

После водки Василий действительно успокаивается и засыпает. Но потом боль становится еще сильнее, она словно злится за свое вынужденное отступление и свирепствует с новой силой.

Наконец-то опять пришла врачиха и сказала, что Василия надо везти в районный центр на рентген. Василий молча согласился, он устал. Ему хотелось скорей выпить и уснуть, а потом пусть везут его хоть в Москву, он все вытерпит и все будет делать так, как ему скажут. Он прожил немало. Кто-то, видно, не может родиться, пока он здесь, или просто подошла его очередь, и он теперь задерживает движение.

Врачиха уходит, и Василий торопливо наливает себе полный стакан, Петру полстакана. Они выпивают, через минуту Василий оживает.

– Скажи ты мне, – спрашивает он, – почему это люди все больше рождаются и умирают по ночам?

– Не знаю, – пожимает плечами Петр.

– Вот то-то и оно – никто не знает. А почему человек на белый свет приходит ночью и уходит ночью? Неправильно это. Я хочу днем умереть. Люди разговаривают, курицы крыльями хлопают, собаки лают. Ночью страшно, все спят. А тут ребенок кричит, из матери вышел. В другом месте старик кричит – из него жизнь уходит. А люди, которые посередине, спят. Проснутся, а уж кочевье произошло. Работу свою сделают, не сделают, опять ночь, опять спать, и опять все сдвинулось. О-хо-хо! Ночью никто тебе не поможет, не скажет: «Умирай, Василий, умирай, не бойся, ты все сделал, а чего не сделал, другие доделают». Человека успокоить надо, и тогда ему не страшно в домовище ложиться.

– Ты чего это, отец? – испуганно спрашивает Петр. – Чего мелешь-то?

– Мелешь, говоришь! А мне страшно. Вот ты встал и ушел, а я один. Я привык один, – жить, значит, привык один. Умирать одному страшно. Не привык.

Он тянется за бутылкой.

– Давай разольем да я лягу.

Петр приходит домой и говорит Василисе:

– Плохо отцу.

Василиса не отвечает.

Опять день. Дверь в амбар снова открыта.

– Васька! – кричит Василий.

Васьки где-то нет.

– Васька!

Василиса, придерживая в руках край платка, осторожно заглядывает в дверь.

– Нету Васьки, не кричи почем зря, – говорит она.

Василий приподнимается и смотрит на нее.

– Это ты, Василиса? – ослабевшим голосом спрашивает он. – А где Васька?

– Убежал.

– Ты зайди, Василиса, чего уж теперь.

Василиса перешагивает через порог и останавливается.

– Подойди, Василиса.

– Захворал, ли чо ли? – спрашивает Василиса от порога.

– Чую, смерть моя близко. Ты подойди, попрощаемся.

Она осторожно подходит и садится на край кровати.

– Плохо мы с тобой жили, Василиса, – шепчет Василий. – Это я во всем виноватый.

– Совсем не плохо, – качает головой Василиса. – Дети выросли, работают.

– Плохо, Василиса. Стыдно перед смертью.

Василиса подносит к губам край платка, наклоняется над Василием.

– Ты чего это выдумал-то, Василий? – шепчет она. – Чего это ты выдумал-то?

– На меня твои слезы капаят, – обрадованно шепчет Василий. – Вот опять.

Он закрывает глаза и улыбается.

– Чего это ты выдумал-то, Василий? Боже мой, грех-то какой!

Она трясет его за плечи, он открывает глаза и говорит:

– Давай попрощаемся, Василиса.

Он подает ей руку, она пожимает ее и, всхлипывая, поднимается.

– Теперь иди, – говорит он. – Теперь мне легче стало.

Она делает шаг, второй, потом оборачивается. Василий улыбается. Она всхлипывает и выходит.

Она всхлипывает и идет по двору, всхлипывает и переставляет ноги.

Он улыбается, лежит и улыбается.

<1966>

Уроки французского

Анастасии Прокопьевне Копыловой

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, – нет, а за то, что случилось с нами после.

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь. Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки... проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, – тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь еще пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет – некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки – под весну это было немалое богатство.

И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

– Башковитый у тебя парень растет. Ты это... давай учи его. Грамота зря не пропадет.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? – за тем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закры-

вала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить – я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними – хочешь не хочешь – приходилось двигаться, играть, а на уроках – работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска – тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! – хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном – домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее, – я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.

– Собирайся, – потребовала она, когда я подошел. – Хватит, отучился, поедem домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут – кажется, много,хватишься через два дня – пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил – так и есть: был – нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал – тетя Надя ли, крикливая замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребяташками, кто-то из ее старших девчонок или младший, Федька, – я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков – от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил – что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвырвав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:

– Ты в «чику» играть не боишься?

– В какую «чику»? – не понял я.

– Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдem сыграем.

– Нету.

– И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной

небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного – рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

– Этого еще зачем привел? – недовольно сказал он Федьке.

– Он свой, Вадик, свой, – стал оправдываться Федька. – Он у нас живет.

– Играть будешь? – спросил меня Вадик.

– Денег нету.

– Гляди не вякни кому, что мы здесь.

– Вот еще! – обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все – то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее, – тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул – твоя, бей дальше, нет – отдай это право следующему. Но важнее всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся – шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата – десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятерке – на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек; не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй – шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогоды слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморенная, все же оставалась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаху. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегаю вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился в наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаху тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверное, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает – все равно тянет. Вызовут – молчит.

– Что ж ты руку поднимал? – спрашивают Тишкина.

– Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное – от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один – потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это непросто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втрое. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя – так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на поляне до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не

наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смирjala голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его кармана вряд ли мне что-нибудь перепало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учитеcь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

– Ты что это – загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

– Мне уроки надо, Вадик, делать, – стал отговариваться я.

– Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

– Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы – если не окажется орла – собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

– Не в склад! – объявил Вадик.

Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, – иначе он не стал бы ее закрывать.

– Ты перевернул ее, – сказал я. – Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

– А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно: если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведет, – решил я. – Все равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

– Чего-о ты?!

– Кто тебе сказал, что это я? – отперся он. – Приснилось, что ли?

– Давай сюда! – Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее.

Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

– Давай сюда! – потребовал Вадик.

– Ты перевернул ту монетку! – крикнул я ему. – Я видел, что перевернул. Видел.

– Ну-ка, повтори, – надвигаясь на меня, попросил он.

– Ты перевернул ее, – уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носа у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивал одно и то же:

– Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

– Иди отсюда, пока живой! – скомандовал Вадик. – Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыряя омертвевшим носом, поплелся в гору.

– Только вякни кому – убьем! – пообещал мне вслед Вадик.

Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи – так что слышал, наверное, весь поселок:

– Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся – видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

– Ну вот, – сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. – Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

– И что случилось? – спросила она.

– Упал, – брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

– Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

– Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

– Хи, упал! – выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. – Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что – совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги у нас в два счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин! Вот Тишкин так Тишкин! Обрадовал. Внес ясность – нечего сказать.

– Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, – не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. – Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. – Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: – После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил – разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч движется самостоятельно, чуть поперед директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» – «Что меня побудило?» – «Вот именно: что побудило? Слушаем тебя».

Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжегшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело – если бы я сам бросил школу... Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

– Это правда, что ты играешь на деньги? – сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запираяться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

– Правда.

– Ну и как – выигрываешь или проигрываешь?

Я замялся, не зная, что лучше.

– Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

– Вы... выигрываю.

– Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, а потому звучал он вволюшку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе – она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.

– Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

– Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

– И больше не играешь?

– Нет.

– А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

– Покупаю молоко.

– Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несурзности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувь. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

– И все-таки на деньги играть не надо, – задумчиво сказала Лидия Михайловна. – Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:

– Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль – уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навывпуск рубашке с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

– Чего пришел? Давно не били?

– Играть пришел, – как можно спокойнее ответил я, глядя на Вадика.

– Кто тебе сказал, что с тобой, – Птаха выругался, – будут тут играть?

– Никто.

– Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?

– Чего ты пристал к человеку, Птаха? – щурясь на меня, сказал Вадик. – Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

– У вас нет по десять рублей, – только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

– У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

– Дать ему, Вадик?

– Не надо, пусть играет, – Вадик подмигнул ребятам. – Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.

Теперь я был ученый и понимал, что это такое – доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

– Хватит, ой хватит! – испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. – Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «beaucoup» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристонам пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор.

Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился – меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дожидаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем – редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме, все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем: по голосу, по походке – мягкой, но уверенной, свободной, по всему ее поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходиться. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, – настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, не похожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убежал.

Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, – какой еще мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог – вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? – мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня – чтобы не перепутали, для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не крошились, прибыли ко мне в целостности и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия – мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол – получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше никому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:

- Что это? Что такое ты принес? Зачем?
- Это вы сделали, – сказал я дрожащим, срывающимся голосом.
- Что я сделала? О чем ты?
- Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

- Почему ты решил, что это я?
- Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.
- Как! Совсем не бывает?! – Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.
- Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее.

– Действительно, надо было знать. Как же это я так?! – Она на минутку задумалась. – Но тут и догадаться трудно было – честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

- Горох бывает. Редька бывает.

– Горох... редька... А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. – Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. – Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны ты возьми...

- Не возьму, – перебил я ее.

– Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

- Я совсем не голодаю.

– Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сварить себе сегодня хороший обед. Почему я не могу тебе помочь – единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

– Хорошо, – подбадривала меня Лидия Михайловна. – В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей – обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмется еще придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей

диковатостью, – я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шаг, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетенность отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала еще попытку посадить меня за стол – напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарь, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось – получится, и получится – не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне... Я бы сам, сам...

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

– Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

– Как же сейчас играть?! – удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

– А что это была за игра? В чем она заключается?

– Зачем вам? – насторожился я.

– Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу узнать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

– Нет, – Лидия Михайловна покачала головой. – Мы играли в «пристенки». Знаешь, что это такое?

– Нет.

– Вот смотри. – Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. – Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. – Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. – Теперь, – Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, – бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь – значит, выиграл. Бей.

Я ударил – моя монета, попав на ребро, покатила в угол.

– О-о, – махнула рукой Лидия Михайловна. – Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, – я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

– Чего тут непонятного?

– Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

– Как же я с вами буду играть?

– А что такое?

– Вы же учительница.

– Ну и что? Учительница – так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя, – Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. – Иной раз полезно забыть, что ты учительница, – не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное – не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому. – Она встряхнулась и сразу повеселела. – А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».

– Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

– Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопреставление – не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

– Ну что – попробуем? Не понравится – бросим.

– Давайте, – нерешительно согласился я.

– Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я еще не выяснил для себя, как бить монету о стену – ребром ли или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее.

– Нет, так неинтересно, – сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. – Играть – так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши.

– Но тогда это будет игра на деньги, – несмело напомнил я.

– Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а все равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

– Неужели боишься? – подзадорила меня Лидия Михайловна.

– Вот еще! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что – не я первый начал. Вадик попервости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимались на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня – одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой прикрикнуть на нее. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издала попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя – не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, – там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

– Нет, – заявил я, – так я не играю. Зачем мне подыгрываете? Это нечестно.

– Но я действительно не могу их достать, – стала отказываться она. – У меня пальцы какие-то деревянные.

– Можете.

– Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство – от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету.

– Что вы делаете? – возмутился я.

– Я? А что я делаю?

– Зачем вы ее подвинули?

– Да нет же, она тут и лежала, – самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница, называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык, преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко – теперь уже в мороженных кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба.

Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормошила меня. Знать бы нам, чем это все кончится...

... Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили.

– Пойми ты, голова садовая, – напoлзая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, – зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

– «Чика» не считово.

– Почему это не считово?

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, пораженный, но твердый, звенящий голос:

– Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

– Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно, поднялась с колен, покрасневшая и взлохмаченная, и, пригладив голову, сказала:

– Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

– Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать, как директор.

– Играем в «пристенок», – спокойно ответила Лидия Михайловна.

– Вы играете на деньги с этим?.. – Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. – Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

– Правильно...

– Ну, знаете... – Директор задыхался, ему не хватало воздуха. – Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Растление. Сокращение. И еще, еще... Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

– Поеду к себе на Кубань, – сказала она, прощаясь. – А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись, – она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я ее никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, – аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.

1973

Что передать вороне?

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, – собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город – это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по-задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

– Приехал? – по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию, осиянность вечеряющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь, против обыкновения, почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась – по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность... Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была

своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно поднимающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробы и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, – что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тщаь и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забежал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

– Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари...

– Да-а, а если она мне показала язык! – тотчас вскинулась дочь. – Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

– Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

– А что, ворона видела, да, что я показывала?

– Видела. Она все видела.

– А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

– Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

– Нет, давай еще погуляем, – не согласилась она.

– Пора, – повторил я. – Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

– А ты не уезжай сегодня. – И добавила как окончательно решенное: – Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, – нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающим и не желающим знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

– Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все – больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

– Можно первым утрением уехать. К девяти часам там.

– Нет, не можно. – Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь.

– До свидания. Что передать вороне?

– Ничего. До свидания, – отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки, и ничего бы между нами не случилось.

* * *

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием – не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, – расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, стигнул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах, – как мало, не однажды я

замечал, надо нашему человеку: пострадай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра – останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не отошла бы до сна. И я бы был прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья – те же подскоки и подпрыжки, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то поменяться, затем уговорил диспетчера – и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по-воробыному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой; я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», – говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело: лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался; взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые

столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет – это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезеньем. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо – стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были распянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково сустились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое – точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгал первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали душить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? – я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал – что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

* * *

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймашь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подмененных. Относительно «подмененных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я – это действительно я и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыwanie в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я» – или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение? Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

* * *

Наутро после поездки в город я поднялся поздно.

Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, – нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше – приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза... Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнившего дерева. Сейчас этот запах проступал сильнее – верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была – как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте – и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего портального крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдавшая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опушенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменной, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял, как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя... Я не помнил, как это происходило – само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, выносил в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посापывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благодный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей густо-коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоём одиноком миру, возвещающая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И

второй глоток, и третий – те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навывдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то... Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ошупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола...

* * *

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково – то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было – уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаюсь запахнуть в себе от чужого простора, день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду – и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходится он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание – то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало... и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий... Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, со страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли. И оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Бай-

калу небо – какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготавливаемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, – сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно! Многие из того, что заботило меня еще и вчера и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении, или они затихали, или, напротив, набирали силу – мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть – неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем – для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились?

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволит. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаваясь в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, – с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что,

приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня – почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того, как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного высшего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было – значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах – или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда – не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит – где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я несколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня – видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя – каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как милика-ет напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне...

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

* * *

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготавливалось и ожидалось весь день, налачился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не замататься по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул,

даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.

1981

Наташа

Недавно я лежал в больнице в большом чужом городе, где мне сделали операцию, по моим ощущениям, довольно неприятную, которая прошла, однако, удачно и обошлась благополучно. Но не о том речь... Там, в больнице, я снова встретил Наташу.

«Снова встретил» – это так и не так. То, о чем я хочу рассказать, есть странное соединение сна, может быть, даже не одного сна, с реальностью, которая придала этой истории законченный, хоть и не вполне разгаданный, оставшийся, пожалуй, еще более таинственным, смысл. Но все разгадать нельзя, да и не надо: разгаданное скоро становится ненужным и умирает; погубив таким образом немало самого замечательного в своем мире и нисколько этим не обогатившись, мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко.

Я увидел Наташу, кажется, на третий день моей больничной жизни. Почему не утром, когда медсестры заступают на дежурство, и не в течение долгого и однообразного дня, как удалось мне за весь этот день не столкнуться с Наташей и дотянуть до вечера, не знаю, тут что-то было особое. Как обычно, перед отбоем дежурный врач обходил больных, его сопровождала по своему блоку медсестра. Я уже лежал в постели, читал, когда они вошли: плотный, с густым голосом, излишне энергичного вида мужчина на исходе молодости, которую он старательно оберегал, и совсем еще молоденькая девушка, рослая и пухлая, но в пухлости своей какая-то вся аккуратная, без излишеств, и заманчивая, словно бы так с самого начала и задуманная, с широким, мягким, цветущим добротой лицом, встретив которое даже где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии можно без опаски заговаривать по-русски. Это и была Наташа. Войдя и увидев меня, она вдруг покраснела и смутилась. Я заметил это, а она заметила, что я заметил, и смутилась еще пуще. Отвечая на обычные вопросы врача о самочувствии, я наблюдал потихоньку за пытающейся скрыться за его спиной и никак не помещающейся за ней девушкой и узнавал ее все больше и больше. Не было никаких сомнений, что я прежде встречал ее, сталкивался не в уличной сутолоке, когда раз мелькнувшее лицо может надолго зацепиться в памяти, а в общении, вовсе не случайном и не пустяковом для меня, которое должно было выйти из привычного порядка вещей. Но что это такое было, как ни напрягал я память, все же не вспомнил. Уходя, Наташа не выдержала и в дверях, пропустив вперед врача, оглянулась с робкой и обнадеживающей улыбкой, словно подтверждая, что да, я не ошибся и это она и есть.

Все последующие дни превратились для меня в мучение. Я вспоминал и не мог вспомнить, и чем старательнее перебирал я все, что случалось со мной в последние годы, тем больше чувствовал безнадежность. Где-то это было не там, что-то не оттуда. Наташа, казалось, ждала, тайком посматривая на меня с терпением и укором, но только поднимал я на нее глаза, ищущие вольную или невольную подсказку, она тотчас убирала свои и смущалась. Эта способность смущаться и краснеть, нынче почти изжитая в девушках, настолько была в ней приятна и естественна и так к ней шла, ко всему ее крупному лицу и крупной фигуре, что после первого удивления Наташу и представить нельзя было иной и наблюдать за ней доставляло удовольствие, словно сама душа затоплялась в тебе счастливым ответным смущением. Многие больные лечились здесь годами, в болезни своей были особенно несчастны, потому что ее нельзя скрыть и она в самом прямом смысле торчит на виду; постороннему человеку, не знающему, что это такое, она представляется ужасным уродством, перед которым не всякий сумеет сдержаться, и это отношение со стороны, это ощущение себя как невольного пугала, которому то ли повезет, то ли нет снова когда-нибудь стать здоровым и, как говорят, лицеприятным, сказывалось, конечно, на больных, работать с ними было непросто. Но перед робостью Наташи робели почему-то все. Ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь, даже самый отчаявшийся, взялся при ней грубить или капризничать, это показалось бы не только неприличным, но значило бы, что

силы больного кончились и надо срочно, если позволяет болезнь, выписывать его, дать пожить и отдохнуть среди родных, а потом вызывать снова. Так уж само собой принялось, что молчаливая, стеснительная и безответная Наташа, которой в голову не пришло бы жаловаться, стала и для больных, и для врачей больше чем просто медсестра, исправно и с душой исполняющая свои обязанности. Как бы это назвать?.. Пожалуй, на нее смотрели как на человека немножко не от мира сего, на одну из тех, без странностей, причуд и наивных глаз которых мы, люди мира сего, давно свихнулись бы в своем могучем поживательстве и пожинательстве, давно свернули бы себе шею, если бы нас не останавливало их робкое непонимание.

Наташа дежурила на неделе дважды, но не через равное количество дней, а по какому-то своему, ломаному графику и появлялась всегда возле своего столика в коридоре тихо и незаметно: только что не было – и тут неслышно двигается, что-то сверяет по бумагам в своем хозяйстве, открывает сейф с лекарствами, идет к больным в палаты. Всякий раз, увидев ее, я вздрагивал – так близко было до того, чтобы вспомнить: я делал уже порывистое движение к Наташе и замечал, что и она с готовностью поднимала навстречу мне лицо; все во мне замирало перед озарением, и я, казалось, уже вспоминал, но из-за спешки, из-за горячности или из-за чего-то еще не мог удержать воспоминания. Лицо Наташи, обиженно опускаясь, вспыхивало, я неловко здоровался и отходил. Снова и снова все было напрасно.

Дошло до того, что мы стали избегать друг друга – ня без крайней нужды не обращался к ней, и она заходила в палату все реже. Но в нашем закутке, или блоке на шесть палат, совсем не встречаться было нельзя, а назначения врачей приходилось исполнять и ей, и мне. Наташа в таких случаях торопилась сделать свое дело и уйти, я же чувствовал себя вконец виноватым: она ведь могла считать, что я прекрасно все помню, но из какой-то своей корысти не хочу открываться, а спрашивать ее, что это было, что я не в состоянии вспомнить, тоже казалось мне неприличным – могло ведь ничего и не быть, я мог все это навыдумывать из болезненной фантазии, от одного лишь любопытного внимания.

Исподтишка я продолжал наблюдать за ней.

Задумавшись, она порой подолгу смотрела в окно в коридоре, куда-то вверх улицы и домов, и до того ей приятно было что-то там видеть, что лицо ее озарялось уже не краской смущения, а волнением только ей одной лишь доступного чувства. Затем я снова замечал ее взгляд на себе – то пытливый и проникающий, вызывающий тревогу, то отсутствующий, с потерянной мыслью, то быстрый, настороженно-лукавый...

В последнюю неделю Наташа дежурила почему-то часто – возможно, подменяла кого-нибудь из заболевших подруг. И ничего удивительного, что ей же выпало везти меня на операцию. Сестра из операционной, направляя каталку со мной, шла впереди, Наташа подталкивала ее сзади. Укрытый простыней, я видел перед собой только ее большие, казавшиеся мне огромными глаза на опущенном лице, она избегала смотреть на меня и все-таки с испугом взглядывала и крупно, словно крестясь, принималась моргать. В это утро мне было не до воспоминаний. По яркому электрическому свету я догадался, что меня ввезли в операционную. Наташа осталась в дверях и, придерживая их, смотрела из коридора, как меня подкатывают к столу и помогают перебираться на него. Устроившись как надо, я повернул голову к дверям – Наташа продолжала смотреть на меня, но под моим взглядом закрыла двери.

Все, я остался один среди этих людей, никого из которых с закрытыми лицами нельзя было узнать. И даже голоса их, как подкрученные, звучали с одинаковым металлическим настроем. Я пытался прислушиваться к ним, но ничего не понимал, они говорили на незнакомом языке.

Минут через десять, не зная себя совершенно, я уже спал.

...Так трудно было потом проснуться. Иногда я почти приходил в себя, чтобы почувствовать, что я есть, почувствовать в себе озноб и глухую боль, и снова впадал в тяжелое, тупое забытие. До меня доносились женские голоса, я различал и один голос, и второй, требовавшие,

чтобы я не спал, но я не мог не спать, это было свыше моих сил. Все было свыше моих сил, мне по силам было только спать – даже и не спать, а находиться в удушливом беспамятстве, из которого, я все-таки дышал этим сознанием, должен когда-нибудь открыться выход.

И он постепенно приоткрывался во мне: я чувствовал уже, как берут мою руку, чтобы проверить пульс, как ставят градусник и делают уколы. Помню свое ощущение: я пытаюсь подняться из глубокого, закачанного угаром шахтного колодца, невесть как очутившегося на моем пути, я тороплюсь, чтобы не задохнуться в нем, но так медленно всплываю... дышать уже нечем. Оказалось, что я был обложен грелками. Я заворочался со стоном, меня каким-то образом поняли, и грелки были убраны. Стало легче. В темном тумане начали появляться обрывочные и бессвязные видения, настолько бессвязные и далекие один от другого, точно они слетались ко мне от разных людей, а может быть, и не только от людей. Одно из них я почему-то никак не хотел отпускать, оно было чем-то мне приятно и о чем-то напоминало; я очень расстроился, когда оно все-таки исчезло.

Наконец я открыл глаза и увидел, что лежу лицом к просторному, во всю стену, окну. Там, за окном, был еще день – единственное, что я отметил, и снова забылся. Но теперь я владел собой и не позволял себе опускаться во сне глубоко. Я слышал, когда ко мне подходили и отходили, слышал голоса женщин, разговаривающих между собой и отвечающих кому-то на вопросы обо мне. Потом кто-то надолго остановился надо мной и стал ждать, когда я очнусь.

Это была Наташа. В сумерках ее фигура показалась мне выше и легче, точно парила в воздухе. Я сразу пришел в полную память. Обрадованным и слабым голосом, едва слыша себя, я с усилием проговорил:

– Наташа, я вспомнил, вспомнил... мы летали...

Она с волнением закивала мне, прикоснулась легкой и мягкой рукой к моему горячему лбу и отошла так быстро, что мне показалось, что она убежала.

* * *

То, что я вспомнил, жило во мне давно, и не знаю, откуда взялось. Вероятней всего, привиделось что-то во сне, но не в полной картине, а полная картина составила затем, когда я думал об этом вольными представлениями, как и всегда, с заботой достраивающими в нас все неоконченное. Не думать же об этом было нельзя, мы невольно придаем значение и ищем вещей смысл в подобных видениях, тем более что здесь было в чем его и искать.

И почему я сразу не догадался, что это она и есть, та девушка из сна? Совпадение настолько полное и так часто это лицо стояло у меня перед глазами в плоти и крови, что я обязан был узнать его тут же, без промедления. А встретил – и растерялся, две недели мучился воспоминанием, которое находилось рядом. Оттого, вероятно, и растерялся, оттого и мучился, что рядом, – всему, что близко, мы и не привыкли доверять. Теперь, встревоженная этим досадным препятствием, вся картина ожила передо мной еще ярче и явственней, и я все меньше склонен верить, что она произошла из сна. Краски, запахи, ощущения – нет, многое во сне является совсем по-другому.

Я и сейчас, как наяву, вижу большую поляну на горе (она, эта поляна, существует, и видеть ее не составляет труда), полную цветов – жарков, колокольчиков, белых и сиреневых ромашек. Я сижу среди них на земле в каком-то тревожном и восторженном ожидании, которое наполняет меня все больше и больше, так что я начинаю в нетерпении оглядываться и что-то искать. Прямо передо мной Байкал, широким и стремительным выносом уходящий вдаль и там подымающийся в небо, слева Ангара, внизу, под горой, мой домишко, из которого я был позван сюда неведомой повелительной силой. Солнце, небо чистое и глубокое, с Байкала тянет ровным влажным ветерком, вода внизу сияет пышущей голубизной – я продолжаю всматриваться вокруг с пристальным, предчувствующим что-то вниманием, беспокойство мое нарастает.

тает, я жду чего-то и сам не знаю, что это может быть, но жду в полной и ясной уверенности, что от этого изменится вся моя жизнь.

И вот позади меня слышится мягкий шелест травы, я оборачиваюсь и вижу приближающуюся с улыбкой девушку. Она в простеньком, плотно облегающем ее летнем платье и босиком, светлые волосы свободно распущены по плечам – если бы не босые ноги, в ней нет ничего необычного. Но тогда я принял босые ноги как само собой разумеющееся и только уж после, разбирая и обдумывая каждую подробность, споткнулся: почему босые? что это значит?

Она приближается, и я вскакиваю ей навстречу. Не может быть сомнений: это ее я и жду. Меня только удивляет немного, что она оказалась рослей и полней, чем я мог предполагать, хотя за минуту до того я ничего не мог предполагать. Чувствуя мое смущение, она улыбается. От улыбки ее широкое, с крупными чертами лицо озаряется светом удивительного согласия с собой и кажется на редкость красивым.

С ее появлением все вокруг незаметно меняется, точно перестраивается для какого-то действия. Поляна превращается в вытянутое к Ангаре поле, густо усеянное все теми же цветами, которые, как расчесанные с пробором волосы, с одной стороны поля наклонены к Байкалу, с другой – к горе. Мы стоим посредине. Солнце, только что державшееся над головой, упало близко к закату, и теплый свет его идет низко над землей. Байкал еще больше вычистило, выяснило, и еще заметней стала его дальняя вознесенность к небу.

Я смотрю на все это без удивления, будто так и должно быть. Но в душе моей возрастает тревога, мне страшно, что я чего-то не смогу и кого-то подведу, а если не смогу и подведу, то меня уже не станет. Но, странно, мне чудится, что меня не станет таким, как я есть, если даже я смогу и не подведу. И вместе с жалостью к себе меня охватывает гордость.

– Готов? – спрашивает девушка.

– Не знаю. Я не сумею.

– Как же не сумеешь, если ты уже умеешь, – говорит она озабоченно. – Если бы ты не умел, я бы не велела тебе прийти сюда.

– А это ты велела мне прийти? – Я не сомневаюсь, что это так, и спрашиваю, лишь бы оттянуть время.

– Пошли! – Она берет меня за руку и ставит у края поля лицом к Ангаре, так что солнечный свет бьет нам в спину. – Бежим! Ну, бежим, бежим!

Я чувствую, что бегу рядом с ней, бегу все быстрее и легче; она отпускает мою руку и остается где-то позади, но я слышу ее голос, требующий, чтобы я бежал еще быстрее. Я несусь огромными скачками, мне кажется, что я продолжаю бежать, когда замечаю проплывающую внизу четырехскатную железную крышу дома, в котором живет мой товарищ. Я что-то кричу то ли ему, то ли всем, кто остался на земле, и прибавляю ходу. Ноги мои вытягиваются, руки выдвигаются вперед, солнечный свет сильным порывом подхватывает меня и возносит высоко вверх. Рядом с собой я обнаруживаю девушку, она улыбкой пытается успокоить мое волнение, но даже и ей это не под силу. Восторг распирает меня, вот-вот, кажется, оборвется от него сердце, и я двигаюсь неровно, подныривающими толчками, мне уже мало того, что я лечу, и хочется чего-то большего, окончательного, хочется, повернув к солнцу, от которого я ощущаю сладостную тягу, рвануться к нему и никогда не остановиться, но девушка настороже, она рукой показывает мне, куда править. Мы проплываем над Ангарой, делаем и круг, и второй над ее истоком и уходим далеко от берегов в Байкал. Я постепенно успокаиваюсь, восторг мой, отбушевав, становится мало-помалу разумным, и теперь я в состоянии со вниманием всматриваться и вслушиваться в творящуюся вокруг меня жизнь.

Мы парим на той пограничной высоте, докуда достает нагретый за день, настоявшийся воздух, на котором можно лежать, почти не шевелясь. Он то приливно приподымается, волнуясь от закатного солнца, то опускается, и мы качаемся на нем, как на утомленной, затухающей волне, из далекого далека дошедшей до берега и теперь играющей возле него. Небо остывает, и

я хорошо вижу в нем обозначившиеся тенями тропинки, талыми провисшими путками ведущие в разные стороны. Они пусты, но по легким вдавленностям заметно, что по ним ходили, и меня ничуть не удивляет, что они, точно от дыхания, покачиваются и светятся местами смутным, прерывистым мерцанием.

Солнце склоняется все ниже и ниже, и могучая торжественная музыка заката достигает такого согласия, что кажется тишиной. И в этой тишине громко и тяжело звучит шорох, с каким опускающийся воздух задевает о гладь воды. И еще – вон там, на берегу, в том лесу на сопке пискнула, я слышу, раскольниковым голосом, не в лад общей музыке, пичужка, пискнула и осеклась, с испугом оглядываясь, что с ней будет. Я вижу и слышу все и чувствую себя способным постичь главную, все объединяющую и все разрешающую тайну, в которой от начала и до конца сошлась жизнь... вот-вот она осенит меня, и в познании горького ее груза я ступлю на ближнюю тропинку...

И вдруг, оборачиваясь ко мне, девушка говорит:

– Пора.

И показывает на берег.

– Нет, нет, – волнуюсь я. – Еще. Я не хочу.

– Солнце заходит. Пора, – терпеливо и радостно, со сдерживаемым торжеством в голосе настаивает она.

И я понимаю: пора. Мы медленно плывем к берегу. Земля уже в сплошной синей тени, звуки, потеряв музыку, сливаются в одно глухое гудение. Мы приземляемся на ту же самую поляну, и я, пробуя ноги, делаю первые шаги, которые огромной тяжестью отдаются во всем теле. Девушка с усталой и беспокойной улыбкой наблюдает за мной.

– А дальше? – спрашиваю я.

– Что дальше? – Она делает вид, что не понимает.

– Если дальше ничего не будет, то зачем это было? Я хочу еще. Я дальше хочу. Там оставалось совсем немного.

Помолчав, она говорит:

– Я буду приходить.

На этот раз она говорит без улыбки, и я замечаю, что без солнца черты ее лица резко обострились и напряглись, а фигура выглядит угловатой и неловкой. Она и сама, очевидно, знает, как изменилась, и, робкой рукой прикоснувшись ко мне, сделав последнюю попытку улыбнуться, начинает уходить.

Я смотрю ей вслед и такую чувствую в себе и в ней тревогу, загадочным выбором соединившую нас, но относящуюся ко всему, ко всему вокруг, такую я чувствую тоску и печаль, словно только теперь, полетав и посмотрев с высоты на землю, я узнал наконец истинную меру и тревоги, и печали, и тоски.

Она уходит, и быстро сгущающиеся сумерки скрывают ее.

Но она сказала: я буду приходить.

* * *

Через два дня из послеоперационной меня перевели обратно в свою палату. Ковыляя по коридору в сопровождении медсестры, я еще издали выглядывал: вдруг сегодня опять Наташа? Нет, ее не было, дежурила милая, но другая девушка, которая и приняла меня с рук на руки, уложила в постель и сообщила, сколько раз и в какие часы мне назначено давать лекарства и делать уколы. Я смиренно слушал и представлял, как мы с Наташей встретимся, когда она придет и о чем станем говорить. Все-таки нам предстояла необычная встреча.

Я ждал и день, и два, и три – Наташа не появлялась. Конечно, у нее могли скопиться отгулы за внеочередные дежурства, она могла заболеть, много чего могло быть, но я уже чув-

ствовал, что все это не то. Когда, наконец решившись, я спросил о ней, мне ответили, что Наташа уволилась и уехала из этого города.

Оказалось, она работала в больнице недолго.

1981

Век живи – век люби

Тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. «Самостоятельность» – самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок – вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка; так произошло и на этот раз: как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным, встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: все, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке... Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой все ребенок, и никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я – это я, это мне принадлежит, в конце концов, мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы, в этом не было необходимости, но границы собирался по-раздвинуть.

И удивительно: стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки», – сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале – золотой месяц: ягоды, грибы, рыбалка, купание, и папа, будь на то его воля, не раздумывая, поменялся бы с Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться – и не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест, хотелось, и особенно в Брест, но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой, которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную сорок лет назад пулю. Если у родителей один ребенок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним, как с куклой, до тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Сане было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что, говоря нормальным и ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости, то и другое делая как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен тут быть, говоря не столько для него, сколько для себя, чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе: это не для него, это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разговаривать и серьезно. Особенно это относилось к папе, и в нем же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе, но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова все повторялось сначала. «Как маленькие, честное слово, как маленькие», – в тон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остается ребенком.

На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжилось. Прошло три дня – и вдруг бабушке приносят телеграмму: срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни. Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на северном Байкале, и вот, стало быть, серьезно заболела, а муж ее – геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась: и здесь парнишка на ее руках, и там неизвестно что. Санины родители в это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин, все сошлось лучше некуда для Сани, и он заявил: останусь один. Выручила тетя Галя, бабушкина соседка, она согласилась не только кормить бабушкиных поро-

сят, но и доглядывать за ее внуком, а на ночь брать его в свою избу. Бабушка уехала, а тетя Галя и думать забыла про Саню. Про поросят она, правда, помнила, и этого было достаточно.

Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей собственной жизни он выдвинулся поперед всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом. Ничего, казалось бы, не изменилось, внешне все оставалось на своих местах и в своем обычном порядке... кроме одного: он получил удивительную способность оглянуться на этот мир и на этот порядок с расстояния, мог войти в него, но мог из него и выйти. Люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду, каждый из них в отдельности, на свой взгляд, выходит вперед, иначе жизнь не имеет смысла. Многие для Сани находилось тут еще в тумане, но ощущение того, что он вышел вперед, было отчетливое и радостное, как ощущение высоты, когда открываются дали. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришел благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взявшаяся в нем откуда-то необходимость возиться с грядками – самой неприятной работы. Это было и не желание, и не понуждение, а что-то иное: поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь сходится с твоей собственной потребностью движения и дела, подобно тому, как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда.

Ночевать одному в старой избе, в которой постоянно что-то скрипело и вздыхало, поначалу было невесело, но Саня справлялся со страхом своим способом – он читал перед сном «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книжка была читаная-перечитаная, истрепанная до последней степени, что еще больше заставляло сердце замирать от рассказанных в ней жутких историй, которые в новой книжке можно принять за выдумку, а в старой нет, в старой поневоле поверишь, но после них, после этих историй в книге, вознесенных в своей красоте и жути до самого неба, с подголосками из самой преисподней, сил и страхов на свои заугольные и застойные шорохи уже не оставалось, и Саня засыпал. В его представлении призраки и нечистая сила, которые были там, в книге, почему-то не соединялись с теми, которые могли быть здесь, словно не желая признавать теперешнюю исхудавшую и обесславленную породу за свое будущее; и Саня, откладывая книгу, лишь с жалостью и недоумением думал о всем том, чего он порывался бояться, с жалостью не к себе, а к ним: вот ведь какую имели власть и до чего докатились!.. А потом привык. Привык различать дальние, как стоны, сигналы пароходов в море, шум ветра, который набирается за день и гудит в стенах ночью, тяжкий скрип старых лиственниц во дворе и глухой могучий гуд от Байкала, который в темноте зовет и не может донести какую-то свою потерю.

Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйственностью, и беспокоясь лишь о том, чтобы не нагрянула бабушка, от которой не было никаких известий. У бабушки на стене в горнице висел отрывной календарь; Саня снимал с него листочки и складывал их на тумбочке рядом с толстой бабушкиной горкой своим отдельным порядком, видя в этом какой-то неясненный, но значительный смысл.

* * *

В пятницу после обеда пришел Митяй. Он не знал, что Саня живет один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Саниного отца. К нему Митяй и шел за помощью и теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберезовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали о пол, затем спросил:

- Сушишь?
- Сушу.
- Молодец.

Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит и сказана не от сердца, ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал.

- Дядя Митяй, вам, наверное, три рубля надо. Я могу дать, у меня есть.

Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, пуще прежнего поморщился и отвечивал:

- Ты корову теткой не зовешь?
- Зачем?

– То-то и оно... зачем?.. Митяй – кличка, как у быка. Кто ж кличку дядькает? Зови, как все, Митяй, чего там... Не подавлюсь.

– А вообще-то как тебя зовут? – Саня не решился сказать «вас». Но они и вправду знакомы были давно, и «ты» у Сани по-свойски проскакивало и раньше.

- Митяй. Так и зовут. Хошь – спроси у моей мамы, она умерла сто лет назад.

И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его «заносит» в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. «Он не от обезьяны выродился, а от дьявола, – сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека. – Ежели бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хуже, тем милей. Это от него, от нечистого».

Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал:

- Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче – от и до.

Эх, слышал бы это папа, слышал бы... У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно, – до того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на нее, на эту пору. Он и нынче угадывал на нее и сколько, поди, старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это «от и до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-то, а такое за ним не водится, он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: «Люди говорят, сыном ноне насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегая».

На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу; если не смородину, то жимолость; если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу, они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды, из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь, Саня не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в два ряда, полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толченье и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье, половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьей – только подавай!

Мама была отсюда, из этого поселка, выросла здесь, а папа городской, но именно он постоянно тянул ее сюда, а мама если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку.

И дружба папы и Митяя не нравилась маме. Митяй когда-то «сидел», кроме того, он «пил» – были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а, чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его «заносило», рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон, и мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьез, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы ее скрывали. Что же касается теперешних походов Митяя, мама не могла не знать, что, осужденный в свое время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и старается отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя, в споре с мамой начинал горячиться, а потому мало что мог сказать, он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяй остается человеком и ведет себя как человек, не то что некоторые трезвенники. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала: «Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился». Вот это «из круга выбился» почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом – и что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг?

Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:

– Я, Санек, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.

Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в поселке, которые знали одно: любым способом взять, выманить, выпросить – нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг и, за редкими исключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались в том, что в назначенный срок Митяй, пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то.

Он вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но, ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:

– А хошь – пойдем завтра со мной заместо отца. Ягода есть – я бегал, смотрел. Промнешься, чем дома сидеть.

И когда Саня, удивленный и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тертый в тайге, да и нигде не тертый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность.

– Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся.

– Не дойдешь, там останешься, – сердито буркнул Митяй и спрятал трешку в карман. – Только это... с ночевой пойдем, запас бери. Одежонку, главное, потеплей бери на ночь.

* * *

Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за последнего дома, увидел он утром на площадке, где притормаживал поезд, огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда не свет, не темь, толпа действительно казалась огромной – много больше, чем живет в поселке, и люди с трех сторон все подходили и подходили. В четвертой стороне, на воде, один за другим взрывались оглушительно моторы, и лодки с пригнувшимися и настороженными, как на гонках, фигурами устремлялись вдоль берега вправо. Те, что ждали поезда, держались группами и тоже были почему-то настороженны и малоразговорчивы.

В этом незнакомом по большей части и недружелюбном многолюдье Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитровато и уверенно поблескивающими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровевшем за ночь лице Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задирает стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят, помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. Когда Саня подошел и поздоровался, он тут же, воспользовавшись случаем, отодвинулся от Митяя и – за спины, за спины...

– Куда?! – весело закричал ему вслед Митяй. – Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, ты от меня не спрячешься.

Саня оглянулся: почему пустая голова? – но мужика уже и след простыл. А оглянулся Саня потому, что у Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая, выцветшая до столь скорбной окраски, что ее нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящая для Митяя, для всего его ладного в это утро и подогнанного вида. Все по отдельности было некстати – шапка, голубенькая майка под темным пиджаком с подвернутыми рукавами, широкие, как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные, намазанные дегтем сапоги, – и все вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. То ли благодаря лицу, то ли фигуре, то ли чему еще. Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладина сидит так, что позабудишь, но у Митяя было что-то иное, у него этот лад шел словно бы от какого-то согласия с собой, когда человеку все равно, что надеть, лишь бы было удобно, и потому все надетое вынуждено выглядеть ловко и хорошо.

Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил:

– А горбовик отцов где?

– Он большой сильно.

– Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главное, легкий, по спине. Ладно, полезли, не зевай.

Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона, Митяй быстро и сильно втолкнул в нее Саню, прыгнул сам, и, пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкотню, подергиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и все-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с ним со вчерашнего дня, будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда веселый и беззаботный. Впрочем, Саня еще раньше начал подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то единый мог решать, что ему делать дальше.

– Ну, орда, ну, орда! – громко и вызывающе-счастливо крикнул Митяй, когда поезд двинулся и их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелиться. – Держись, тайга!

– Что-то уж сильно много, – озираясь, осторожно заметил Саня, у которого испуг от многолюдья все еще не прошел. – Неужели они все за ягодой?

– Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. Счас пером поперет. – Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая. – Ниче, Санек, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники сурьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала.

Поезд шел медленно и неровно, подергивая старый скрипящий вагон, выслуживший пять сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они все еще служат, удивляя заезжего человека грубым, на теперешний взгляд, затрапезным видом: тяжелые деревянные полки, маленькие и подслеповатые, как в зимовье, окна в рамах, узкие проходы с тор-

чащими углами и в избытке оставленные на память, вырезанные на стенах, окнах, дверях, полках имена и пожелания жаждущих вечности путников.

Да это и не было тем, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда три, когда четыре вагона, а зимой так хватало и одного. Рано утром устаревшее сборное чудо-юдо уходило из поселка и поздно вечером возвращалось, толкая в вагонах, выгородках и открытых платформах уголь и бензин, сборные деревянные дома и ящики с водкой, металлические конструкции и печенье-конфеты-галеты, огромные и красивые, сияющие яркой краской заграничные машины и отечественные походные электростанции. Весь этот груз перегружался на корабли и по Байкалу доставлялся потом на северную стройку.

Прежде тут проходила знаменитая Транссибирская магистраль. Из Иркутска она шла левым берегом Ангары и здесь этим берегом Байкала устремлялась дальше на восток. На знаменитой Транссибирской магистрали Кругобайкальская железная дорога была еще более знаменитой – по трудности прокладки и эксплуатации пути, а главное – по красоте и по тому особенному и необыденному духу, который и в работе, и в дороге может дать только Байкал. Теперь едут, чтобы доехать, а прежде ехали, чтобы еще и посмотреть, и вот в таком путешествии (теперь и слово-то «путешествие» кажется столь же устаревшим, как, например, «фаэтон») эти места были самое главное, самое желанно-жданное и самое памятное. Поезд останавливался не ради себя, а ради пассажиров на удобном и красивом береговом километре, и расписания так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескаться друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаенной мечтой увидеть и почувствовать все это снова. На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах омуль соленый, копченый, вяленый, жареный, с душиком, с лагушком, шла бойкая и непрерывная жизнь со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне – и куда все это подевалось?!

«Как в другой жизни было», – говорила бабушка, но говорила без печали, точно о молодости, которая в надлежащем порядке была и прошла.

Эта прежняя жизнь оборвалась по обыкновенной теперь уже причине: стали строить Иркутскую ГЭС, и потому железную дорогу с берега Ангары, который затоплялся новым водохранилищем, потребовалось переносить выше. От Иркутска ее спрямили, выведя без зигзагов сразу в самую южную точку Байкала – на станцию Култук, а эта часть дороги от Култука до Байкала осталась таким образом не у дел и уперлась в тупик. Одну рельсовую нитку сняли, другую на всякий случай оставили. Разъезды и полустанки опустели, люди выехали из поселков, которые за десятки лет стали им родными, бросив и огороды, и дома. Только на станциях, бывших когда-то немаленькими и существовавших не одной лишь дорогой, теплилась еще жизнь; там, впрочем, старики и дотягивали.

Но то, что не разобрали вторые пути, теперь, когда загремел БАМ, оказалось кстати, и, хотя поезд делал по-прежнему за день один круг, рано утром уходя и поздно вечером возвращаясь, шел он обратно тяжелей и был длиннее. Ягодников это расписание как нельзя более устраивало, чтобы доехать до нужного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за долгий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой. А места здесь – не было бы счастья, да несчастье помогло, став малодоступными для горожан, все еще могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда по-родственному и по-приятельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, выгрызал все от черемши до кедровых орехов подчистую.

Если бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который навьючены еще и одежда, и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но, глядя на ягодников, Саня жалел уже, что не взял папин горбовик – из гнутой фанеры, легкий и удобный для таски, с которым можно падать, можно провали-

ваться в ямы: ягода останется в целости и сохранности. Он бы и взял его, да, примеряя вчера, обнаружил, что лямки ему великоваты. Но лямки, наверное, можно было укоротить, Митяй бы помог. Санин новый зеленый рюкзак с выпирающим ведром выглядел среди этой дружной и ладной оснащённости уж очень нелепо – будто парень собрался не в тайгу, а на базар.

– Станция Березай! Кому надо – вылезай! – крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос.

Митяй, заглядывая в окно, пояснил:

– Восьмидесятый. Счас будет полегче.

Километраж здесь сохранился прежний: когда-то досюда насчитывалось восемьдесят километров от Иркутска.

Поезд начал тормозить, и горбовики зашевелились, закачались, потом, отбивая в купейные боковины остающихся, поплыли к выходу, куда их втягивало, как в воронку, и с силой выносило на простор, разметывая на стороны, где они обретали наконец хозяев, окликающих друг друга и собирающихся опять своими группами. Вышла едва не половина народу, и в вагоне действительно стало полегче. Видно было, когда поезд тронулся, как вышедшие длинной очередью, выстроившись друг за другом, уходили в распадок мимо покинутых домов, сквозящих в окнах пустотой и холодом.

Отсюда, из окна вагона, картина эта поразила Саню. День поднимался пасмурный, серый, тайга еще не согрелась от света, и люди, удаляющиеся в темный распадок мимо нежилых домов, как мимо чужих гробов, казались уходящими туда в поисках своего собственного вечного пристанища и несущими в этих странных посудинах итоги своей жизни. Что там ягода?! Ягода так, для отвода глаз. И пока не скрылся из виду распадок, у Сани было полное и яркое ощущение того, что он смотрит изнутри на старое место захоронения, и над домами, точно над могилами, где-то там, по другую сторону, стоят, как и положено, памятники.

Папа, читая однажды книгу, вслух произнес оттуда фразу: «Смертный ужас рождения». «Как, как?» – переспросила мама. Папа повторил. «Что за глупость?» – растерянно сказала мама, на что папа не сразу и задумчиво произнес: «Не такая уж, однако, и глупость. Тут есть что-то такое, что нам не положено знать. Тут, может, это случайно сказано, но за этой случайностью – бездна». Он отложил книгу и в еще большей задумчивости, неестественным, странно удаленным голосом продолжал: «Нам чудится, что мы живем, а нас, может, давно похоронили, но мы ничего не помним. Мы суедемся тут, хлещемся... Как перевертыши. И не понимаем, что нас нет, что это кто-то собрал наши грехи и страсти, чтобы посмотреть, какими мы были». Мама испугалась: «Перестань, не говори хоть при Сане свои глупости. Он же запомнит». Папа посмотрел на Саню и улыбнулся: «И правда глупости. Живи, Саня, так, будто ты только здесь и родился».

Но мама была права: Саня запомнил, и папина фраза из книжки прозвучала сейчас на остановке голосом того неизвестного, кто ее впервые сказал.

Раз за разом пошли тоннели, которыми славится дорога, недлинные и чистые, с красиво отделанными порталами; на освободившейся от вторых путей обочине стояли в тоннелях копны с сеном, в опущенное окно наносило горьковатой сыростью, мелькали белые наросты на стенах, извивающиеся полосами и похожие на сосуды в утробе, поднимался и нарастал, самооглушаясь, шум поезда, сильнее скрипел и болтался вагон, но странно: сумрак тоннелей нравился Сане, он начинал возбуждать в нем какое-то особое, глубинное чутье и не успевал – снова вырывались в широкий и светлый, небесный сумрак дня и снова ненадолго наддавал поезд. Саня не бывал здесь и смотрел во все глаза. За тоннелями в опасных местах тянулись оградительные от камнепада стенки, ровно и аккуратно, будто вчера только выложенные; на одной из них торчал огромный, как танк, валун. Невозможно было представить, как удалось ему запрыгнуть на стенку и удержаться на ней, будто это и имел он целью: встать, словно памят-

ник на постаменте, в виду исполинской скалы в подтверждение того, что стена здесь стоит не напрасно.

Пялясь на дорогу, Саня и не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя, мужик с белым не по-здешнему и дряблым лицом, но по манерам, по уверенности в себе здешний. Сначала он услышал голос Митяя:

– А я тебя гляжу, гляжу... Уж думал, остался. Или проспал.

– Под самый конец залез. Едва протолкался, – ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик в выпущенной поверх штанов толстой байковой рубаше сидел рядом с Митяем и, готовясь к еде, выуживал из раскрытого горбовика помидоры.

– Чаю утром не успел попить. Парень, что, с нами идет? – не глядя на Саню, спросил он.

– С нами.

– Ты не говорил.

– Ну и что? Когда бы я сказал?

– Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снарядился бы, дождем пахнет.

Саня насторожился: он тоже не знал, что они с Митяем идут не вдвоем. С третьим в тайге, конечно, надежней и веселей, но отчего-то неприятно было, что он узнал о нем только сейчас.

На 94-м километре, где остановки не полагалось, но машинистов, своих мужиков, уговорили притормозить еще, быть может, вчера, посыпались вниз с задранными горбовиками, как сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. Так показалось Сане. Машинисты, поторапливая, подергивали состав, и люди, устанавливаясь на земле на ногах, смеялись и грозили в голову состава кулаками. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги и ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон, повеселел и, вернувшись на свое место, задиристо сказал:

– Ты только, дядя Володя, не каркай. Дождя не должно быть. Правильно я говорю, Санек?

Они втроем сошли на 102-м, и Митяй, дурачась, замахал рукой: трогай, больше нам тут никто не нужен.

* * *

– Пошто, говоришь, они все там остались, а мы сюда? А потому, Санек, что там ходьба легкая. Час, ну, чуть боле враскачку – и на месте. А тут покуль дойдешь, надо три раза ноги, как коней, менять, да сколь потов сойдет. Усек? – Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шел здесь впервые, предупреждая их таким образом о трудной дороге.

Бессчетное число раз переходили они речку с берега на берег, поднимаясь встречь ей по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь по упавшим поперек лесинам, то вброд, а то перешагивая в узких глубоких горловинах, в которых клокотала темная вода. Тропа на белых, как высушенных, камнях терялась, не оставалось, сколько ни всматривался Саня, никакой мало-мальской приметы, но Митяй словно бы видел ее поверху и точно выходил на ее продолжение. Они шли то по крутому откосу, где больше сил тратилось, чтобы, упираясь, не скатиться вниз, чем передвигаться вперед, то по такому узкому прижиму рядом со скалой, на котором не только не разминуться вдвоем, но и одному было тесно, так что приходилось заплетать ноги, чтобы шагать в линию, то по высокой, выше человеческого роста, траве в заболоченных низинах. Но затем тропа, давая отдохнуть, забирала в лес, становилась сухой и широкой, шагу ничего не мешало, и идти по ней было одно удовольствие.

Тайга стояла тихая и смурная; уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Про небо в густой белой мути нельзя было сказать, низко оно или высоко, из него словно вынули плоть, и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь нее не проникало, не было и ветра – тяжелые, раздобревшие за лето деревья стояли недвижно и прямо, охваченные истомой, и только над речкой, повинуюсь дви-

жению и шуму воды, подрагивали на березках и кустах листья. Время от времени вспархивали птицы, однажды, шагая, они испугнули с тропы выводок рябчиков, но и он снялся и улетел спокойней обычного, чтобы не нарушать общей тишины.

Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача и тем чаще задирали Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они – как сидели в густой темной хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы несколько шишек, потревоженных кедровкой, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашел одну шишку, наполовину вышелушенную, и две вместе на общем отростке, сорванные ветром и несколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться! Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул:

– Орех нонче есть. От и до. Но и кедровка, подлюка, уж полетела. – И добавил неодобрительно: – Ты шибко-то не прыгай. Скоро нам ног мало будет, на карачках поползем.

Это «скоро» началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от нее влево. До этого все время тянулся подъем, то положе, то круче, он и теперь продолжался, но они пошли наискось горе и шли, обманывая ее, поначалу легко. Кедрач и ельник остались внизу, начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывшей с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел, все снова пошло вперемешку – кедры, сосны, березы, ели, а гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, развернулась и встала перед ними в рост. Они полезли.

Митяй по-прежнему шагал первым, и только он один знал, что ждет их впереди. Лес все больше и больше редел, освобождая небо, – казалось, вот-вот они заберутся наконец на вершину, откуда начнется крутой спуск: оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подсвистом. Саня не решался обходить его. Они шли все в том же порядке, как вышли, но Саня с дядей Володи теперь уже далеко отстали от Митяя, вздернутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно, на собственных ногах и не знал устал.

Крутизна действительно поубавилась, в лицо дохнуло свежестью... Саня шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись, стоял Митяй и ожидающе улыбался.

– Ты что это?.. Ты куда нас? – испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя.

– Перекур! – объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно довольный тем, что он может им показать. – Дальше по-пластунски.

Саня не верил глазам своим: только что шли по живому, как всегда, на перевале аккуратно, весело и чисто стоящему лесу и вдруг... Отсюда, где они остановились, и докуда-то дотуда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево все было снесено какой-то адской, чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, высоко вверх задирали вывороченные вместе с землей гнезда корней, топорщились сучьями с не облетевшей еще желтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперек. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не выворотило с корнями, – больше всего это были ели и кедры, – обломало, оставив уродливо высокие и расщепленные пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уцелел подрост, и его зеленая хвоя и зеленые листья, уж осмелевшие и прорастающие вверх, казались среди этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжающуюся жизнь.

– Что это?.. Что тут было? – едва опомнившись, спросил Саня.

– Смерч, – сказал Митяй.

– Какой смерч?

– Такой, с Байкала. Больше неоткуль. Я сам впервой такую разруху вижу. В прошлом году с отцом твоим по ягоду так же пошли – все нормально. А осенью я по орех... Может, главное, первый и увидел. Ты пойдешь погляди, до чего ровно с этой стороны обрезал. Как отмерено.

Саня прошел и посмотрел: граница между повалом и живым, стоящим лесом действительно была на удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросало с обреченной полосы дерева.

– Этак и убить могло, – угрюмо заметил дядя Володя, исподлобья озирая поверженное лесное воинство.

Митяй засмеялся. Сане послышалось – не без злости:

– Могло? Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы счас.

– Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь, – не остался в долгу дядя Володя.

– А новичков-то и хлещет. Их-то, главное, и караулит. Из-за их-то и происходит. Ишь, сколь тайги из-за одного такого погубило.

– Из-за кого? – вскинулся дядя Володя. – Что ты мелешь?!

– Откуль я знаю, из-за кого. Я тут не был.

– Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался! Как это вы все не любите новичков – что Николай Иванович, что Леха, что ты... Будто свой огород... захочу – пущу, не захочу – заверну.

Митяй усмехнулся.

– Ты меня с ими не равняй, – подумав, примирительно сказал он. – Я бы такой был, как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря: слышал звон, да не понял, где он. Леха – аккуратный мужик, он порядок любит. А каждого в тайгу пускать – это разор только, ее и так разорили.

– Я рядом с тобой живу – почему я каждый?

– Я не про тебя, дядя Володя, не про тебя, – вроде бы и искренне и еще более примирительно ответил Митяй, но даже Саня почувствовал в его голосе нетвердость и пустоту: что-то Митяй недоговаривал.

И вот через эту полосу шириной не более километра они продирались часа полтора. Прежде Митяй уже пытался чистить здесь ход, он и сейчас шел с топором, часто останавливаясь и обрубая сучья, отбрасывая их в сторону, и все равно идти было тяжело. Они то подлезали под стволы снизу, задевая и корябая горбовиками, то и дело осаживая назад и неуклюже заваливаясь, то забирались наверх и двигались по стволам, как по перекрещенным и запутанным мосткам, перебираясь со ствола на ствол, чтобы хоть несколько шагов, да вперед. Шли замысловатыми зигзагами – куда можно было идти. Дядя Володя стонал и ругался, пот лил с него ручьями. Большой зеленый узел, оказавшийся плащ-палаткой, с его горбовика сдернуло – ее подобрал Саня, который и без того замучился со своим поминутно сползающим с плеч рюкзаком. Спohватившись и увидев свою поклажу в руках у Сани, дядя Володя лишь бессильно кивнул головой: неси, пока не вышли, так и быть.

Но когда выбрались они наконец из завала и, пройдя еще минут пятнадцать по чистой тропке, поднялись на вершину, обрывисто стесанную слева и отступающую вправо каменистым серпантинном, когда неожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в темной мерцающей зелени, победно споривший в этот час с белесой пустотой неба, – за все, за все они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли – не стояли, а парили в воздухе – могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немереных километров вольной земли. Здесь был предел, трон – дальше и внизу, волнисто воздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более темными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга. Митяй, сняв горбовик, весело и громко возгласил:

– Ну вот, дядя Володя, а ты говорил! Зачем ты неправду говорил?!

Дядя Володя, тяжело, с кряхтением усаживаясь на камень, не отозвался.

– Вот это да-а! – ахнул Саня, подошедший последним.

– От и до, Санек, а?! – крикнул ему Митяй. – Запоминай – во сне потом будет сниться! Где-то рядом, сердито заявляя свои права на эту округу, засвистел бурундук. Митяй засмеялся:

– Да уйдем, уйдем, парень. Посидим и уйдем. Что ж ты, дурак такой, и меня не помнишь?

* * *

«Не может быть, – не однажды размышлял Саня, – чтобы человек вступал в каждый свой новый день вслепую, не зная, что с ним произойдет, и проживая его лишь по решению своей собственной воли, каждую минуту выбирающей, что делать и куда пойти. Не похоже это на человека. Не существует ли в нем вся жизнь от начала и до конца изначально и не существует ли в нем память, которая и помогает ему вспомнить, что делать? Быть может, одни этой памятью пользуются, а другие нет или идут наперекор ей, но всякая жизнь – это воспоминание вложенного в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир? Столь совершенного, совершенству которого Саня начинал удивляться все больше и больше, все больше упираясь в этом удивлении в какую-то близкую и ясную непостижимость; столь законченного в своих формах и способностях и столь возвышенного среди всего остального мира – и вдруг, как перекасти-поле, на открытую дорогу – куда ветром понесет? Не может быть! К чему тогда эти долгие и замечательные старания в нем? Столько сделать внутри и оставить его без пути? Это было бы чересчур нелепо и глупо».

Сане казалось, что таким именно он это место и видел, как можно видеть предстоящий день, стоит только сильнее обычного напрячь память. Не совпадали лишь кой-какие детали. Вернее, он не заставил себя рассмотреть их в подробностях, увидев главное и решив, что этого достаточно. Через пять минут, после того как подошли к шалашу, Саня уже не сомневался, что он бывал здесь. Конечно, он не бывал в действительности, но он словно бы, не свернув с тропы, как лежащего перед ним пунктира, пришел туда, куда должен был прийти, и застал то, что должен был здесь застать. Но застал и увидел в полной картине, а не в голых представлениях, во всех красках и полной, не имеющей нигде больше подобия жизни.

Славное это было место: на сухом взгорке среди елей и кедров. Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый корой и ветками и устланный от земли старым лапником и травой. Рядом чернело кострище, аккуратно и по-хозяйски обустроенное и обложено камнями, с наготовленным таганком и свисающими с него закопченными березовыми рогулками для котлов, а чуть поодаль со стороны речки высоко упавшую лесину сверху затесали и приспособили под стол. И чисто, обжито было здесь: ни бумаги, ни банок, ни склянок – порядок, заведенный человеком, поддерживала и тайга. Сухие сучья, накиданные ветром, словно приготовлены были для растопки, чтобы не искать ее человеку, и загорелись сразу. Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока дядя Володя нарезал хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длинном и узком постолье, пока то да се – чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, разморились, осоловели от сытости, от густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды в речке – потянуло отдохнуть. Позевывая, Митяй позволил:

– Ладно, полчаса на отлежку – само то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем, наломаемся.

Он лег подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшей все же, по-видимому, способности греть и смягчать. Дядя Володя ушел в шалаш и скоро засопел там, а Саня сидел у лесины, где пили чай, на камне и, расслабившись, безвольно и дремотно, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего,

для всего, что было вокруг: для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь заросшей голубичником и размеченной корявыми березками; для низкого неба, начинающего постепенно натекасть какой-то мутной плотью; для приглушенных и зыбких звуков, доносящихся, как неверное эхо, из глубины переполненного тишиной мира. И все это вливалось, входило, вносилось нарочком и ненарочком в забывшегося в сладкой истоме парня, все это искало в нем объединяюще-продолжительного, в иную, не человеческую меру участия и правильного расположения – все это заворожило и обморило его до того, что захотелось застыть здесь как истукану и никуда не двигаться.

Было душно; по щеке неподвижно лежащего на боку с закрытыми глазами Митяя струился пот, его пила большая сизая муха, то отбегая, то снова припадая бархатной членистой головкой к натекающей влаге и не давая ей скатиться за шею. Эта муха в конце концов разбудила Митяя, он сел, встряхнулся, отер рукавом пиджака пот и осмотрелся.

– Кончай ночевать, мужики, – негромко сказал он, позевывая и внимательно всматриваясь в небо. – Выпросил ты все ж таки дождя, дядя Володя, выпросил. Надо успеть до него.

А через минуту уже опять весело и напористо распоряжался:

– Давай, давай, Санек, пошевеливайся. Чтоб, главное, полведра сегодня у тебя стучало. Ого, ты гляди, дядя Володя-то у нас!.. Держись, ягода! – Он увидел, как дядя Володя, подстегнув на ремень котелок, встал на изготовку с совком в руке. – А давай на спор, дядя Володя, что я без совка больше твоего нахвостаю. Давай? Боишься? Чего ее совком драть, когда ягода такая?! Ты ее рукой в леготочку натрясешь. И ягода будет чистая – хоть на базар. Совком только лист обрывать, ты вполювину с листом ее домой попрешь.

Дядя Володя, не отвечая, первым двинулся к речке.

– Почали, Санек, почали, – возбужденно повторял Митяй, когда и они перешли речку и встали перед ягодником. Дядя Володя уходил слева в глубину низины, под ногами его чавкала и переливалась вода. Издав губами отрывистый, понукающий звук, Митяй наклонился над кустарником, и Саня слышал, как голо, отрывисто упали в его котелок первые ягоды, а потом, падая и падая, перешли в частый и мягкий бормоток.

* * *

Столько ягоды Саня никогда еще не видывал. И не представлял, что ее может столько быть. Он ходил раньше не раз с бабушкой за малиной, ходил в прошлом году с папой и Митяем здесь же, на Байкале, в падь Широкую за черной смородиной, то был первый его серьезный выход в тайгу, окончившийся удачно, но они брали тогда по оборышам, подчищая оставшееся после других, и хоть набрали хорошо, большого удовольствия это не доставляло. Тут же на этот раз они были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, аросло ее на диво, в редкий год, по словам Митяя, удастся такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое – кусты ломаются от ягоды: они действительно ломались, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше.

Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и рясно подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, что-то еще, чему Саня не знал имени и что западало в душу все это вместе скрепляющим чувством – смутным и добротворным. Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то продолговатыми плодами, Саня приступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему. «Не обижайся, – наговаривал он, – что я возьму тебя... я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не успеешь упасть на землю и сгнить, все равно тебя склюет птица или оберет зверь – так чем же хуже, если сейчас соберу тебя я? Я сберегу тебя, – Сане не хотелось признаваться, что он будет варить или толочь ягоду, это казалось варварством, – и зимой маленькая

девочка по имени Катя, которая часто болеет... – И грубым, бестактным казалось называть себя – то, что он станет есть ягоду, и Саня вспоминал свою двоюродную сестру, которой и в самом деле перепадало немало варенья, так что Саня здесь не совсем лгал —...и маленькая девочка по имени Катя... она очень любит голубицу, любит тебя, ты очень помогаешь этой девочке. Когда мы приедем домой, ты увидишь ее и поймешь, как ты нужна ей... не обижайся, пожалуйста».

Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, ее крепость и налив, и трогать ее то одним легким касанием, то осторожным нажимом, то с мягкой подкруткой, чтобы не оборвать плоть, когда ягода не хотела отставать от ростка; пальцы делали свое дело быстро и на удивление ловко, чего Саня и не подозревал в себе, словно и это пришло к нему как недалекое и желанное воспоминание. И, обминая, обласкивая каждую ягодку, подталкивая их одну за другой в ладонь и ссыпая затем в пристегнутый к ремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения, он и не замечал их однообразия, как не замечал времени, с головой уйдя в это живое и чувственное рукоделье и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре. И когда что-то – посторонний звук или неосторожное движение – приводило его в память, он, с трудом узнавая, озирался вокруг: вот он, оказывается, где, это он, оказывается, ягоду берет, а ему чудилось... Но что ему чудилось, сказать было нельзя.

И как приятно было, не заглядывая в бидон, ощущать его все возрастающую и возрастающую тяжесть, а потом, опуская ягоду, словно бы ненароком натолкнуться рукой на его поднявшееся теплое нутро: так быстро! И идти с наполненным бидоном к шалашу, постоять подле ведра, прежде чем высыпать в него, засмотревшись на парную и живую, томно дышащую, каждая ягодка отдельно, светло-глянцевую синеву сбора. Снизу, когда Саня высыпал голубицу в ведро, она была уже отпотевшей и темной и казалась задохнувшейся. Отсюда, снизу, можно было кинуть наконец несколько ягодок в рот, обмереть на мгновение от растекшейся под языком сладости и нежной тающей плоти и, причмокивая, медленно возвращаться обратно к кустарнику, а там на десять, на пятнадцать минут и вовсе забыть про бидон, словно бы допивая начатое снадобье, все дополняя и дополняя его неговоренную меру.

Нету, нету на свете ягоды нежней и слаще голубицы, и стойким надо быть человеком, чтобы принести ее из лесу в посудине.

Пошел дождь, но никто из них троих ничем не отозвался на него, не заторопился в шалаш, каждый еще больше заторопил руки. Митяй и Саня по-прежнему держались неподалеку друг от друга, к ним постепенно приближался из глубины болотины дядя Володя. Дождь, падая на кустарник, шумел густо и звучно; мокрую ягоду брать стало трудно, она давилась, мялась, к рукам налипали листья. Быстро темнело, и только тогда, спохватившись, Митяй прокричал отбой. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехлитровых бидона, наполнив его больше чем наполовину.

В темноте и под дождем они рубили и подтаскивали дрова, нагатавливая их на сырую и беспокойную ночь. Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что, как маленькие, заигрались на ягоде и припозднились, но чувствовалось, что ругается он так, для порядка, довольный сам, что брали до последнего и успели немало. Гоношиться под дождем с варевом не захотели, вскипятили опять чай и, забравшись в шалаш, пили его при свете костра долго и сладостно, как можно наслаждаться им только в тайге после нелегкого и удачного, несмотря ни на что, дня.

Это была первая Санина ночь в тайге – и какая ночь! Точно взявшаяся показать ему один из своих могучих пределов. Тьма упала – хоть ножом режь, в ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон, сплошным шумом шумел там дождь. Он то примолкал ненадолго, то припускал сильней, и сильней тогда начинал шипеть костер, сопротивлявшийся воде, с досадой выстреливая вверх угольками и принимающийся время от времени для остротки поддувно и сердито завывать. Но огонь горел хорошо. Митяй, перед тем как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их рядом, две сухие лесины, которых должно было хватить

надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лесинам маленькие древесные муравьи, как отгорает и опадает щепка, обнажая источенное ими, похожее на опилки, зернистое крошево. Когда он поднимал глаза к небу, там все так же стояла исполинская тьма, начинавшаяся сразу от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь нее, казалось, мог быть только черным. И до чего жалок, беспомощен и игрушечен, должно быть, представлялся откуда-то оттуда этот костер! Но кому, кому мог он представляться, кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его видеть? Но не для того ли и тьма, тьма-тьмушая, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить? А рядом Саню – настороженного и готового ко всему, ждущего чего-то с неба ли, со стороны ли с нетерпением и уверенностью: нет, что-то должно случиться... Такая ночь не напрасно. Вот спит уже Митяй, давно похрапывает укрывшийся с головой плащ-палаткой дядя Володя – почему только ему, Сане, не хочется спать? Но не потому ли и уснули они, не потому ли их усыпили, чтобы он мог остаться один и наедине?.. Кто внушил ему, и это внушение он ощущал в себе все отчетливей, будто сразу не расслышал и только после расшифровал по оставшимся звукам сказанное, – кто внушил ему, что именно теперь и должно что-то для него открыться? Нетерпение становилось все сильнее – и ближе, значит, было исполнение, точно что-то, невидимое и всесильное, склонилось и рассматривает, он ли это. Нет, не рассматривает, Саня вдруг понял, что он ошибается и рассматривать его не могут, но это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нем и достаточно ли того, что есть, для какого-то исполнения.

Дождь опять стал примолкать, во вздымающемся воздухе ощутимо донесся запах багульника и кедровой смолы. Перевернулся с боку на бок и что-то пробормотал спросонья Митяй. И еще тише стал дождь, он висел над костром на темном фоне парящим бусом. Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас... И вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, чего-то добившись, затем вздохнула еще раз. Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински-глубокой, затаенной тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался вослед этому возвеченному, неведь как донесшемуся зову – отшатнулся и тут же подался вослед, словно что-то вошло в него, и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, что произошло, приятное тепло сплошной мягкой волной разлилось по его телу, напряжение и ожидание исчезли вовсе, и с ощущением какой-то особенной полноты и конечной исполненности он поднялся и перешел в шалаш.

Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володи, но, засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корье. И вдруг проснулся – дядя Володя, перегнувшись через него, расталкивал Митяя и испуганно шептал:

– Митяй! Митяй! Поднимайся! Кто-то ходит.

– Кто ходит... Медведь, наверное, ходит, – недовольно отвечал Митяй. – Кому тут еще ходить?!

– Слышишь? Ты послушай!

Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал поджиглять костер. Затрещали посыпавшиеся в стороны искры, затем ровно загудел огонь. Когда Митяй вернулся на свое место, Саня уже спал: слова о медведе мало встревожили его – или он окончательно не проснулся, или подействовал спокойный голос Митяя.

И еще раз он услышал сквозь сон, как дядя Володя снова расталкивает Митяя, но слова его звучали где-то далеко-далеко и были плохо слышны. И там же далеко, но с другого конца Митяй ворчливо объяснял:

– Да ты не бойся, спи. Походит и уйдет. Ему же интересно поглядеть, кто это тут, вот он и выглядывает. Больше мы ему ни про что не нужны. Если бы ты тут жил, а к тебе бы, главное,

медведи без спросу приперлись, на твою территорию, тебе что, не интересно было бы? И ты бы так же бродил.

Больше Саню уже ничто не могло разбудить.

* * *

Его растормошил Митяй. Первое, что увидел Саня, открыв глаза, было солнце – не случайно выбравшееся из-за туч, чтобы показаться, что оно живо-здорово, а одно-единственное во все огромное чистое небо, склоненное от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. Возле горы лежала еще тень, слабая и начинающая подтаивать, от нее, казалось, и натекала небольшая сырость, но вся низина сияла под солнцем, и взрывчато-звездчато взблескивали там на кустах яркими вспышками погибающие капли воды. И куда все так скоро ушло – и беспросветная, бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи – нельзя было представить.

Митяй успел не только вскипятить чай, но и приготовить варево, которое дружным соглашением решили оставить на обед – перед тем как уходить обратно. Костер догорал, слабый дымок редкой и тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня и ступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками, и вытянуто, в рост, прямилась трава.

Они попили чаю и посидели еще, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберет мокроту. Митяй был весел и громок и подтрунивал над дядей Володи, над его ночным бдением. Дядя Володя по обыкновению отмалчивался, но на этот раз с видимой затаенностью и злостью. Это в конце концов почувствовал и Митяй и отстал от него. Саню же все в это яркое утро приводило в восторг – и то, как обрывались с кедра и шлепались о шалаш и о землю последние крупные капли дождя; и то, как умиротворенно и грустно, вызывая какую-то непонятную сладость в груди, затихал костер; и то, как дурманяще и терпко пахла после дождя лесная земля; как все больше и больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти; и даже то, как неожиданно и дурноголоса, напугав их, закричала над головами кедровка.

Солнце вошло в силу, воздух нагрелся – пора было приниматься за дело. Саня заглянул в свое ведро, стоящее по-прежнему в рюкзаке под кедром, – ягода в нем заметно осела и сморилась, и все-таки больше двух бидонов, прикинул он, в ведро уже не войдет. Можно не торопиться. Но только начал он брать, только потекла сквозь пальцы первая ягода, еще больше налившаяся, отличающаяся от вчерашней тем, что произошло в эту ночь, и вобравшая в себя какую-то не простую ее силу, только окунулся он опять в ее живую и радостную россыпь – руки заработали сами собой, и удержать их было уже невозможно. Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под цвет неба – стоило Сане на секунду поднять глаза вверх, ягода исчезала совершенно, растекалась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматриваться, напрягать зрение, чтобы снова отыскать ее – по-прежнему ясную, крупную, отчетливо видимую.

Он и не заметил, как набрал один бидон, потом другой... Ведро было полнехонько, а он только разохотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпичей, которую он для этой надобности и прихватил с собой, чтобы не высыпалась по дороге ягода, он неторопливо стал спускаться по тропке обратно. Митяй, не разгибая спины, рывками шевелился за строем реденьких березок справа, дядю Володю видно не было, он, похоже, предпочитал оставаться один. От избытка счастья Саня сладостно вздохнул – так хорошо было, так светло и покойно и в себе, и в мире этом, о бесконечной, яростной благодати которого он даже не подозревал, а только предчувствовал, что она где-то и для кого-то может быть. Но чтоб для него!.. И в себе, оказывается, многого не знал и не подозревал – этого, например, нечеловечески сильного и огромного чувства, пытающегося вместить в себя все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую

красоту и страсть, всю обманчиво сошедшуюся в одно зрение полноту. Саню распирало от этого чувства, он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему... он готов был на что угодно.

Захотелось вдруг пить, и он, опустившись к речке, попил, прихлебывая из ладони.

Солнце поднялось высоко, день раздвинулся шире и стал глубже и просторней. Все вокруг было как-то по-особенному ярко и свежо, точно Саня только что попал сюда совсем из другого, тесного и серого, мира или, по крайней мере, из зимы. Воздух гудел от солнца, от его ровно и чисто спадающего светозарного могучего течения; теперь, после ночи, пила и не могла напиться и насытиться солнцем земля, и так до новой ночи, когда небо опять потребует от нее свою долю. Всякий звук, всякий трепет листочка казался не случайным, значащим больше, чем просто звук или трепет, чем обычное существование их во дню, как и сам день не мог быть лишь движением времени. Нет, это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своем величии, сиянии и значении доходящий до последних границ. В такой день где-то – на земле или в небе – происходит что-то особенное, с него начинается какой-то другой отсчет. Но где, что, какой? Нет, слишком велик и ничему не подвластен, слишком вышен и всеславен был он, этот день, чтобы поддался он хоть какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать – и только, а неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает и его огромную неизъяснимость.

Саня принялся опять за ягоду, за дело, которое было ему по силам, но, смущенный и раздосадованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшими понять ему что-то важное, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему, расстроенный и недовольный собой, он провозился с последним бидоном долго. «Что-то», «какой-то», «где-то», «когда-то» – как все это неверно и неопределенно, как смазано и растерто в туманных представлениях и чувствах, и неужели то же самое у всех? Но ведь, как никогда прежде, близок он был к этим «что-то» и «какой-то», ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикосновения, с готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же не достало в нем, чтобы увидеть и понять? Какого, способного отделиться, чтоб встретить и ввести вовнутрь, существа-вещества, из каких глубин какого изначалья? Или его только дразнили, играли с ним в прятки, заметив его доверчивость и любопытство? И как знать: если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадочную и желанную неопределенность, раскрыть и назвать ее словом – не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей?

Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошел вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик, но дядя Володя неожиданно грубо и резко не позволил. Саня, очень удивленный, отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на камень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося, замершего над ним во всей своей благодати и мощи, раскрытой бездонности и нежности, без сомнения, заглавного среди многих и многих дня. Он сидел и слабой, усыпленной, замороженной и отрывистой мыслью думал: «Что же мне еще надо? Так хорошо! В одно время он, такой день, ня... в одно время и здесь...»

И когда на обратном пути поднялись они с тяжелой поклажей на вершину перевала, на тот таежный каменный «трон», откуда волнами уплывали в дали леса; когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощанье Саня это сияющее под солнцем без конца и без края и синеющее уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье – от восторга и непере-носимо-сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце: пусть, пусть что угодно – он это видел!

* * *

В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и в высоко и округло, как остров, стоящем лесном отбое между дорогой и берегом скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки – верный признак того, что сегодняшней день по звонкой и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра, долгодолго. Земные праздники мы знаем – то был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах, то было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился, и вот оно минуло. Догорел свет, небо потухло, не давая глубины, и затмилось; сгруппа выскочили над Байкалом слабые, мутные звездочки и тут же, как одернутые, скрылись. Резко и отчетливо выделяясь, темнел лес, не вставший еще сплошной стеной, выдающийся разнорост и глубину, в нем длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались густой синью и дальние берега на той стороне Байкала; вода в море, притушенная скучным небом, едва мерцала дрожащим и искривленным, как бы проникающим из-под дна свечением.

До поезда оставалось минут сорок. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились: не было сил. Гудели ноги, гудели спины – без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться, это можно было сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за дяди Володи, которому хотелось добрать горбовик, потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал припрятанный колот и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями – не шли, а, припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам черт ногу сломит, не то что они. Спина у Сани саднила: нижней тяжелой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинства горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился, он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. Митяй молчал; привычный и не к таким марш-броскам, он устал, но не изнемог, и лежал отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей – пластом, мало что и видя, и слыша вокруг себя.

Отдышавшись, Митяй поднялся, нашел справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлепывая руками по телу и вскрикивая; Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодренный и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал:

– Хорошо бы чаек сварганить, да не успеем.

Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что хотелось, так это пить. Теперь, когда немного отдохнули и вязкая горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая, требовательная жажда. Он залпом выпил кружку, хотелось еще. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край, толстое и морщинистое горло его ходило, как мехи. Митяй подождал, пока дядя Володя оторвется, выплеснул остатки и протянул ему котелок:

– Теперь твоя очередь.

– Вон парень сходит, – прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане.

Саня спустился, заставил себя умыться, вытер лицо рукавом рубашки и, замерев, прислушался. Все вокруг затаенно жило своей отдельной, не сходящейся в одно целое жизнью: так же пошумливал в верхушках деревьев вялый, прерывистый ветер, слабо шевелилась с облизывающимся причмокиванием вода, пестрела, отдавая теплом, россыпь камней на берегу, плавали в воздухе над водой с резким моторным звуком круглые черные жуки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Володи и Митяя. Когда Саня подошел, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хоте-

лось – по-прежнему хотелось пить, но, чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и теплую мякоть яйца.

Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающей глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро.

– Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой? – вдруг спросил дядя Володя, спросил негромко, но как-то значительно, с ударением.

– Не знаю, – пожал плечами Саня. Он решил, что дядя Володя спрашивает потому, что не уверен, сумеет ли он, Саня, обработать без взрослых ягоду. – Сварю, наверное, половину... половину истолку.

– Нельзя ее варить, – решительно и твердо сказал дядя Володя. И еще решительней добавил: – И есть ее нельзя.

– Почему?

– Кто, какой дурак берет ягоду в оцинкованную посуду? Да еще чтоб ночевала! Да такая ягода!

Саня ничего не понимал: какая такая особая ягода? При чем здесь ночевала? Что такое оцинкованное? Шутит, что ли, дядя Володя?

Митяй не сразу, с какой-то излишней задумчивостью и замедленностью поднялся, нагнулся над Саниным рюкзаком и стащил с ведра тряпку. И увидел – ведро действительно оцинкованное.

– Ты, гад!.. – оборачиваясь к дяде Володе, начал он. – Ты что же это делаешь, а? Ты что же это?.. – Он двинулся к дяде Володе, тот вскочил. – Ведь ты же видел, ты знал, ты, главное, там видал! И дал парню набрать, дал ему вынести – ну, не гад ли, а?! Я тебя!..

– Только тронь! – предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал: – А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты ваньку валяешь? Оно на виду, оно открытое стояло! Ты что, маленький?!

Митяй опешил и остановился.

– Да видал! Видал! – завопил он. – Знал! Но у меня, главное, из головы вон. Я смотрел и не видел. А ты, гад, ждал. Я забыл, совсем забыл!

– Больше не забудешь. Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить.

Митяй заметался, словно что-то подыскивая под ногами. На глаза ему попало ведро с открытой ягодой, – решительно и вне себя он выхватил это ведро из рюкзака и резким и быстрым движением вымахнул из него ягоду под откос. Она зашелестела, скатываясь, и затихла.

– Митяй, ты что?! – вскочил до того сидевший и все еще ничего не понимавший Саня. – Зачем ты, Митяй?! Зачем?!

– Нельзя, Саня, – торопливо и испуганно забормотал Митяй, и сам пораженный той решимостью, с которой он расправился с ягодой. – Нельзя. Она, главное, за ночь сок дала... сам отравишься и других... никак нельзя в оцинкованное... Ну, идиот я, ну, идиот! От и до. Ходи с таким идиотом...

Он сел и затих. Саня подобрал ведро и поставил его в рюкзак, потом аккуратно, со странной внимательностью следя за собой, как за посторонним, застегнул рюкзак на все застежки.

– Теперь, дядечка Володечка, ходи и оглядывайся, – неожиданно спокойно сказал Митяй. – Такое гадство в тайгу нести... мало тебе поселка?!

– Сядешь, – так же спокойно ответил дядя Володя. – Сидел и еще сядешь.

– А я об тебя руки марать не буду, – уверенно и как дело решенное заявил Митяй. – На тебя первая же лесина сама свалится, первый же камень оборвется. Вот увидишь. Они такие фокусы не любят... ой, не любят!

Стал слышен стукоток поезда.

...Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нем разные голоса. И все они шли из него, были частью его растревоженной

плоти и мысли, все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно-уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть.

Он проснулся в ужасе: что это? кто это? откуда в нем это взялось?

1981

Не могу-у...

Мы с товарищем опоздали на электричку и сели на проходящий, взяв билеты в плацкартный вагон. Плацкартные ныне потускнели – или оттого, что возвращаться к ним приходится нам из купейных, а не подниматься, как в свою пору, из общих, или правда по всем статьям опустилась железная дорога. Этот, в который мы забрались, был замусорен, закопчен и как-то не расположен к уборке.

Проводнице, хорошенькой большеглазой девушке из студенток, конечно, казалось в нем неуютно, и она, едва поезд тронулся, скрылась, и больше мы ее за два с половиной часа не видели. Впрочем, и поезд был не дальнего следования, под трехзначным номером – кто на такой смотрит, кто к такому придирается? Лишь бы вез, а то ведь они, эти недалекого следования, горазды и стоять.

Мы устроились на свободной скамье напротив старушки с книгой и принялись осматриваться. Старушка читала без очков – это в ее возрасте надо выделять как особую примету. Она держала толстую и разбухшую книгу на коленях, наклонив аккуратно седую голову с широким гребнем в коротко остриженных волосах. Губы ее пошевеливались при чтении, подвижное чуткое лицо отзывалось той жизни, которая была в книге, с простодушным интересом. На верхней полке над старушкой ворочался и косился на нас красивыми серыми глазами на породистом длинном лице мужчина средних лет, одетый в спортивное трико – черное с белыми полосами; полосы, впрочем, посверкивали и на лысеющей голове. По его мнению, мы были несерьезные пассажиры: вдвоем с одной сумкой, да еще к тому же отчего-то веселые. Веселье под хмелем понять можно, а без хмеля оно подозрительно, особенно в поезде. Может быть, этого пассажира сверху смущали наши три свободных руки, может, что-то более серьезное, но мы ему явно не нравились.

Товарищ мой, по своему обыкновению всем интересоваться, поднялся и обошел вагон. Когда он вернулся, сообщив, что в вагоне, на удивление, не людно, и стал рассуждать, почему пассажир сейчас поредел (дело было в сентябре), послушать его к нашему купе придвинулись любопытные – мальчик и девочка лет пяти-семи, которых он успел за свой короткий выход чем-то заинтересовать. Прервавшись, Олег (так звали моего товарища) полез в карман, нашарил там шариковую ручку и расческу и протянул их ребятам. Те, помявшись, взяли и, не зная, что с ними делать, остались стоять с подарками в руках, оторопело поглядывая друг на друга. Мужчина наверху усмехнулся, но, кажется, этот неумелый и искренний жест его успокоил – он отвернулся. Старушка, приподняв книгу и делая вид, что не отрывается от нее, смотрела на моего товарища с опасливым прищуром, боясь, как бы он не взялся одаривать чем-нибудь подобным и ее. Мы все больше сходили за ненормальных.

И тут до нас вдруг донесся не то стон, не то вскрик, да такой бедовый и тяжкий, что стало не по себе. Олег вскинулся:

– Что это?

– Это там дяденька плачет, – сказала девочка и показала рукой в глубину вагона.

– Дяденька плачет? Чего он плачет?

– Его хмель давит, – баском пояснил мальчик.

Теперь, когда они заговорили, стало видно, что мальчик старше девочки и кое-что знает в жизни.

Старушка оторвалась наконец от книги и, выглянув в коридор, со вздохом подтвердила:

– Ой, надоел. Перед городом милицией припугнули, так затих. Теперь сызнава.

– Не могу-у! – истошно взревел неподалеку голос. – Не могу-у!

– Чтоб ты сдох! – отозвался сверху мужчина в трико и возмущенно сел, спустив над старушкой ноги. – Нет, дальше следующей станции ты у меня не поедешь! Хотел ведь, по-человечески хотел снять! Чтоб по-человечески ехать!

– Не могу-у-у! – еще отчаянней, еще горше перебил его голос.

Олег, не вытерпев, пошел посмотреть, я за ним. Через две перегородки от нашей, уронив лохматую голову и время от времени пристукивая ею о столик, корчилась в судорогах грязная и растрепанная фигура в засаленной, выдавшей виды нейлоновой куртке и резиновых сапогах. Купе было свободно, видеть эти мучения никто не хотел. Олег присел напротив, по другую сторону столика, я сбоку. Человек, сидящий перед нами, уткнувшись в столик, ненадолго затих, словно прислушиваясь к себе или к тому, что происходит кругом; затем сдавленно, через силу сдерживаясь, испустил длинный утробный стон – нарочно так, с таким рвущим горло выдохом, изобразить он не мог, так могло выходить наружу только бушующее страдание. Олег принялся тормошить беднягу за плечи, тот долго ничего не чувствовал, ничего не понимал, потом поднял все-таки голову, показав лицо, и бессмысленно уставился на нас.

Никто, никакой вражина не сумел бы сделать с ним то, что сделал с собою он сам. Прежний человек хоть и с трудом, но все же просматривался еще в нем. Голубые и, наверное, чистые когда-то глаза перетянуты были кровавыми прожилками и запухли, призакрылись, чтоб не видеть белого света... Белый свет они действительно видели плохо, но тем сильнее и безжалостней всматривались они в свое нутро, заставляя этого человека кричать от ужаса. Светлые густые волосы на голове стали от грязи пегими и свисали лохмами; круглое, в меру вытянутое книзу аккуратным и крепким подбородком лицо со слегка вздернутым носом, которое затевалось во всей этой нетяжелой и немудреной форме для простодушия и сердечного отсвета, – лицо это, одутловатое, заросшее, тяжелое, полное дурной крови, пылало сейчас догорающим черным жаром. Даже ямочка на подбородке и та казалась затянувшейся раной. И сколько лет ему, сказать было невозможно – то ли под тридцать, то ли за сорок.

А вспомнить – такие же мужички, прямые предки его, с такими же русыми волосами и незатейливыми светлыми лицами, какое чудесным и редким раденьем, показывая породу, досталось ему, – шли на поле Куликово, собирались по кличу Минина и Пожарского у Нижнего Новгорода, сходились в ватагу Стеньки Разина, продирались с Ермаком за Урал, прибирая к хозяйству земли, на которых и двум прежним Россиям было просторно, победили Гитлера... И вот теперь он.

Мой товарищ продолжал тормошить его:

– Ну что? Что тебе?

– Не могу, – сорванным, обвисшим голосом прошептал он.

– Может, помочь чем? Чем помочь-то тебе?

– Не знаю.

– Ему бы куриного бульончику... желудок смягчить, – посоветовала старушка из нашего купе; мы и не заметили, как вокруг нас собрались люди.

– Ему не куриный бульончик, ему хороший стопарь нужен, – громко, увесисто, зная, по-видимому, толк в этих делах, предложил рыжий верзила, возле которого держались побывавшие у нас мальчик и девочка. Все разом загалдели:

– Ага, стопарь-то его и довел. На стенку лезет.

– Ему стопарь – его связывать надо. Рот затыкать надо.

– И так едем как в вытрезвителе. И ни одной власти нету, все разбежались. Бригадира вызывали – где он?

– А поедешь – как в морге, – пробасил верзила. – Не видите, какой у него хмель злой? Он задавит его. – После этих слов уже не оставалось сомнений, что верзила – отец мальчика и девочки. – Он окочурится здесь – кто будет виноват?

От нашего купе подскочил мужчина в трико:

– Поэтому и надо его немедленно снять. Я предлагал... Так ехать невозможно. Тут люди.
– У него и билета, поди-ка, нету. Он, поди-ка, открытую дверку увидел и полез. Он перепутал дверку-то.

– Он много чего перепутал.

Напротив меня оказалась ядреная, широкой кости, со свежего воздуха старуха с продубленным лицом. Она взмахивала могучими руками:

– Голики! Голики несчастные! Всех бы поганой метлой повымела! Измотали, измучили народ. У меня зять...

– Развели демократию для пьяниц. – Это опять наше образованное трико. – Тут мы на высоте-с, тут мы сто очков кому угодно.

А тот, из-за кого разгорелся весь этот сыр-бор, уткнулся опять головой в столик и слабо, обморочно постанывал – на исходе, казалось, последнего духа.

Товарищ мой слушал-слушал, думал-думал и поднялся. Он решил внять совету верзилы.

– Работает сейчас ресторан, не знаете? – спросил он.

– Ступай, ступай, милоч. Че другое, а эта завсегда в работе, – съязвила старуха с вольного воздуха. – Только свистни – все запоры падают. Коров, свиней не напоят, а для мужиков поилка денно и ночью, в любую непогоду бежит. Не сумлевайся. – Вредная, видно, была старуха, добавила: – Тебе, поди-ка, и самому невтерпех.

Олег вернулся с бутылкой портвейна. Люди к этому времени разошлись, только верзила, чувствовавший ответственность за совет, сидел вместе со мной возле несчастного.

– Может, обойдется, не надо? – спросил его Олег.

– Глядите сами, – пожал плечами верзила. – Я бы дал. Ишь, он дышит как. Нехорошо дышит. Хмель, он, конечно, потом свое требует, но пускай маленько передохнет мужик. Сразу обрывать опасно, я знаю. Ему бы теперь потихоньку на тормозах спускать.

На этот раз долго расталкивать мужика не пришлось – наверно, он слышал наши приготовления. Он поднял голову и, увидев поставленный перед ним стакан с вином, долго и строго смотрел на него, словно что-то вспоминая, потом обвел нас донельзя угнетенным, измученным взглядом и, зажав в руках стакан, отвернулся к окну. Вагон потряхивало – слышно было, как стекло бьется о зубы. Он пил долго, как и все дошедшие до предела люди этого сорта, маленькими осторожными глотками, раздирая спекшееся горло. Выпил, поставил стакан, с трудом отцепил руки и прохрипел:

– Еще.

– Погоди, не гони, – остановил его верзила. – Поглядим на тебя. Послушаем, что скажешь.

Мужик замер, прислушиваясь к себе, и что-то услышал – сморщился и взялся растирать грудь.

– Достало? – спросил верзила.

– Нет.

– Давно это... в вираж вошел?

– Не знаю. Не помню. – Он говорил с трудом, хрипло и натужно, у него и слова выходили как обугленные. Голова его норовила упасть, он рывками встряхивал ее и задира, показывая короткую, скрученную толсто и мощно, мускулистую грязную шею.

– Сам-то откуда будешь, из каких краев?

– Из Москвы.

– Ой, трекало! Ой, трекало! – всплеснула руками вышедшая опять на разговор вольная старуха. – Ты уж ври, да не завирайся. Станут в Москве таких держать!

– А кто его там держит? – отозвался из соседнего закутка чей-то голос. – Мы с вами не в метро по Белокаменной едем.

– Всю биографию рисовать? – спросил мужик – в нем, похоже, начал продираться свой голос – и покосился на бутылку в руках у Олега.

– Налей, – позволил верзила. – Сердится – в пользу, стало быть, пошло. Только не полный, хватит ему половины.

Олег налил полстакана. Мужик выпил на этот раз попроворней, в глазах у него появился острый блеск. Чтобы не оставлять ему надежду, мы разлили остатки портвейна в три принесенные ребятишками посуды и тоже выпили. За здоровье москвича. Он посмотрел на нас проснувшимися крохами вялого любопытства, но все в нем еще было тяжелым, малоподвижным и закаменевшим, и он никак не отозвался на наш тост.

– Как звать-то тебя? – продолжал допытываться верзила.

– Герольд.

– Как?

– Герольд. – Мужик закашлялся над собственным именем.

– Не русский, что ли?

– Русский.

– А пошто так зовут?

– Откуда я знаю? Отец с матерью назвали.

– Кажется, это скандинавское имя, – предположил мой товарищ.

Верзила подумал:

– Ты, мужик, с таким именем, однако, не за свое ремесло принялся. Тебе соответствовать надо. А вправду русский?

– А что ты – по роже не видишь?

– Господи! – тяжело вздохнула старуха. – Кого только не увидишь! С кем только не стакнешься! И чего ты мне на добрых людей не дашь поглядеть?!

– И давно ты, герой, или как там тебя, бичуешь? – не отставал верзила.

Мужик не ответил, занятый чем-то в себе, каким-то происходящим внутри опасным движением.

– Баба-то есть? – спросила старуха и, когда он и на этот раз не отозвался, уверенно сама себе сказала: – Выгнала. Кто, какая дура с таким обормотом жить станет?!

– Выгнала, выгнала, – со злостью подтвердил мужик и добавил: – И сама спилась.

И так он это произнес, что ясно стало: правда, чистая правда.

– Вот те раз! – ахнула старуха. – А ребятишки? Ребятишки есть?

– Есть сын. И он сопьется.

– А вот это ты врешь, – возразил верзила. – Не сопьется.

– Сопьется.

– Врешь! – грохнул голосом верзила. – Ты что это, герой, плетешь?! Врешь! Ты спился, я сопьюсь, а им нельзя! – Он выкинул руку в сторону ребятишек, которые, ничему не удивляясь и ничего не пугаясь, стояли тут же. – Им надо нашу линию выправлять. Понял ты, бичина? И никогда больше про своего сына так не говори, понял? Кто-то должен или не должен после тебя, после нас грязь вычистить?!

На шум повыскакивали опять из всех закутков люди; укоризненно покачивала в нашу сторону головой старушка с книгой; подскочил и стал что-то частить мужчина в трико. Верзила, не понимая, как и все мы, слов, но прекрасно понимая, о чем они, смущенно и досадливо помахивал ему рукой: мол, извини и успокойся, больше не будем. Но трико не прощало и не отставало. Мужик наш, этот самый Герольд, уставившись на трепыхающееся перед его носом аккуратное брюшко, хлопал глазами и с гримасой кривил лицо.

– ...только до следующей станции, – неожиданно четко закончило трико.

– Порожняк! – звучно, со сладью кинул ему мужик – откуда и красоты такие взялись в этом голосе.

– Что-о?!

– Порожняк! Сворачивай в свой тупик и не бренчи. Надоел.

– Еще и оскорбления! Я долго терпел! – Трико закрутилось, соображая, куда бежать, в какой стороне поездное начальство.

– Ты погоди, не шебуйся, – пробовал его остановить верзила.

– Мы с вами вместе свиней не пасли, – был ему известный ответ, который верзила, однако, не понял и удивился.

– А что я – дурной, буду их пасти? У нас их сроду никто не пас. Сами в земле роются.

Мужчина в трико кинулся по ходу поезда.

– Вот и сграбастают, – назидательно сказала вредная старуха с вольного воздуха. – Десять але пятнадцать суток.

Мальчишка заволновался:

– Ты, папка, опять? Тебе что было говорено? С тобой прям никуда не выйди.

– Да вот, высунулся, – поморщился верзила, кивая на мужика. – Ты уж сиди и не высывайся, тебе не положено высываться. Понял?

– За это не забирают, – сказал мой товарищ. – Ничего же не произошло. Ни действия, ни мата – ничего не было.

– А пошто порожняк-то? – заинтересовался верзила. Слово ему понравилось, он, видать, и сам мастак был сказать коротко и любил это в других.

Мужик молчал – в нем опять что-то происходило.

– Я спрашиваю: пошто порожняк?

– Бренчит, бренчит! – вдруг зло, яро, едва не на крике сорвался мужик и крутанулся в ту сторону, куда убежало трико. – Я вижу – это он. Это он, он! Я бич, я никто, я отброс, но я десять лет честно работал. Мой отец воевал. А этот... он всю жизнь честно бренчит. Это он, он!

– Кто-о-о? Чего ты раскричался? Кто – он?

– Порожняк!

И, уткнув голову в столик, затрясся в рыданиях. Все – передышка кончилась, хмель снова брал его в оборот. Мы переглянулись, не зная, что делать. Больше помочь ему было нечем, да и прежняя наша помощь пошла, как видно, не впрок.

– А куда едешь? Где сходить тебе? – неловко и озадаченно спросил еще верзила.

Мужик вскинул голову и прокричал:

– Где сбросят. Понятно? Где сбросят. Отстаньте от меня, отстаньте! Не могу-у!

Да, никуда не годились у него нервишки, спалил он их. Мы с товарищем вернулись в свое купе. Старушка, отложив книгу и порываясь что-то спросить, так и не спросила и стала смотреть в окно. Там, за окном, за играющей сетью бесконечных проводов, тянулась матушка-Россия. Поезд шел ходко, настукивая на железных путях бодрым сту-котком, и она, медленно стягиваясь, разворачивалась, казалось, в какой-то обратный порядок.

На следующей станции мы сошли. И, проходя вдоль своего вагона, увидели в окне повернутое к нам страшное, приплюснутое стеклом лицо в слезах, с шевелящимися губами. Нетрудно было догадаться, что выговаривали, мучительным стоном тянули изнутри губы:

– Не могу-у-у!

1982

Слух

В деревне, где я зимой жил, прошел вдруг слух, что водку с 1 февраля уценят. Слух, конечно, он и есть слух, сама жизнь учит не доверять им, и все-таки мужики клюнули. А клюнули оттого, что у слуха была основательная подпорка: мол, да, водку уценят, и сильно, но зато введут систему строгих штрафов. За каждый невыход на работу – пятьдесят рублей. Государство, мол, в убытке не останется, и то, что не доберет оно при продаже, с лихвой возместит с прогульщиков. И их таким образом прищучит, а то и верно, распустили. Мол, крикаешь, что дорогая, когда в карман лезешь, – пожалуйста, вот тебе дешевая, пей. Пей, да дело разумеешь. Называлась даже новая цена «Пшеничной» – три семьдесят.

Были, конечно, и сомневающиеся. Особенно их смущало 1 февраля. Несерьезная какая-то дата. Вспомнили, что прежде уценки имели другое число – 1 апреля. Энтузиасты слуха на это отвечали, что нынешним уценкам со старыми не тягаться, потому и решено отделиться. Да и водка – продукт, так сказать, не общего ряда, продукт наклонный, ну и быть ему во всем наособицу. Чего лезть в 1 апреля, в день по всем статьям узаконенный, ежели речь только о ней, горемычной, и идет?

И до того этот слух вошел в силу, до того окреп, что и представить нельзя было, чтобы он не подтвердился. Даже я, непреклонный поначалу во мнении, что этого быть не может, под конец закачался: чем, действительно, черт не шутит?

И вот 1 февраля наступило. День был рабочий, но в леспромхозе, во-первых, скользящий график, а во-вторых, от нижнего склада до деревни недалеко, и лесовозы с утра так и принялись шить по улице, громяхая прицепами. Нетерпение усилилось и уверенность возросла, когда стало известно, что магазин закрыт, а Вера, продавщица, уехала в ОРС – за тридцать километров в центральный поселок леспромхоза. Зачем уехала? Ясно, за новыми расценками и инструкциями. Появился новый слухок: в первые дни, чтоб народ на дармовщину не опился, на руки станут отпускать только по одной бутылке.

Когда Вера ездила в ОРС, она открывала магазин после обеда, в три часа. К этому времени и я пошел туда – и полюбопытствовать, и прикупить кое-что для стола. Я жил один, запасов у меня не водилось, поскольку их не водилось на прилавках, и я волей-неволей всякий раз после нового привоза тянулся вместе со всеми в магазин.

На крылечке гудела толпа, когда я подошел, – большей частью мужики, какие-то все невзрачные, нахохленные по-воробыиному и сморщенные – то ли от долгого дежурства на морозе, то ли верно, как говорят, присела мужичья порода. Но были и бабы – эти нынче ни в одном деле не отстают от мужиков. Улицу перегородили два лесовоза, водовозка, автобус и «Жигули». Едва я подошел и успел поздороваться – двери распахнулись, и люди – меня это удивило больше всего – не особенно толкаясь, словно бы ценя оказываемую им высочайшую милость и чувствуя торжественность момента, прошли внутрь и выстроились в очередь.

Нет, момент, пик его и слава наступили только теперь.

Первым в очереди оказался Колька Новожилов с КраЗа. Сорок лет мужику, а ему все – и стар и млад – Колька.

– По сколь велено давать, Вера Афанасьевна? – первым делом поинтересовался Колька у продавщицы, еще не готовой, стягивающей на могучей груди тесемки халата.

– Чего – сколь? – притворилась она, что не понимает.

– Как чего?! «Калачиков».

«Пшеничную» здесь зовут «калачиками». Никакой другой давно не водится.

Толпа не успела затаить дыхание – Вера спокойно ответила:

– Хоть ящик бери. Жалко мне ее, что ли?

Народ зашевелился: вот ведь врут! Вот врут! Вот чего только не напустят, чтоб держать человека в раскаленных нервах!

– Тогда... тогда. – Колька растерялся и не знал, на что решиться. – Тогда... пять штук.

Вера одним захватом брякнула перед ним пятью бутылками и щелчком стрельнула костяшками на счетах: тридцать и один рубчик.

– Ты чего?! – хихикнул Колька.

– А ты чего? – уставилась на него продавщица.

– Чего насчитала-то? Ты это... игрулечки свои потом.

– Слепой? Не видишь?

– Не слепой и не глухой. Грамотный. Ты почему ее продаешь?

– А ты что – в первый раз ее в глаза видишь? Не знаешь?

– Где у тебя новая цена?

– Какая новая цена?

– Государственная! Сегодня какое число?

Вера сграбастала с прилавка бутылки и поставила их куда-то себе под ноги.

– Ты чего?! – закричал Колька и повернулся за поддержкой к народу: – Она чего это, а? Она по-вчерашнему хочет, по-старому. Вы поглядите!

– Проваливай! – отрезала Вера, не вступая в переговоры. – Следующий!

– Чего проваливай! Чего проваливай! – завопил Колька. – Сегодня какое число? Вся страна пьет по-новому, а ты чего?! Ты кому ее – баранам продаешь? Совсем уже обнаглели! Вся страна пьет по-новому, а мы значит, плати. За шесть, значит, за двадцать!

– Следующий! – переводя голос из грудного в горловой, потребовала Вера.

Следующим был пенсионер Иван Демьянович Карнаухов по прозвищу Кабыть, человек тихий и осторожный, всю жизнь проработавший в ночных сторожах. Иван Демьянович залепетал:

– Я тоже, кабыть, по-новому... кабыть, за три и семьдесят.

– Да вы что – очумели?! – Вера гневно уперла руки в боки, оглядывая очередь и понимая уже, что перед нею стоит сейчас народ единого духа. – Какие три семьдесят?! У вас соображение маленько есть? Или уж последнее пропили?

– Слух же прошел, – слышалось из очереди.

– Да мало ли что вам наговорят! Вы пошто сюда-то по слуху идете?

– Не слух – сообщение было! Сам слышал, – подпустил чей-то нетвердый голос, но кто в таких случаях замечает расхлябанность?

И – загудели:

– Ага, в тайге живем, так все можно. И недовозить можно, и обдирать можно.

– Будто нелюди мы. Будто закону нету.

– Известно, закон что конь: куда хочу, туда и ворочу.

– Ишь, наела бока-то, – вступил опять в роль Колька Новожилов, больше всех потрясенный зашатавшейся уценкой. – Оно и старую цену надо проверить, какая она. Неизвестно, где ее набавляли.

Этого Вера вынести не могла.

– Я тебя сейчас как шурану! – потянулась она к Кольке.

Он отпрыгнул.

– Проверяла! Ты у меня еще придеешь, ты у меня попросишь! Кто еще тут хочет проверить? – крикнула она в очередь. – Кого я обманываю? Очумели, совсем очумели. Из-за них бьешься, мерзнешь, клянчишь там, правдами и неправдами выбиваешь, а они вон что!

Очередь притихла. Веру побаивались: могла она и словесно перепустить, могла при надобности и задеть неловко. Бывало такое, бывало. Ни одного мужика в деревне нельзя с нею рядом поставить. Тому уж лучше сразу сдаваться, чем пытаться с какой угодно стороны рав-

няться. Но главная сила Веры заключалась, конечно, в том, что стояла она за прилавком, а это по нынешним временам не меньше, чем быть директором леспромхоза.

– Мне, кабыть, за шесть за двадцать, – сдался Иван Демьянович, протягивая деньги.

– Все! – отрубил Вера, отстраняясь от прилавка. – Вы у меня, кабыть, ни за шесть, ни за двадцать шесть ее не получите. Хватит.

– Как так? – растерялся Иван Демьянович. – У Лексея седин сорок дён, справить надо. Ты, Вера, дай.

– Не дам! Идите, слушайте сообщение. Все включайте свои говорильники и слушайте. – Вера вошла в раж: – Я тоже включу и тоже послушаю. И покуль не скажут – не дам. Нету мне доверия – не надо, я без доверия работать не могу.

– Не имеешь права! – крикнул Колька Новожилов. Он держался у двери.

– Имею. Я своим правом еще и тебя поправлю. Ты-то у меня точно сухоньким, как ребенок, станешь, – пригрозила она Кольке последней карой. – Точно. А теперь выметайтесь! Все выметайтесь, кто за бутылкой. В ногах ползать будете – не дам!

Чтобы разрядить обстановку, я подошел и попросил пачку вермишели и банку консервов. Вера сунула мне то и другое и, вдруг трубно, мощно заголосив-зарыдав, кинулась в подсобку. И денег не взяла. Я постоял в растерянности, не зная, как быть, потом решил, что деньги небольшие, можно занести завтра.

И не успел я отойти далеко – позади послышался шум и из магазина кто пулей, кто стрелой стали выскакивать люди. Дверь за ними с грохотом захлопнулась, изнутри загремел засов. Колька Новожилов с отборным русским словом на устах подскочил к двери, пнул ее и, прихрамывая, побежал к машине.

М-да, вот и уценка, вот и возьми ее за три семьдесят.

Часа через полтора ко мне явилась делегация. Возглавлял ее Иван Демьянович, вместе с ним, немало удивив меня, пришел серьезный, уважаемый в деревне человек – Константин Банщиков, третьим был симпатичный, незнакомый мне парень с мягким лицом – как выяснилось, из бригады работающих по договору в сплавной конторе гуцулов. Иван Демьянович взмолился:

– Григории, на тебя на одного, кабыть, надежда. Сдурела баба. Тебя она должна послушать. Поди заступись за народ. У Лексея сорок дён, люди придут – я какую холеру делать буду?!

Константин Банщиков, неловко посмеиваясь, добавил:

– От сына телеграмма. В отпуск из армии едет, вот-вот может нагрять. – Он красноречиво развел руки.

Гуцул страдальчески молчал.

Что делать? Я пошел. Надо было к тому же расплатиться за вермишель и консервы. Делегация, отстав от меня на полдороге, устроилась на бревнышках, откуда открывался обзор. Возле магазина нельзя было не заметить беспокойное кружение. На меня смотрели, как на Христа-спасителя, о моей миссии уже знали и за меня, я думаю, молились.

Неизвестно, каким макаром догадалась, с чем я пожаловал, и Вера. Едва я переступил порожек магазина, она закричала:

– Не проси – не дам! Ишь, додумались, нашли кого снарядить! Пускай отдохнут, оглоеды противные. Сказала не дам – не дам!

Она кричала громко, оглушительно, заставляя сидевшую на ящике старушку втягивать в себя голову, и все же я почувствовал в ее голосе трещинку. Вера, надо полагать, и сама опасалась слегка за свою самостоятельность. Трещинка была совсем маленькая, чуть заметная, но мне хватило, чтобы зацепиться за нее и начать разрушительную работу. Кончилось, одним словом, тем, что я вытащил деньги и сказал:

– За шесть за двадцать.

– Но Колька Новожилов пускай живет трезвым, – потребовала Вера.

– Пускай.

Когда с бутылкой в руке я вышел из магазина, для деревни заходящее солнышко поднялось обратно в небо. Иван Демьянович сорвался с бревешек – будто его подбросили, и, скорой рысая пробегая мимо меня, песней выводил:

– Кабыть, кабыть, кабыть...

В этот день деревня гудела – как в престольный праздник. Потом рассказывали, что недельный запас «калачиков» был растащен за два часа. Вечером у меня долго сидели благодарные мужики и вели, между прочим, такой разговор:

– Ан хорошо, что не уценили, что осталось по-старому. Ежели бы со штрафом – это ведь себе дороже. Ну-ка, ни за что ни про что пятьдесят рублей! Это сколько? Восемь «калачиков»? Восемь «калачиков» псу под хвост!

Мужики на себя не шибко надеялись.

1982⁵

⁵ Так датирован рассказ в первой публикации (Литературная Россия. 1986. № 44: 31 октября). В четырехтомном собрании сочинений (Иркутск, 2007) рассказ датирован 1984 годом.

Тетка Улита

Воспоминания иногда появляются, казалось бы, совсем ни с чего, без всякого внешнего повода и подчиняются какой-то собственной жизни.

Часто, очень часто вспоминаю я давний августовский вечер с густым и замлевающим солнечным воздухом, некорыстный наш двор уже в новой деревне, перенесенной от затопленной Ангары, и двух старух на крылечке. Я в ту пору уже вышел в работу и любил приезжать в августе – на ягоды, на грибы. Одна из старух – моя бабушка, человек строгого и справедливого характера, с тем корнем сибирского нрава, который не на киселе был замешен, еще когда переносился с русского Севера за Урал, а в местных вольных лесах и того боле покрепчал. Бабушка, обычно и ласковая и учительная, каким-то особым нюхом чувствовала беспокойную совесть и сразу вставала на дыбы. И не приведи Господь кому-нибудь ее успокаивать, это только добавляло жару, а успокаивалась она за работой и в одиночестве, сама себя натакав, что годится и что не годится для ее характера.

Вторая старуха – наша соседка через дорогу тетка Улита, Улита Ефимовна. С бабушкой они в каком-то дальнем родстве, даже и не дальнем, а тредальнем, в котором не разберутся и сами. Впрочем, кто в наших старых деревнях обходился без общего родства, и хоть жили деревни гнездами, но и из гнезда в гнездо ниточки протягивались и в прежние, и в новые времена. Но держит рядом старух не это родство, а устоявшаяся привычка при любой страде каждый день хоть на минутку сойтись да побормотать.

Сегодня эта минутка затянулась надолго – уж больно хорош и уборист теплый, как-то по-особому радетельный ко всему живому тихий августовский вечер. Чувствуется, что и ему самому не хочется сходить с земли, вот он и остановился в раздумье, что бы еще такое хорошее сделать, чтобы завтрашнему дню было полегче. Старухи сидят на разных приступках, бабушка повыше, тетка Улита пониже, я сбоку от них на завалинке. Мы все от нечего делать наблюдаем, как кормится птица – курицы, голуби, воробьи. Бабушка время от времени подбрасывает им из подола зерно – они не испуганно всплескиваются и затихают. И только когда среди общей дружной работы некстати вспомнивший о своем достоинстве петух бросился за курицей и после недолгой погони настиг ее, бабушка, замахнувшись на петуха, язвительно пропела:

– Ох, Андрияша! Ох, Андрияша!

Я засмеялся:

– Почему Андрияша?

– Ну дак ишь до чего истрепал молодку! Ты погляди. Вытербил ей и хвост и гриву. А пошто Андрияша, вот у нее, у Улиты, спроси.

Тетка Улита не ответила. И вид такой сделала, что не понимает, о чем разговор.

– Ты не помнишь рази криволицкого председателя Андрияна? – Это бабушка мне. – Не помнишь, какой он был? Вот так же над бабами крылил опосле войны. Где какую разглядит – это хошь убегай из деревни. Хвост свой распушит, глаза заголит – и без оглядки. Так, нет я, Улита, говорю?

– Ты там не жила, ты там раз в году и бывала-то, тебе как не знать! – ровно, соглашаясь и не соглашаясь, ответила тетка Улита. – Ты об наших делах лучше всех должна знать!

– Ой, да об этом собаки и те в ту пору брехать перестали.

– Ну и ты не бреш.

– Вправду сказать, и любили они его, своего Андрияна, председателя своего, – не давая себе сбиться на насмешку, сказала бабушка. – Каку холеру они в нем находили, а любили. Ну дак он и заступник, и кормилец, и один на всю деревню мужик. Мужиков-то ведь всех подчистую повыбили. Василий ишо ненадолго пришел... дак он пришел, на нем живого места не было... он и году, однако, не пожил?

– Пожил, может, и поболе, да че толку-то? Он с кровати не подымался.

– А этот атаман, ой атаман! Откуль че и бралось?! Они от его, как стрелы, разлетывались, когда он утром разнарядку на работу делал. Манька – туда, Санька – туда, Улита – сюда...

– Ты-то откуль че знаешь?! Ты бывала на них, на разнарядках-то наших? Ты слыхала, какой там крик стоял? «Как стрелы разлетывались». Эти стрелы-то не от него разлетывались, а в него слетывались. С нами воевать было... похлеще, однако, той войны.

– Ну дак, днем воюй, ночью воюй...

– А вот уж про это я не знаю.

Бабушка выразительно покосилась на тетку Улиту.

– А потом посадит их, войску-то свою, на коней... я за три версты у себя слышу: летит Мамай! Ой, спастись куда-никуда надо – летит Мамай со своей войской! И все в голос ревут. Праздники-то эти были... как их?.., новые-то?... – сованье-то?..

– Какое сованье? – не понимал я.

– Ну, эти-то, бумажки-то в шелки совали, праздник делали...

– Голосование, что ли? Выборы?

– Ну-ну, выборы. А ящики-то в нашей деревне ставили, тут сельсовет, сюда и народ из остальных деревень собирали. Все едут чином да ладом, и филипповские, и ереминские, и барановские, а этот с топотом, с гиком, с криком налетал. На ребяташек коней не хватало, они опосле отдельной ордой врывались. Но бабы, эти все округ него на конях, все верхами. У тебя, Улита, поди-ка, одно место по сю пору не зажило, без сиделок-то скакали! Сиделок-то на всех не хватало.

– Отвяжись ты!

– Ой, летит, летит! А как не успела затвориться да за огороды убежать – коня на дыбы поставит, он, конь-то, передние ноги за заплот свесит, а сам каким-то хлобыщем по окошкам пройдет и кричит: «Марья-а!» Они все за ним дурноматом: «Марья-а!» – «Ежели четверть самогонки сей же час криволицкому народу не представишь – раскатаем твою избенку до бревнышка и тебя по миру пустим». И они тем же макарком.

– И представляла? – спрашивал я.

– А было. Два или три раза было, что представляла. Куды денешься?! Избенку, поди-ка, не раскатают, да ить не отступятся, всю скотину, всю животину до смерти перепугают, опосле ни шерсти, ни молока не дожدهшься. Вот она сидит тихоня тихоней, а поглядел бы ты тогда на эту тихоню. Глаза горят, волосы трещат, из ушей, из носов дым идет, сама вся напряжится, вот-вот оборотится в кого. И все они таки же, нисколько не лучше. Представляла, как не представляла. Жить-то охота.

– Слушай ты ее, – с легкой досадой отмахивалась тетка Улита; воспоминание, пусть и подправленное в чужом пересказе, ее согрело, лицо ее как-то сразу разгладилось и зарделось. – Слушай, она нагородит. Сама за ворота выходила и сама зазывала. А наш, он в праздник разгуляться любил, он коня приворотит...

– Я сама зазывала?

– Да не я же... Я в Аталанке не жила, я к тебе потчеваться заезжала.

– Вытребуете, так и потчуетесь. Со дна Ангары выкричите.

– Кричали-то так, для потехи. А у тебя уже все готово, ты уж с утра ждешь.

– Ишь че! – оборачиваясь ко мне за поддержкой, приахивала бабушка. – У меня семья голодовала, а я на них наготавливала, на всюю ихую рать. Ишь че!

– А ты такая всегда и была.

– Какая такая?

– Простодыря.

Бабушка помолчала, не решив, стоит или не стоит возмущаться, и, сбившись, оборванно досказала:

– И домой такой же рысью скачут, ни одну не потеряют. Сам-то уж сильно приустанет, головушку свесит, а они округ его, они округ его... Кто за руку, кто за ногу держит, коня со всех боков подпирают. Они бы, однако, волосья друг дружке повывирали, если бы он свалился.

– И верно, ему нельзя, он председатель.

– Они при нем на нормальных баб нисколько не походили. Не знаю уж, на кого походили, а на себя не походили.

– Мы при нем работали. Так, скажу тебе, Марья, работали, как я больше и сама не работывала и не видела, чтоб работали. Много годов под один запал. А после-то уж че, после не работа была, а так... хозяйство да заделье. После-то уж впрохладцу жили...

И это говорила она, тетка Улита, которая за всю свою жизнь ни дня единого не провела без плотной работы, которая до последнего часа в семьдесят с лишним лет не расставалась с коровой и накашивала на нее без помощников, обихаживала немаленький огород, чтобы по осени, десятки раз сбегав на берег и договорившись наконец с баржой, отправить сестре и племянницам в город картошку и все остальное, таскала, выгибая спину, мешки, помогала другим, кто с той же баржой тоже кому-то отправлял, а проводив баржу и перекрестив ее вслед, торопилась подхватить следующее дело. Мало того – она еще и в няньки нанималась, чтобы заработать копейку, потому что на колхозную пенсию, которой едва хватало на соль да на спички, учившейся в городе племяннице модные сапоги было не справить. Но это уж надо было видеть, как нянькается тетка Улита. Я по соседству видел, и я этого ввек не забуду. Притащив от молодых родителей мальчонку, которому, кажется, не исполнилось и годика, тетка Улита стянула с него штанишки, чтоб не портил добро, нажевала, припомнив собственное детство, хлеба, затолкала эту кашу мальчонке в рот, сунула ему в руки сковородник и убежала к скотине. Меня поднял из своего дома напротив крик – сначала сильный, возмущенный, затем все более и более переходящий в жалкое попискивание. Я перешел через дорогу, заглянул в избу и натолкнулся на мальчонку возле самого порога, который он не мог преодолеть только потому, что вконец обессилел от крика. Оттащив его от порога, я попытался успокаивать – не тут-то было! Тетку Улиту я отыскал в стайке, где она что-то подправляла.

– Тетка Улита, ведь он же кричит. Ты что его бросила-то? Вот нянька!

– Кричит?! – Она выпрямилась и прислушалась. – А ты притвори дверку-то, притвори, его и не слышать будет.

– Да ведь кричит же!

– Ну и че, ну и пускай покричит. Это ему в пользу, лучше спать будет.

На другой день мальчонка кричал поменьше, а на третий, когда я из интереса заглянул опять в избу, приметив, что тетка Улита копается в огороде, он уже водил перед собой сковородником, как щупом, и время от времени, что-то обнаружив, восторженно взвизгивал. Нечего и говорить – спал он, конечно, отменно.

И еще помню: бежим мы с теткой Улитой в сенокосную пору на гребь, и бежим почему-то среди дня, по жаре. Потому, кажется, что я спускался в деревню за хлебом и ждал выпечки в пекарне, а тетка Улита припозднилась с коровой.

И вот, проходя мимо речки, я вздохнул:

– Эх, искупаться бы... Давно, поди, не купалась-то, тетка Улита?

– А я, парень, и вовсе никогда не купалась, – ответила она.

Я изумился:

– Никогда не купалась?! Почему?

– А некогда было. Один раз девки живьем в одежонке в воду толкнули, дак махом вымакнула и скорей за серп. Когда нам было раскупываться?

Тогда же я спросил:

– А ты почему замуж не выходила, тетка Улита?

– За кого? После войны не за кого было, потом женихи подросли, дак я уж сама изросла. А в чужую деревню уходить не хотела.

...В одно урожайное на грибы лето мы с соседом по два раза на дню плавали за речку за рыжиками. Здесь, в чистых криволуцких сосняках на заброшенных полях, их было особенно много. Однажды под вечер, нагрузившись во всю посудину, я тихонько вышел из лесу к поляне, на другом краю которой поблескивал залив и стояла наша лодка. Видно, я вышел совсем неслышно, и тетка Улита, сидевшая на колодине лицом в мою сторону, вернее, в сторону криволуцких полей, не успела смахнуть слезы. Она и не стала их смахивать, а сказала мне:

– Вот помру, думаешь, я на кладбище лежать буду? Нет, парень, я здесь буду бродить.

– Без работы?

– Кака-нить работа, поди, найдется.

Умерла тетка Улита зимой.

За три дня до того я приехал в деревню, растопил печку, и на дымок первой ко мне заглянула тетка Улита. Мы поговорили мало, она, как всегда, куда-то торопилась. «Как вы, тетка Улита?» – «Дак а я че, обо мне какой разговор? Топчусь». Приглашала «побормотать». И в тот же вечер слегла. Рассказывали, что закатывала в ограду бочку с замерзшей водой (водовоз налил, а она не заметила, вода замерзла), – стала закатывать, чтоб отдолбить, и в «грудах че-то сделалось». Два дня лежала. Да и не лежала; накануне вечером пошел к ней, а у нее за воротами два парня с бензопилой возятся над кряжами. Она, больная, никто не знал, до какой степени больная, еще топталась, подавала им закуску. Когда ушли, закрылась, легла и больше не встала.

Так и лежат они неподалеку друг от друга: бабушка в среднем порядке разросшейся и успокоившейся деревни, а тетка Улита в верхнем. Кладбище высокое, словно вознесенное надо всем, что его окружает. От него хорошо видно во всю ее разлившуюся ширь Ангара, и, если встать лицом к воде, справа видны криволуцкие елани, а слева бабушкины, аталанские.

1984

В одном сибирском городе

Начало этой истории было положено далеко и высоко от сибирского города. Было положено оно высочайшим произволением. За два дня до того президент распустил Думу и объявил о переходе к Вече – как наиболее подходящей образу мыслей русского человека форме власти. Привыкшая в последние годы к переменам Россия не проявила большого интереса к нововведению и на этот раз: вече так вече, перебирать так перебирать. Впереди оставался только древний Киев с варяжской дружиной.

Президент, как водится, обратился по телевидению к народу. Он объявил, что выборы себя в России не оправдали. С этим нельзя было не согласиться: если все равно разгонять, то зачем избирать? Разумней, как в старину, по бою вечевого колокола собираться на площадях, погорлопанить, что действительно соответствует характеру русского человека, а если ненароком выйдет задержка с каким решением, выкатить бочку с пивом.

В этом городе перетряска власти, как и всюду, была принята равнодушно. Все постепенно сходило на нет – и энтузиазм, и возмущение, и кипение страстей на площадях, и сборы подписей в трамваях и в очередях за хлебом. Все последние, грому подобные слова были сказаны, все обвинения выплеснуты, души издерганы вдрызг, все, что можно было перевернуть, перевернуто, все честолюбия, казалось, должны быть удовлетворены, все последние стать первыми... Выяснилось, что и у злобы есть предел: она по-прежнему ходила вольно, но не пылала, как еще недавно, и в решительные минуты выкашливалась нервно, по-чахоточному, остатками нутра. Это с одной – с революционной стороны. А с другой: все обещания получены, все жили в безуспешных попытках сохранить хоть какой – хоть левый, хоть правый – порядок изодрамы, все издевательства испробованы, надежды отлетели, взгляды померкли, фигуры сгорбились без выпряма... А что там, внутри, зреет и зреет ли что, варится ли, кроме съестной, какая каша – поди догадайся. Было, было что мужику за эти годы намотать на ус – и что намотал, какую истину добыл?

А может, пусто там и нечему там добиться?

Тихо-мирно обошлось бы и на этот раз в сибирском городе, да одна строка в президентском указе касалась этого города лично. Ею снимался со своего поста губернатор, управитель огромного, в две Франции, края. Снимался среди других, попавших под чистку, но другие город интересовали мало. Свой же, по фамилии Ручиков, умел поддержать в подданных к себе и веру, и надежду, а в некоторых и любовь. Как все, он много обещал, гораздо меньше выполнял, но был ловок, дерзок, имел вид свойского человека: жесткие волосы его уходу не поддавались и торчали во все стороны, костюм, не признавая фигуры, оттопыривался, улыбка кривила длинное лицо – словом, все по отдельности было не так и все вместе на удивление так складывалось в симпатичную и располагающую фигуру. Его личная популярность поддерживалась и утверждалась популярностью края: область была сырьевой, с запасами. Не будь она в золоте, в угле, газе, в лесе, в реках, качающих электричество, конечно, по-другому бы смотрели и на Ручикова. А попробуй отнестись к нему без почтения, если в его владениях плещется озеро, в которое Господь слил пятую часть мировых запасов пресной воды, а за нею завтра любая Франция приползет на коленях... Поэтому Ручиков мог вступать в перебранку с первыми лицами в правительстве, мог позволить себе особое мнение, не согласиться с налагаемыми на губернию поборами. Но с огнем не заигрывался и президента поддерживал. Незадолго до этой истории получил орден. Разгон Думы извернулся поддержать первым. Первым! Или президенту не донесли, или никому не известная вина Ручикова стоила больше – он попал в опалу.

Сразу Ручикова возлюбила вся губерния.

Сам он срочно улетел в Москву, а в городе из местных думцев создали комитет по его поддержке. На это время как раз угадало совещание аграрников: в первый день, до появле-

ния президентского указа, аграрники в пух и прах разносили Ручикова – кому угодно, на что угодно дает деньги, но не селу, а во второй, когда указ явился, проголосовали за доверие своему губернатору. В Москву полетела телеграмма-протест: верните Ручикова. Дважды собирались митинги, один из правых, другой из левых сил, запутавшихся, где лево, где право, оба обессиленные, вялые, по несколько сот человек, но тот и другой защищали Ручикова.

Вся жизнь давно превратилась в сплошное недовольство, глухо и темно тлеющее под нагоревшей золой обид и несправедливостей, и это недовольство, вызванное отставкой губернатора, туда бы, под золу, и улеглось потихоньку рядом с другими... Если бы не пустили бурю.

* * *

Как, по каким проводам передается, каким чутьем угадывается тревога, не объявленная, не потревожившая сна ночного города, никогда не понять. Но передается – точно запах. И ранним весенним утром, едва лишь очнулось местное радио и принялось передавать сводку погоды, за словами о температуре воздуха и атмосферном давлении послышалось что-то необычное, сбивчивое, нервное – как в азбуке Морзе: точка-тире, точка-точка-тире... Такова теперь атмосфера жизни, что во всяком звуке невольно слышатся электрические разряды. Тревогой пронизан воздух, из нее составляются предметы, она движет людьми, все пропитано и наэлектризовано ею, так что опасно прикасаться друг к другу. Но эта тревога была новая, незнакомая, еще не улегшаяся в фигуры людей, предметов и домов, еще не ставшая полотном улиц.

С начала рабочего дня узнали, что ночью в город прилетел большой отряд спецназа и взял под охрану здание областной администрации. В здание никого не пускали. Перед входом стоят автоматчики в черных кожаных куртках и короткими стволами оружия показывают: отходи. Заместителя губернатора, человека грубого и хитрого сложения, смесь прораба с таксистом, провели внутрь, а через десять минут над площадью раздался его голос, обычно зычный, сейчас с дрожинкой: «прошу сохранять спокойствие»... «ввиду временных мер»... «служащие на неопределенное время могут быть свободны от исполнения»... Затем вывели, посадили в машину и отправили «сохранять спокойствие».

На площади собирался народ. Служащие расходиться не хотели, их интересовало: чья власть, чьим распоряжением? Близко к зданию их не подпускали, приходилось выкрикивать. Как всегда в таких случаях, когда никакого ответа не следует, выкрикивающих становилось все больше. К десяти часам стали подходить не закончившие совещание аграрники. Их темная сгрудившаяся масса двинулась ко входу. Из подъезда навстречу им вытекла черная лента спецназовцев и растеклась на две стороны, беря приближающихся в полукруг. Из громкоговорителя раздался голос:

– Стойте! В здание мы никого не пустим. У нас есть приказ: в случае неповиновения применять оружие. Стойте! Стоять!

Аграрники застопорили. Возмущенный гул смолк: от подъезда быстро шел к ним милицкий подполковник в сопровождении нескольких кожанов с автоматами. Еще на ходу он замахал рукой: назад! назад! С ним пытались говорить, объяснить, что в здании должно продолжаться совещание, он ответил: приказ – и показал автоматчикам отеснять. У тех не было ни резиновых дубинок, ни заградительных щитов – только автоматы, на удивление маленькие, игрушечные в крепких руках. И это еще раз убеждало: тут разговоров не будет. Опять раздался голос:

– Назад! Через полосу движения не переходить! Оставаться в сквере!

Оглядываясь и размахивая руками, аграрники отступили в сквер. На темных пиджаках их желтели значки – на протянутой ладошке хлебное зернышко, кормящее мир. Кого в наше время чем убедишь – пусть даже и предлагаемым хлебом на пороге голода? Взьерошен-

ные, краснолицые, плотные, с толсто повязанными галстуками, они возвращались с отчаянной решимостью действовать и растерянностью от нехитрой догадки, что никаких толковых действий не получится.

– Повторяю еще раз: полосу движения не переходить! – гремел голос. – Местным постам милиции: движения транспорта не допускать! Действия, опасные для законности и порядка, будут решительно пресекаться оружием! Все! – радио хрипнуло и умолкло.

* * *

Большое, серое, с выдвинутыми вперед боковинами, кабинеты которых и занимало высшее начальство, здание администрации не любимо было в городе при прежних, коммунистических порядках за холодность и недоступность власти, не любимо и теперь – за распушенность власти. И видом, и службой, и всеобщим мнением оно являло холодную забронированную тяжесть, как бы говорящую: иди прочь, тут не до тебя. Раздающиеся из усилителя команды, казалось, лишь доводили до грубого, но логического конца то, что представляло собой здание всегда, и, если бы выкрикивались эти команды не из чужих уст, притерпелись бы со временем и к ним.

Перед единственным с лицевой стороны подъездом взнималась невысокая, в четыре ступеньки, гранитная площадка, а прямо над входом по межэтажному полю бугрилась сверкающая позолотой лепнина старого державного герба с серпом и молотом. Но наверху, на длинном флагштоке, алое полотнище сразу после перемены власти заменено на трехцветное, и это соседство прежней и новой символики лучше всего показывало ту путаницу в мозгах и сердцах, которая царил на всех этажах от нижнего до верхнего.

Под этот Дом, под его могучее возглавие вычерчивалась вся площадь. В середине ее – прямоугольный, вытянутый к Дому сквер, а посередине сквера – широкий коридор, в который из Дома видна огромная гранитная чаша фонтана того же красно-красчатого камня, что на крыльце и на цокольном подоле здания. В сквере на удивление для нынешних времен держится порядок: низкая чугунная ограда, которой он оторочен, нигде не сбита; длинный, чуть не во всю длину коридора цветник ухожен, а сейчас вскопан в ожидании рассады и не затоптан: выкрашенные свежей краской скамьи вокруг фонтана и вдоль коридора не заляпаны; фонтан еще не пущен, но вычищен и подлажен; и елки, лиственки, тополя и яблоньки за асфальтом не обломаны и пускают первую зелень. За сквером по кольцу шумят машины, выглядывают в него с трех сторон старинные улицы, выдвинув к площади свою лучшую преждевековую архитектуру. По четвертую сторону Дом, за ним река – не видимая, но доносящая свои острые сырые запахи. От сквера до Дома метров сто, пешеходная «зебра» на переходе тоже подновлена, как для праздника или события...

Теперь здесь пусто. Машинное движение перекрыто, люди загнаны в сквер. На подъезде к Дому влипли два зеленых военных «джипа», вдоль фронтальной его стены прохаживаются десятка полтора автоматчиков. И все – ни туда, ни оттуда ни шагу. Тепло, солнечно. Солнце бьет прямо в окна Дома. На всех пяти этажах распахиваются там и там рамы, выглядывают кожаные со смытыми солнцем лицами.

А в сквере народу все прибывает и прибывает. Как у невидимой запруды, набиваются люди у выхода перед настезью к Дому, захваченному... кем захваченному и для чего? Об этом и шумят люди. Известия появляются одно за другим: будто звонили в Москву, а там знать ничего не знают; будто вместо Ручикова завтра придет новый губернатор, который будет утвержден после собеседования в американском посольстве; будто область в наказание переверстывают и самые лакомые куски отдадут соседям... Много чего еще приносится сюда и обсуждается – до хрипоты и умопомрачения.

А начальство – как провалилось. Полон Дом был власти, полны ею до десятка других домов – и некому объяснить, что происходит.

Топчутся люди, отрывисто переговариваются, покрикивают, подавая советы, намешивают в себе решимость, злость, непонимание, растерянность... И от стыда, что проходят часы в неведении и бездействии, намешивают эту кашу все гуще и гуще.

* * *

В городе жил чужак, по фамилии Вержущий, из рода ссыльных поляков. Коммунисты-руководители любили в свое время пугать им друг друга, называя: «Слушай, у меня только что был Вержущий, я посоветовал ему поговорить с тобой». Вержущий проникал за любую дверь, как бы она ни охранялась, проникал «буквально на одну маленькую минуту» и захватывал час-полтора, не допуская в своем горячем монологе ни трещинки, за которую можно было бы зацепиться и остановить его. Выпроваживая наконец Вержущего с «аудитории», как он неизменно называл эти вторжения, начальство успевало подать знак секретарше, чтобы та немедленно исчезала, ибо все недосказанное в кабинете выплескивалось «для дополнительной информации и передачи» в приемной. Он был надоеда до жути, до сердцебиения, но пекся о дельном – об озеленении, о благоустройстве набережной на месте свалки, о строительстве на острове детского городка, об уроках экологии в школах... Но другой бы давно убедился, что инициатива из низов доходит до исполнения слишком редко, и отступился, а он все ходил и ходил не уставая, ходил до восьмидесяти лет и, маленький, худенький, неуемный, весь в замыслах, расчетах, всегда с вырезками и выписками, всегда с доказательствами, продолжал ходить и после, с наклоненной вперед головой вглядываясь на улицах во встречных: кого бы остановить, с кем поговорить?

Вержущий, должно быть, по утрам спал, если пропустил начало этого, по местным меркам, великого события. Но и то: великих событий в некогда великой стране теперь так много – каждый день великое целое дробится на великие осколки. К ним поневоле привыкаешь. И они, в свою очередь, словно боясь зашибить нас, опадают безгрохотно и вязко, как песок, и только после уж понимаешь, что каждое из них с собой унесло.

Вержущий появился в сквере около полудня. Он шел от фонтана мелкими шажками, вскидывая голову, поворачивая ее к галдящим людям направо и налево и снова вскидывая, его светлый, аккуратно застегнутый плащ ездил по плечам, как на приведенном в движение манекене, руки слабо всплескивались.

– Друзья мои! Друзья мои! – восклицал Вержущий, подпрыгивая перед плотной толпой, нацеленной на Дом. – Что происходит? Что случилось?

Его знали, стали бестолково объяснять. Все в этой гудящей толпе было бестолковым, ничто, кроме суммарного ее числа, в одно не собрано. И галдеж ее, и угрозы, и призывы, и попытки кому-то что-то заявить то ли с помощью митинга, то ли сбора подписи – все горячо, суматошно выплескивалось и ничем не кончалось. Куда делась та могучая организация, когда выводили на улицы десятки и десятки тысяч народу, заражали его клокоющим гневом, в минуты обучали громоподобной революционной музыке на тему «долой!» и «прочь!», из массы превращали в силу, из сбивчивых разнородных мнений в одно мистическое заклинание?! Где они теперь, всемогущие заклинатели, шаманы и гипнотизеры народного мнения, бескорыстные борцы за справедливость, пламенные спасители закатившейся в яму российской истории? Неужели, свалив старую власть, все теперь там, в кабинетах и коридорах новой, и держат иные речи, закливают иных духов, чем несколько лет назад, и, вцепившись в служебные телефоны, опоясав себя проводами, как спасательными поясами, испуганно набрякивают: в какую сторону давать руля?

– Есть здесь полномочные товарищи? – еще по старинке, на «товарищи», допытывался Вержуцкий, все так же, как птица, вытягивая шею и крутя головой.

То-то и оно: где они, полномочные? Или – театр окончен, все ушли на аукцион? Как много вас на распродаже, какое дерзкое потомство вывел каинов род!

– Кто-нибудь имел разъяснения от них? – показывал в сторону Дома Вержуцкий. – Что это – чрезвычайное положение, простая акция, карантин? На какой срок?

– Все разъяснения: не соваться. Из сквера не высовываться.

– Но так же невозможно, друзья мои... Вы здесь, они там – и никакого общения. Каменный век. Великое стояние через дорогу. Мы же не первобытные люди...

Вопросы могли задаваться сколько угодно, ответа на них не было. На Вержуцкого перестали обращать внимание, от него отмахивались. Он еще потоптался, повскидывался навстречу говорящим, но говорили все, и Вержуцкий загадочно затих, должно быть, принимая какое-то решение, оставаться в бездействии он не умел. Потом стал деликатно проталкиваться сквозь толпу и вышел вперед. Всего на шаг вперед, вглядываясь в Дом. Видно было из-за яркого солнца плохо, он достал белый носовой платок и протер очки. И сделал еще один шаг, ступив на «зебру». Решение было принято. Он распустил носовой платок, поднял его справа над собой, поддергивая руку, и засеменил не останавливаясь.

– Пошел! – ахнули сзади. – Стой, куда ты?!

– Этот... старик пошел... смотрите!

От фонтана бросились к коридорному выходу на площадь, кричали, то ли останавливая, то ли подбадривая, подпрыгивали, чтобы лучше видеть.

С той стороны Вержуцкого заметили не сразу. Он прошел метров тридцать, когда заклохтало, не выговариваясь, захлебываясь звуками, радио. Потом – мощно, на весь город:

– Стоять! Немедленно стоять! Стреляем!

Ноги у Вержуцкого от грозного оклика заплелись, он едва не упал. Но выправился, еще выше задрал платок и, что-то говоря, жестикулируя второй, левой рукой, двинулся дальше.

– Считаю до трех! – объявило радио и сразу повело счет. – Раз! Два! – все замерло, только продолжал что-то объяснять и жестикулировать Вержуцкий. – Три!

Щелкнуло в тишине. Щелкнуло мгновенно, сухо – будто клякснуло случайным звуком из громкоговорителя. Вержуцкий приостановился и – и показалось – взпятки и побежал назад. Но нет: стал заваливаться на бок, упал.

Радио крякнуло и, пока не пришли в себя ни там, ни там, распорядилось:

– Убрать его!

Кинулись от подъезда и от сквера одновременно.

– Назад! – глухо, для своих, сказала радио. Спецназ, два кожана, повернул обратно.

Вержуцкого через сквер понесли к гостинице, нависающей с левой стороны напротив фонтана. Он был без сознания, но рука, не выпустившая платок, придерживала рану в правом боку, кровянившую светлый плащ.

* * *

Прошло полчаса, произошло многое. Выстрел, сразивший Вержуцкого в его последнем полете на выстраженную дверь с единственной целью узнать, что делается, – выстрел этот отождествился как взрыв, потряхнувший весь город. Каждому досталось по осколочку, одни поползли в норы, другие, в нервной горячке, еще яростней принялись накручивать телефоны, третьи, оставив сомнения, пошли на «событие», еще не зная, быть им зрителями или участниками.

И площадь после выстрела неузнаваемо изменилась. Единственный архитектурный и пространственный ансамбль, чем она только что была, раскидало по сторонам, каждое здание по ободу площади стояло отдельно и пригибисто, улицы развернулись и не выходили, а уходили

с площади, сильнее засквозил сквер в голых деревьях, задрал чашу фонтана, распростертый над Домом государственный флаг прятал в солнце свое полосатое трехцветие.

С угрюмой жадностью смотрели из сквера на противоположную сторону. Кричали меньше. Туда и не доставали крики – это надрываться для самих себя! Принялись сооружать что-то вроде баррикады, стаскивая к выходу скамьи, – и бросили: походило на игру, никто на приступ сквера, по всему судя, идти не собирався, напряжение нарастало и натягивалось напротив, в сторону Дома.

Там, возле Дома, происходило что-то свое. На всех рысях подскочили к подъезду со стороны гостиницы две белые «Волги», в них кто-то сел, выпрыгнула охрана – и через две минуты машины были у дверей мэрии, расположенной напротив гостиницы по другую сторону сквера. Почти одновременно к гостинице стали подъезжать автобусы с милицией, которая, выпрыгивая, бегом огибала сквер и брала его в оцепление. Лишь одна его сторона, обращенная к Дому, оставалась свободной. Там нарастала толпа.

Весь коридор от фонтана до выхода плотно, как пробкой, забит был людьми. Появились операторы с кинокамерами, еще до милиции успели пригнать откуда-то радиофицированную машину. Громкоговоритель опробовали окриком на ребятишек, лезших на деревья, – работал не хуже, чем на демократических митингах.

Упавший в тридцати метрах от сквера Вержуцкий, казалось, кровью своей эти метры «отвоевал». И когда один из операторов, запустив камеру, двинулся к месту падения Вержуцкого, за него беспокоились мало. Как говорится, «оплачено». Выстрел заставил людей пригнуться, оператор ткнулся в асфальт и, не выключая камеры, стал отползать. Выстрел был предупредительным, в воздух, но ведь и без радио, без предупреждения голосом.

– Вы что это, гады, делаете? – обрета технику, заговорил сквер.

– Сам ты гад! – не остались в долгу в Доме. Голос был другой, не прежний – этот моложе и расхлябанней. Прежний отошел или уехал на переговоры. Прежний не стал бы продолжать, этот разговорился: – За каждого гада ты у меня по пуле получишь – запомни.

– Пропуляешься, – ответили из сквера. – Вот на этой дороге под асфальт закатаем. День и ночь машины будут «вечный покой» напевать. Не возражаешь?

– Дерьмо собачье!

– С тобой все ясно. Неужели там у вас нет никого умнее тебя? Кто бы тебя попер от говорильника?.. Посмотри, мы подождем...

– Я тебе счас пасть закрою...

– Ты – мне?! Ублюдок американский!

– Ты-то, конечно, не американский! Ты – русский ублюдок!

– Я русский. Но не ублюдок.

– А что – есть русский и не ублюдок?

Две-три тысячи человек, собравшиеся в сквере и втянутые в эту перепалку, встречая каждый выпад своим сопровождением, онемели. За секундным замешательством должен был последовать взрыв, но еще прежде над головами ударила очередь.

– Ложи-ись! – крикнуло из Дома радио и задрезало смехом.

* * *

Тимоша Тепляков, двадцативосьмилетний инженер с радиозавода, невысокий, крепкий, улыбчивый, вернулся в сквер с трудом: не пускала милиция. Ткнулся от банка, от пединститута, от гостиницы – выслушивают, разговаривают, но не пускают. Повезло: от гостиницы переходили дорогу трое с немецким языком, Тимоша непрошено вмешался, объяснил, что происходит, сам не зная, что же в действительности происходит, и втиснулся с немцами в сквер. Он утром был здесь, еще до Вержуцкого, но с четырех часов начиналась смена, и он уходил, чтобы

договориться с товарищем о подмене. Товарищ, один из немногих, сохранивших устойчивый иммунитет ко всякой политической бацилле, равнодушно согласился. Работали в последние года полтора по три-четыре смены на неделе – не надрывались. Товарищу он звонил из дому. По радио услышал, что началось горячее, тяжело ранен Вержуцкий, которого готовят к операции, услышал еще, что в город летит личный представитель президента, введено чрезвычайное положение... Это теперь и мог он сказать немцам. В сквере выяснилось, что все трое они говорят по-русски. Тимоша еще шире, во все свое крупное круглое лицо разулыбался, как от обретения друзей, и поднырнул вправо под кусты. По асфальту, где месился народ, продираться пришлось бы долго. Как раз в это время началась «дуэль».

Громкая, на весь город, перебранка. Зачем? Какой дурак ввязался? Этим ли сейчас заниматься? Тимоша пробирался, пряча голову от грохочущих голосов, как от разрывных снарядов, удерживая себя, чтобы не уткнуться головой в землю. Достойные друг друга соперники – ничего не скажешь. Но почему у того такое же непотребство, такая же дурь – да и не такие, а больше и хуже, – выходят ловчей, круглей, чем у нашего, не режут так уши и не бьют так по сердцу? И это не сейчас только, а всегда. Всегда любое безобразие, любое похабство оттуда, которые не должны иметь ни места, ни случая для своего употребления и звучат за пределами всяких приличий, воспринимаются тем не менее легче, чем глупость и неловкость своего брата, взбухающие почему-то до затмения солнца. Или – там это соответствие какому-то главному нерву, тренированность, профессионализм, а здесь грубое и убогое ученичество?... Там это может быть, здесь – не должно быть. Мы с дураков не слезем, если и в этом слове будем им подражать. А где наше слово, почему не слышно его? Где оно, чтобы упереться в него – как в стену?!

Правы – и всегда в проигрышном положении.

С микрофоном в машине оказался знакомый, из бывших местных депутатов, разогнанных. Тимоша не однажды слушал его на митингах. По фамилии Мякишев, иногда говорил неплохо, даже хорошо, убедительно, но чаще, горячась, прищипывая себя так, в такие залетал непролазные дебри, что и сам принимался озираться: где это он? Знакомых было много, годами одни и те же, одни и те же ходили на воскресники, праздники, митинги, встречи – на все те добровольные радения во имя домучиваемой России, которые не дали толку. Сейчас чувствовалось, что люди, теряя терпение и разум, все больше превращаются в порох, а речи с той стороны площади, как языки пламени, мечут искры, каким-то чудом еще не подорвавшие его...

И вот очередь поверх голов и издевательская команда.

– Что вы делаете?! – закричал опять Мякишев. Тимошу била дрожь от стыда и позора: кого теперь увещавать, зачем? Не то, не то, не то, не так.

Включился третий усилитель, из мэрии. Включился неожиданно, громко, напугав людей не меньше, чем выстрелы.

– Граждане! – прямо над головами заходил новый голос. – Говорит Оборин, мэр города. Прошу вас: расходитесь. У меня есть причины просить вас об этом. Поверьте. Расходитесь.

– Верно, тикайте, – согласились из Дома. – Рвань трусливая.

– Спецназ, немедленно прекратите! – взорвался Оборин. – Прекратите вещание. Замолчите. Где подполковник Симкин?

– Сам заткнись, мэ-э-эр! Развел тут дерьмо!

И молчание – тяжелое, плотное, как бы поднимающееся огромной неопределенной фигурой от земли. Тимоша видел, как вокруг распрямляются, выносят из наклона головы. Торжественная дрожь прошла по рядам, какое-то общее преображение, словно подана была решительная команда.

Мякишева почти силой вытолкали из машины, в нее в суматохе первым успел заскочить мельконький, в длинной шинели, казак.

– Ну, все, – торопясь, закричал казак. – Теперь мы тебя точно отсюда не выпустим!

– А это еще кто такой? – восхитились с той стороны.

– Казак. Русский.

– Не может быть. Откуда им тут взяться? Покажись – посмотрим, как они теперь выглядят, кто они такие есть... Ну, где ты там? Выходи.

«Надо не дать ему выйти, – билось, стучало в груди у Тимоши. – Дурость же, дурость! Ни в коем случае не поддаваться на провокацию... это же провокация... неужели он не понимает?» – но Тимоша не бросился, не остановил казака, когда тот проходил в двух шагах. И никто не остановил, ему дали коридор среди плотно и прямо стоящих людей, по которому он и прошел – совсем как мальчишка, заплетаясь в шинели.

– Других нет? – встретил его издевательский голос. – Выродились вы, совсем выродились... – голос прищемился. – В такого... как в копеечку.

Казак упал. Упал сразу, не ища земли. Никто не услышал выстрела. Услышали птицы: с островерхого шпиля старой католической церкви справа от Дома сорвались голуби испуганной стайкой и стремительно пронеслись над площадью за улицы.

– Прекратите! Спецназ, немедленно прекратите огонь! – закричала мэрия. – Вы за это ответите. Немедленно найдите подполковника Симкина!

– Есть еще желающие?.. – воспаленно – дело зашло далеко – спрашивал спецназ. – Есть эти... как вы себя называете?..

«Подлость и дурость... это не может быть оскорблением... такие недоумки где угодно... это не люди... нельзя выходить... – кричало каким-то своим усилителем в Тимоше. – Надо остановить... сказать так, чтоб убедить, чтобы ни в коем случае не выходили...»

...Выходила пожилая женщина, в зеленом берете, со спадающими седыми волосами. У края людской запырей ее пытались удержать – она вырвалась, дернулась и упала. И, вскочив, выпрыгнула вперед, на мгновение задержалась, перекрестилась и пошла...

Вышел и пошел без напряжения, как привык ходить по земле коренастый, с тяжелым затылком под ежиком коротких волос, в темном пиджаке – из аграрников, сбитых с совещания...

Щелчок, еще щелчок.

Толпа забила, захлестнулась в двух встречных потоках: один давил к фонтану, второй обратно, те и другие кричали, что-то кричали опять из машины, из мэрии. Не его, не Тимошина, какая-то другая сила, подхватив, выталкивала его, вопреки разуму, наперерез рвущимся к фонтану. «Не туда, не туда, – отказывался он, – это же глупо, у меня сын растет, без меня его не воспитают... Куда же я, куда?» Выстрелы, снова выстрелы... и уже не понять, поверх или по ним...

Еще можно было видеть...

...Выходили, взявшись за руки, показавшиеся совсем юными, совсем детьми, парень и девушка...

Он забился, забился, проламываясь решительней, выставя то одно, то другое плечо, пока не поредело.

Высвободился и выдохнул тяжесть, подобрал шаг.

Шли справа и слева, спереди и сзади.

И так легко стало: шли.

<1994>

Сеня едет

Сеня Поздняков, в отличие от других, прозвищами себя награждал сам. Да так удачно, что они прилипали. Пока бродяжничал, бичевал – был Бродя, покончил в один прекрасный день с беспутной жизнью, отхватил лучшую в деревне невесту – стал «наш орел». А Заморы вдобавок окрестили его, как и всякого бы приставшего со стороны, «поселенцем». Каждое прозвище имело свое употребление: говорили хорошо и за глаза – «поселенец», посмеивались с издевкой в Сенином же присутствии – «наш орел». Но как-то так получалось, что в том и другом случаях – и когда похваливали, и когда на смех подымали – относились к Сене, будто к сироте, с добродушием. Был он мужик безвредный, услужливый, улыбчивый. И только у Гали, у жены, вырывалось раза два или три:

– Погубил ты меня, Сеня. Такую бабу погубил!

Галя знала себе цену. Сене же цена была небольшая. Когда-то он читал книжки, вышел из приличной городской семьи, окончил школу и готовился к жизни всерьез. Но после армии понесло его по романтической части, об уроках которой деревня знала наизусть из песни, распеваемой не однажды «нашим орлом» при его продвижении к дому:

Ах ты, сука-романтика!

Ах ты, Братская ГЭС!

Я приехала с бантиком.

А уехала – без.

Трагические эти строки продолжения не имели. Сеня выдирает их из груди с такой болью, с таким отчаянием, что они пронизывали всю улицу, откашливался громко избыточным страданием и начинал сначала. На пение выходила Галя, и тогда оно прекращалось на середине.

В Заморы он прибыл, разумеется, уже «без бантика». Не было при нем, кроме того, ни трудовой книжки, ни паспорта. Не было и рубахи. Его «явление» до сих пор не забыто, хотя и случилось оно больше четверти века назад, когда с рейсового теплохода вслед за прибывшими чинно и благородно пассажирами за руки, за ноги вынесли бездыханное тело неизвестного, бросили, как мешок, под молчаливые взгляды местного народа на берег и отчалили. Вопросы: кто, откуда, к кому, зачем? – появились лишь после того, как белый пароход, взбучивая воду, поддал жару на своем пути из Иркутска в Братск. Отвечать было некому, молодой мужик со следами безуспешной борьбы с пьянством не подавал признаков жизни. До того, как раскопаться, затащили его под дырявый навес для встречающих-проводящих и оставили под надзором собак. До сумерек перебивались у него чуть не от каждого дома и с облегчением отходили: не довел Господь до знакомства и уж тем более до родства с этой пропащей душой. В сумерки, чтобы не брать на себя грех за неприсмотр, заставили парней прибрать незнакомца в ближайшую баньку, которая и оказалась баней Стуковых.

Дело было по осени, в сентябре, а за два месяца до того Галя Стукова вернулась в родные Заморы, чтобы после трехлетней учебы принять от родной матери здешний фельдшерский пункт. Ей и выпало отваживаться с Сеней, возвращая его к жизни. Она первой и услышала скорбную историю его жизни, последняя страница которой осталась за границами памяти: поехал с такими же, как он, вербованными, к месту очередной работы и вот... не доехал. Местные ухари, только-только начинавшие делать возле красавицы Гали боязливые круги, и охнуть не успели, как сброшенное мертвяком с парохода тело поднялось на ноги, оделось в штаны и рубаху Петра Андреевича, начальника участка, и заявило, что оно – «наш орел». Заявило раньше, чем Галя, Петр Андреевич и Вера Васильевна, все вместе и каждый в отдельности, успели рассмотреть, что это за птица и с какой целью она спикировала на их семью. Галина

мама до самой смерти не могла прийти в себя от изумления, что же это, что за наваждение нашло тогда на них, если на глазах у не слабых умом родителей было похищено дитя. Да так похищено, что его же, похитителя, еще и обихаживать пришлось, чтобы не позориться перед людьми.

Теперь Веры Васильевны в живых давно нет, Петр Андреевич доживал век у старшего сына в городе, а «наш орел» успел растерять свои перышки. Усохший, потрепанный водкой, с затухающей порывистостью, он сохранил лишь одно – чистые свои голубенькие глазки на морщинистом лице. Полгода назад, с укоротом леспромхозовских работ отправленный на пенсию, Сеня свершил подвиг жизни – бросил пить. Пить бросил, но бодрости не приобрел; следовало бросить раньше. И все чаще, откачиваясь от дела, оцепеневал он по-каменному, уставившись куда-то перед собой без памяти и мысли.

И только Галя, по-прежнему красивая, прямая, выше Сени, с сильным телом, неразношенная, – только Галя была хоть куда. С медициной Гале пришлось расстаться, и не только Гале, а всему поселку: новые порядки, борясь со старыми, боролись и со всем, что было при старых, в том числе и с людьми, отказывая им в лекарствах. Полтора года назад медпункт закрыли. Сын и дочь у Сени с Галей, взяв годы, не задержались в деревне и жили в городе своими семьями, имея и от себя – наперекрест – мальчика и девочку. Ради горожан, задавленных ценами, приходилось держать большое хозяйство: две дойные коровы, две свиньи, пять овец, куриц, огород – крутежу хватало от зари до зари. В сорок пять «баба ягодка опять», а сама у себя в скотницах, в огородниках, кухарках. Сеня в рабочей упряжке и с рюмкой помогал лучше, чем теперь, освободившись от того и другого.

Хватила Сеню, как сказали бы раньше, лихоманка.

Телевизор включали редко. Когда полон двор животины и страда подгоняет страду, не до того, чтобы пялиться в телевизор. Его и в каждой избе держали больше для обзаведенья, чем для применения.

А тут Сеня на беду свою как-то нажал на кнопку включателя. Началась эта история, когда он еще работал. Нажал на кнопку – и вдруг без всякой настройки, как там и сидела, наплыла на него такая картина, что Сеня попятился. Сдернул он ее с помощью той же кнопки и, глядя испуганно на затмеваящийся экран, соображал: Китай, что ли, опять балуется?.. Одно время было: включаешь Москву, а попадаешь в Китай, на оперу. Сеня для проверки снова толкнул кнопку и снова вытолкнул напугавшее его зрелище. Китай или допился? Диверсия по средству массовой информации или чертики? До чертиков у него однажды доходило, но они чертиками и оставались, за границы не переходили. Тут же... Сеня заставил себя всмотреться. Тут же шла самая настоящая... Сеня знал, как это называется... да ведь как бы ни называлось, а дело это не для показу. Допился. Он отжал опять кнопку, выдернул шнур из розетки и, раздеваясь на ночь, набросил на мерцающее пучеглазие телевизора штаны. Пили в гараже какую-то дрянь из большой иностранной бутылки, даже и не забрало как следует, а вот поди ж ты, куда ударило.

Подмывало проверить видение на Гале, но Галя, когда являлся он под «братским бантиком», стелила себе отдельно.

Утром Сеня прислушивался в гараже: видели или не видели? Никто ничего. «Звоночек, – решил он. – Второй. Непростой, с поворотом. Нет, надо завязывать».

Но сомнение оставалось. Не давало согласиться это самое дело, куда произошел поворот. Никогда Сеня на него особенно не упирал, никогда оно ему белый свет не застило. Поддержать «фольклор» в мужских разговорах мог, но не до затмения ума. Что-то тут было не то. Сеня стал включать телевизор не просто так, чтобы охолонуть с работы под культурой и политикой, а чтобы поискать следы того, что ему номерешилось. Теперь, когда он взялся всматриваться внимательней, то увидел много интересного, чего раньше, включаясь на минуту-вторую, не замечал. Из лесу далеко не углядишь, но ведь вот он, глаз-то: пока они жили по старинке, произошел форменный разворот на все градусы от указанного раньше направления жизни. Никто

не работает, все веселятся. Никто не ходит пешком, все катаются на машинах. Длинные, членистые, как вздыбленные лохматые гусеницы, наплодились песенники, которые, извиваясь и дергаясь, будто под током, выкрикивают под грохот техники какие-то страсти, а полоумная пацанва, огромная, дикая, из одних ревуших ртов, сплетаясь голыми руками и раскачиваясь, катит встречный жуткий рев. Потом рев мотора – и трах-тарарах по мозгам: покупайте! покупайте! покупайте! А на что покупать, на какие шиши, зарплату третий месяц не дают! А тем хоть бы хны – светоизвержение! Покупайте, продавайте, прыгайте, стреляйте, война, кровь, замогильные голоса – и вот!..

– Галя! – взревел Сеня. – Галя! Быстро! – И вскочил навстречу: – Где ты?

– Чего орешь дурноматом! Что у тебя?

– Ты погляди.

Галя взглянула, сплюнула и выключила.

– Чего уставился-то на срамоту? Делать нечего? Совсем рехнулся!

– Но ведь показывают!

– Не смотри. Не для нас с тобой показывают.

– А для кого?

– Для шибко умных.

Можно, конечно, и не смотреть. Но ведь если показывают, то и смотрят. Город весь утонул в телевизоре, а у него там дети, внуки подрастают. Что же это происходит, почему стало позволено? Ведь это же, ясное дело, не от недосмотра, это политика такая. Запрягли так и поехали. Куда? Не сегодня поехали, видно, что раскатились. Где ты летал, «наш орел», куда смотрел, если главного не видел? Не смотри. Не заметишь, как под порог подкатит, нагишом по улице ходить заставят.

Нет, не мог успокоиться Сеня. Подступала, как он называл ее, «боевая готовность» – возбуждение, которое охватывало его, к примеру, в сенокос, пока не подобран последний клочок сена. До тех пор он ни о чем не мог подумать, никакой рюмкой его было не взять. И вот теперь входило в него то же самое, единственное, забиравшее полностью.

Вечером, как сели за ужин, Сеня не утерпел:

– А если бы нас с тобой так, а?

– Что у тебя опять такое?

– А если бы нас... Мы бы с тобой легли, а нас бы это хайло, это пучило, – Сеня кивнул на телевизор, и показалось ему, что тот еще больше залоснился от удовольствия, словно бы принял предложение, – на весь свет... Поглянулось бы тебе?

– Уймись, Сеня!

– Я понимаю, без этого нельзя. Но почему на люди-то? Это же наше с тобой. А они – как собаки, хуже собак. Ты посмотри...

Что заставило Сеню толкнуть телевизор, он и сам не знал. Но вышло к месту. Телевизор загудел-зашипел и накатил на Галю с Сеней картинку... они и ведать не ведали, что такое бывает: что-то, как огромный паук, белое, многоногое, многоголовое, голое, извивающееся и жуткое. Галя пропавшим вдруг голосом, на хрипе, вздымаясь над Сеней:

– Ты что себе позволяешь?! Ты что делаешь?!

– Я-то почему делаю? Это он, они делают...

– Ты что мне подстроил?

– Как я мог подстроить? Думай маленько. – Паук между тем разворачивался, показывая себя со всех сторон, опадал и вздымался. Сеня подумал: а почему он, собственно, оправдывается? Тут разве оправдываться надо? Тут разве между собой надо цапаться? Он заставил паука сгнуться, с трудом удержался, чтобы не отправить вслед за ним и весь телевизор, и провозгласил вслед:

– Ди-вер-сия!

– Чего-о?

– Диверсия на бытовом уровне. Дерут сразу и через голову, и через это место. Нич-че, поглядим, – угрожающе добавил Сеня и поднялся, готовый ко всему.

В гараже он приступил к мужикам:

– Телевизор смотрите?

– А чего... там... смотреть? – тяжело вырубая изнутри слова, отвечал Вася Сомов, угрюмый без бутылки, грубого, без отделки, покроя мужик из слесарей. Он и отозвался лишь потому, что сварганили бутылку. – Там... одна... – Вася матом обозначил два предмета интереса телевизора – политику и эту самую, в которую ударился лбом Сеня.

Видят, значит, все видят, не он один. Грубый народ, а не одобряет.

– Мужики, а почему мы терпим-то? Почему позволяем? Нас с головой туда... Это культура, что ли? Там культуру должны двигать, а они что?! Мы без них, что ли, с бабой не справимся?

– Справимся, – подтвердил Вася.

– Чего ты, дядь Сень, – вмешался Генка, парнишка, убивающий в гараже год от школы до армии. За работой на побегушках, а как до выпивки – чувствовал он себя среди мужиков ровней. Генка только что доставил бутылку и был еще на высоте подвига. – Разошелся, будто вчера в первый раз увидел. Давно кажут.

– Давно... кажут... – согласился Вася. – Лоханка.

– Как демократию провели – сразу. Уж все на десять рядов обкатали. В кино еще больше кажут.

– И кино... лоханка!

Рогов, бригадир, добавил, открывая бутылку:

– На голову встали, а ноги задрали – вот она и заголилась, механика-то. Вот и навалились.

– Мужики, а что делать-то будем? – не унимался Сеня.

– А что делать? Что ты будешь делать? Ежели это государственный интерес наравне с тюменской нефтью. Ежели из этой скважины тоже деньги качают...

– Совсем ничего не делать? Водку пить?

– Ты водку, Сеня, не трожь. Не путай хрен с бутылкой.

Сеня как тронулся. Приходил с работы, наскоро, чуть не бегом, помогал по хозяйству и торопился к волшебной кнопке. Не терпелось знать, куда двигается дело, есть ли перемены. Двигалось оно вглубь и вширь, но не назад. Когда не было практических занятий, полным ходом шла пропаганда и агитация. Агитаторы, все из науки и культуры, все, как на подбор, черные и бородатые, соловьями заливались, ужами изворачивались, чтобы показать, где спрятано счастье жизни. Для одного, уже немолодого, жмурящего глаза, собрали соплюшек, годочков по четырнадцать-шестнадцать, и он в каждую тыкал: живешь или нет половой жизнью? А если не живешь – пора жить, это, мол, полезно для здоровья.

– Галя! – кричал Сеня. – Ты посмотри! Ты посмотри, что он несет! Раньше языки за такое-то вырезали!..

– Выключи! – свирепела Галя. – Не нравится – выключи.

– Я выключу, а ведь они-то, соплюшки-то, не выключат... Они слушают. Верят.

Потом, как результат, показывали этих самых соплюшек, которые, насмотревшись и наслушавшись, пошли по рукам. У Сени не хватало сердца смотреть на мордашки девчоночек, как за крючок с наживкой вытянутых из детства, где только в куклы играть, а они уж через такие игры проходят, через такое воспитание!.. Господи! Немцы, татары не трогали, давали подрасти, а тут свои... едва из колыбели – и на растяжку. А какие это свои, разве это могут быть свои? Но где тогда свои? Где они? Почему, как Змею Горынычу, отдают и отдают бессловно дочерей своих малых? Двенадцатилетние рожают – Господи! Подряд, одна за другой.

Показывают их в каком-то приемнике – глаза свернувшиеся, нечеловечьи, а гонор друг перед дружкой держат. Кого они нарожают? Какой народ придет после этого?

Все больше твердел Сеня в убеждении: надо что-то делать.

Он пошел к начальнику участка. Тот с привычной болью выслушал – все они сейчас жили, как при параличе, с остывающей болью, – кивнул:

– Ну и что? Что ты предлагаешь?

– Протест от коллектива надо выразить. Мол, не согласны, не хотим.

– Какой протест? Куда? Некуда. Ничего не стало. Ты что, не видишь?

– Забастовку устроить. Детей же губим. Все к чертям собачьим губим.

– Какую забастовку? Нам ее давно уж устроили. Не видишь – все лесом забито, не вывозят. Третий месяц зарплату вам не дают – не заметил? Куда, в какую щель ты глядишь? Мне рабочих опять увольнять надо. И ты пойдешь, – мрачно добавил он. – Вот список. Собирайся, орел, через месяц на пенсию, отлетал. Вот и вся тебе забастовка.

На пенсию Сеня ушел, но не успокоился. Он разом, как отрубил, бросил пить. Хватит в дерьме возиться, довозились до того, что и не видим, что оно – дерьмо. Мужики отнеслись к его трезвости, как к очередной просушке перед новым решительным штурмом, но Галя, двадцать лет умолявшая Сеню расстаться с рюмкой и давно потерявшая надежду, на этот раз каким-то чутьем угадала – вылез мужик, вылез, но куда полезет дальше? Не похоже, чтобы он собирался успокаиваться. С печалью и страхом она смотрела на Сенино дежурство перед телевизором, раздумывая, как бы от него избавиться.

Сеня съездил в райцентр, обновил очки и, насадив их на нос, вел перед телевизором какой-то протокол. Дважды он написал в Останкинскую башню, на одно письмо ему ответили, что понимают его тревогу, тревогу пожилого человека, воспитанного на иных идеалах, – и выходило, что ежели пожилой, то дурак. На второе и отвечать не стали. Но Сене их ответы больше были не нужны. Просидев неделю над какими-то записями и расчетами, он принял решение. И сразу легко, свободно вздохнул: все. Вперед!

– Еду в Москву, – заявил он.

Галю окатило:

– Тебя только там и не хватало! Ты посмотри, что там делается, посмотри!

Посмотреть, верно, было на что. В Москве начиналась война. Когда услышал Сеня, что уличное войско из таких же, как он, взбунтовавшихся против «вниз головой – вверх ногами», но нестроевых, необученных, двинулось на Останкинскую башню, он закричал в телевизор сдавленно и бессильно, понимая, что не услышат:

– Не так! Не так! Подождите! Вы же все только испортите! Вас же положат!

Их и положили, как угадал Сеня. Весь день после этого он пролежал на диване в оцепенении, без еды, без питья и слов. Радио в кухне захлебывалось: враги народа, фашисты, штурмовики, а перед Сеней проплывали мордашки двенадцатилетних мам, снятых со школьной парты, чтобы...

К вечеру Сеня успокоился и поднялся. Он выехал только недавно. Задержала теплая осень – быка по теплу было не забить. Пока продал мясо на дорогу, пока собирался – билет на самолет взвинтился в такую высь, что только в бинокль и рассматривать. Пришлось переходить на железную дорогу. Но и там не дремали, и там билет бил уже не по карману, а по голове до сотрясения мозгов. Пришлось Сене вернуться в Заморы и вслед за быком вывести со двора двух овец.

Остановить его ничто уже не могло.

Едет Сеня, едет. Ждите.

1994

По-соседски

В теплые синие сумерки вышел Сеня Поздняков после обильного ужина в натопленной избе на крыльцо охолонуть и, оглядывая умиротворенным цепким взором свое хозяйство, вдруг увидел, что в его огород летит какой-то предмет. Влетел в снег и зарылся. Сеня насто-рожился и, вытянув шею, стал ждать, что последует дальше. Дальше ничего не последовало, предмет был одиночным и ушел в снег совершенно беззвучно. Но то, что он был и остался под снегом в его огороде, сомневаться не приходилось. И прилетел он невесть откуда, может быть, из космоса. Теперь и космос пуляет в бедную Россию чем ни попадя.

Зима стояла теплая и снежная, снег валил в ноябре, без устали валил весь декабрь и лежал по полям и огородам высокой мягкой периной, чуть не вровень с городьбой. Сеня устал бороться с ним, выкидывая из ограды и нагромодив за заплотом гору, на которую махом взлетал с улицы кобель и гавкал с высоты. Но в последнюю неделю снег наконец взял передышку, и все Рождество простояло в солнце, ярком, искристо озарявшем белые пространства, видимо, поворачивающем на весну, по вечерам алея за Ангарой первыми красными закатами.

Сеня был не из тех, кто оставляет неопознанными залетевшие на его территорию предметы. Ночь он переночевал, а утром взял большую, специально под снег изготовленную алюминевую лопату, постоял над широкими, обитыми камусом охотничьими лыжами, ни разу не бывавшими в деле, размышляя, что лучше – или тонуть без них в необъятных сугробах, или на лыжах предстать перед Заморами и сделаться героем фольклора. Насмешки Сеню не пугали, он через такое прошел, что насмешками его не достать, но ему и самому показалась забавной картина, когда он вместо тайги выступит в охотничьих лыжах походом в свой огород. Поэтому лыжи были отставлены. Сеня туго обмотал длинными портянками ноги поверх вале-нок, чтобы в них не набивался снег, и двинулся без всякого вспомогательного снаряжения. Он не был богатырского роста и при первом же шаге ухнул по пояс.

При втором скрылся в снегу по грудь. Но продолжал шагать: уж если Сеня что возьмет в голову, ничем его не свернуть. Только одна голова в заячьей шапке с опущенными ушами и плыла над белой, девственно чистой равниной вслед за скользящей по заданному курсу лопатой. Выдохнувшись, голова замирала, поворачивала лицо то вправо, то влево, отыскивая при-мету – ведь должно же остаться какое-то углубление при входе предмета в снежную атмо-сферу, – и плыла дальше.

Сеня повторил подвиг барона Мюнхгаузена, когда тот за собственные вихры вытащил себя из болота. Сеня, достигнув цели, откопал себя, будучи утоплен по плечи. И только после этого осторожно, слой за слоем, принялся снимать снег на месте уходящей в глубину узкой воронки. «Интересная все-таки жизнь пошла, – размышлял он, замедляя движения, чтобы, не дай бог, не повредить предмету. – Что-нибудь да преподнесет, чем-нибудь да позабавит. Что вот тут может быть?!»

Звякнуло. Сеня отставил лопату и стал подгребаться руками. Он, конечно, на всякий случай имел в виду и космос, но Сеня был тертый калач и особенно космосом не обманывался. Космос далеко, а всякие самодельные умники рядом. И, когда выгреб он из снега пустую бутылку из-под «Ангарской» водки, только что завезенной в Заморы, сильного потрясения не испытал. Даже почувствовал облегчение, что дело это земное, а не какое-нибудь иное, и, широко размахнувшись, с чувством запузырил бутылку в такой же девственной чистоты и белизны огород Васи Хохрякова, соседа. Вот так, сосед. Если не из космоса, то от Васи, больше ей взяться неоткуда.

Выгребая по своему следу обратно, Сеня размышлял: первая это бутылка, засаженная в его огород, или сто первая? Судя по тому, с какой удалью она вчера летела, огород был при-стрелян давно. По весне столько их там взойдет, что и картошку будет некуда ткнуть. «Вот

так, значит, – возбужденно повторял Сеня. – Значит, так. На безоружного напал. – Сеня не забывал, что он бросил пить. – Выбрал момент. Ничего, выйдем из положения. Не то бывало».

Он уже чувствовал, как на него находит боевой дух, требующий действий.

* * *

С этими бутылками в Заморах беда. В прежние времена их, как полагается, принимали и увозили в целях экономического круговорота. Теперь с такой мелочовкой возиться не хотят. Теперь не собирают ни металлолом, ни макулатуру – все стало разового употребления, все города и веси превращаются в свалку. Прут и прут в Заморы поило, прут по государственной линии, по частной, по иностранной, по совместной, по линии культуры и детства, прут по земле, по воздуху, по льду и по воде – и все в бутылках, да таких фасонистых и затейливых, в таком ассортименте, что от одного вида разыгрывает аппетит. А после аппетита, известно, пустые бутылки, сразу теряющие весь свой форс, сразу делающиеся бесстыжими и вызывающие злость. Весь берег в стекле, под каждой елкой в лесу бутылка. Только в одном месте Сеня, в молодости поколесивший по свету, встречал подобное же изобилие на душу населения – в Тикси, на берегу Ледовитого океана, где летом не заходит солнце и благоприятные условия для общения сохраняются несколько месяцев кряду. Бутылки да еще бочки из-под солярки, усеявшие неоглядную тундру, остались самым сильным впечатлением Сени от романтического Крайнего Севера. Оттуда, с края света, стеклотару вывозить и вправду никакого морского флота не хватит. Но здесь-то рядом!

С бутылками беда, но это не значит, что надо в огород к Сене их пулять. Сеня бросил пить тому уж близко к году, но кой-какой запас у него имелся. Он проверил его. В амбарушке весь угол горой завален бутылками, никак не меньше сотни, и на баню, на потолочный настил столкано в несколько рядов неизвестное количество. Запас есть. Всерьез заняться – из каждой щели вылезет, как партизан, бутылка. Нет, бросив пить, Сеня не оголил тылы. Врасплох его не взять.

Тут надо сказать, что война меж Сеней и Васей по-соседски заводилась не впервые. Но особая это была война – без объявления, тайная, ее можно было и не заметить. Не так, что трах-тарарах, с криком, с шумом, с боем, с такого-то часа и до победного конца. Вася под прикрытием снега мог до весны метать бутылки в Сенин огород, ведя односторонние действия, а Сеня, не подозревая, что идет война, мог до весны дружески кричать ему через этот огород: «Вася, здорово! Чего не заходишь?» Поэтому постоянно приходилось быть начеку и во все глаза анализировать обстановку.

В последний раз войну начинал Сеня. Но он и знать об этом не знал, его втянула в действия овца. Опять же и действий никаких с Сениной стороны не было, а война между тем шла. Он жил себе да жил, делая для облегчения жизни всякие приспособления и приобретения. Но у Сени всегда так: задумывает для облегчения, а выходит для одного только затруднения. Галя давно заговаривала, что хорошо бы завести овец: скотинка неприхотливая, особого ухода не требует, морозов не боится, ест все подряд, а дает и шерсть, и мясо. Особенно была потребность в шерсти. В магазин теперь хоть не ходи, на государство никакой надежды не стало, и надо так устраиваться, чтоб не только кормить себя со своего подворья, но и одевать-обувать, как в старину. Когда-то, до затопления Ангары, овец в этих местах держали десятками в каждом дворе, но с переездом, как только взялись переводить жизнь на все привозное, вывели овец совершенно, до того, что стали забывать, что такое овца. Когда Сеня, закупив в совхозе двух баранов и шесть ярок, привез их за пятьдесят верст в Заморы, собаки подняли остервенелый лай – как на дикого зверя, а народ собирался посмотреть, на чем шерсть родится. Овец Сеня определил в загончик со стайкой на границе своего хозяйства с Васиным. У Васи никаких претензий ни с какой стороны явиться не могло: загончик Сенин и территория Сенина, в этом

загончике до овец у него пребывали свиньи. Овцы стали привыкать к новому месту, и деревня стала привыкать к ним. Дело оказалось нехитрое – овец завести. К коровьему мыку и свиному хрюку добавилось овечье блеянье, и в Заморах сразу веселее сделалось от этого пополнения.

И все бы ничего, да скоро выяснилось, что все овцы кричат в меру, а одна, по росту самая малая, но и самая нервная, горячая, меры не знает. Кричит и кричит. Неделью кричит без роздыху, вторую... То мечется по загончику как угорелая, а то положит голову на жердь в прясле, устремит ее в сторону Васиного двора и – «бя-а, бя-а!» Голос противный, ржавый, надтреснуто-пронзительный, иступленный, любую преграду, любую стену просквозит. Сеня видел, что овца ему попала дурная, да как думал: угомонится, сорвет глотку и замолчит. Но еще неделя прошла, и вторая... Овца продолжала надрываться. Все овцы как овцы, а эта – язва. И держится от всех отдельно, и траву, мешанку, приноси ей наособицу.

Сеня тогда еще работал. И вот идет он вечером из гаража – дело было прошлой весной – и слышит, конечно... как в печенках эта тварь у него поселилась и оттуда поет... Подходит к дому, а из соседских воротцев навстречу Вася Хохряков, здоровый сорокалетний мужик этакого комлевого покроя, рядом с которым Сеня смотрится мальчишкой. Глаза злые. И говорит вместо «здравствуй»:

– Ты когда ее успокоишь?

– Кого? – невинно интересуется Сеня.

– Сам успокоишь или тебе помогли? – продолжает Вася, исподлобья уставившись на Сеню. – Ну, Сеня!.. Ты чего мне опять нервную войну устраиваешь? Бя-а, бя-а! – очень похоже проблеял он в лицо Сене. Овца восторженно отозвалась. – Ну, Сеня, смотри! Никак ты миром жить не желаешь... Чтоб через двадцать четыре часа этой стервы тут у меня не было!

– А чего это она у тебя-то? – зацепился Сеня. – Она не у тебя, она у меня. Это моя собственность.

– Ну и убери свою собственность хайластую от меня подальше, а не притыкай мне под нос!

– Куда я ее уберу, если она здесь определена?! Тогда и ты свою корову убирай!

Вася взревел:

– Куда это я корову убирай?!

– Вне пределов моей слышимости. Твоя корова тоже животное и тоже кричит.

– А твоя корова не кричит?

– Заводи овцу – и пускай твоя овца кричит. Я никогда не против. Моя овца, может, по той причине кричит, что твоя овца ей не отвечает. Заводи овцу...

– Да на хрена мне нужна овца?! – пуше прежнего взревел Вася. – Ты чего мне дурика крутишь? За кого ты меня принимаешь?

– Я принимаю. Ты принимай.

– Кого я принимай?

– Овцу!

– Ну, Сеня! – взошел на какой-то особый, проникновенно-угрожающий тон Вася. – Больше от меня не жди. Не жди, сосед, понял?

Это было не что иное, как ультиматум. Сеня только что по дороге домой обреченно размышлял под доносившееся блеянье, которое тупой пилой перепиливало его пополам, что выхода нет, надо овцу приговаривать. Неизвестно, будет ли от нее шерсть, но жизни от нее не будет. И если бы Вася не пошел на него, как таран, уже завтра он бы спал спокойно. Поторопился Вася. Ультиматумов Сеня не любил. Овца была немедленно помилована. Она не просто была помилована, но возведена в ранг, в степень, превратилась в главное действующее лицо, в самозарядное оружие непрерывного действия. Сеня нервно вздрагивал, когда раздавался очередной «залп» извергающегося взрева, прямо-таки по сердцу осколочно-фугасным, но он представлял, что испытывает при этих звуках Вася, и собственные его страдания пре-

вращались в героическое присутствие. Вася, по-видимому, настолько был деморализован, что на обострение больше не шел. А овца все базлала и базлала. Уже и Галя отказывалась от нее, требуя от Сени действий, уже и деревенский народ бунтовал и при встречах с Сеней выражал мнение, но какие же действия стал бы он предпринимать, если овца им же нацелена на Васю. Она нацелена на Васю, а Вася ни в каком виде себя не показывает.

Не сразу Сеня заподозрил, что здесь что-то не так. Овца надрылась, а со стороны Васи каменная невозмутимость, будто это ему в удовольствие. Наконец Сеня догадался спросить про Васю. А он, сказали Сене, на двухнедельной вахте в лесу. Днюет, значит, и ночует, не выезжая с лесосеки. Сеня так и сел, у него и язык, и ноги отнялись. Это что же получилось? Это получилось, что две недели овца, которую Сеня поил и кормил против Васи, допекала не Васю, а его же, Сеню. Сеня слушал овцу, а Вася в лесу слушал птичек. Нет, надо было немедленно приговаривать овцу.

Но тем и интересна война между Сеней и Васей, что никогда нельзя знать, идет она или наступило перемирие, побеждаешь ты или проигрываешь. Вся механика, вся стратегия внутри запряжаны. Вася только по виду пенек, голова у него варит.

Вернулся Вася с лесосеки – рыха широкая, свежая, голос веселый. Кричит Сене:

– А где твоя песельница?

– Она тебя разве в лесу не нашла? – отвечает Сеня, не теряя присутствия духа.

– Нет, Сеня, не нашла.

– Ну как же она промахнулась? За тобой побежала. Заскучала-за-сучала... прямо до потери голоса. Пришлось отпустить. Теперь обратно жди, уж так ей не терпится тебе попеть.

– Да ведь и я, Сеня, по ней заскучал...

– Не переживай. Ежели что, у меня еще одна такая же на примете есть. Доставим.

Вот так закрывались военные действия. Или переводились в другое направление, на другой фронт. Этого никогда нельзя было знать наверняка.

* * *

Галя, конечно, заметила мятый снег в огороде. И сразу:

– Ты чего там искал?

Сеня даже обрадовался – до того ловко пришлось к ответу:

– Бутылку.

Но Галя за год успела успокоиться от бутылок и с могучим выдохом, показывающим, как она устала от Сениных шуточек, заворчала:

– Спрашивают как доброго – ну почему прямо не ответить?! Нет, обязательно будет выкобениваться!

– Да бутылку же, честное слово. – И стал объяснять: – Вчера вечером выхожу – какая-то штуkenция в наш огород летит. И так летит, что не понять, с какого направления. Я и полез для выяснения. Бутылка.

– Откуда она взялась? Пустая бутылка-то?

– Нет, полная. Господу Богу ангелы доложили, что так и так, Сеня пить бросил. Господь против, он любил меня выпимши. Велел подождать, чтоб я на крыльцо вышел, и кинуть.

– Опять!..

– Ну какая же она после Васи Хохрякова будет? Ну? Подумай!

– А ты почем знаешь, что это Вася?

– А кто больше? Не с неба же она действительно свалилась!

Галя простионала, отходя:

– В докончателности всё кругом с ума посходило! Возьми эту бутылку и отнеси ему, скажи...

– Я уж отнес.

Галя возмутилась свалившейся бутылкой – значит, поддерживает его. Сенья воодушевился и среди бела дня, не таясь, запустил в Васин огород еще две бутылки.

А вечером и Васю встретил. Вася с работы возвращался невеселый. А Сенья, увидев невеселого Васю, напротив, развеселился.

– Здорово, Вася! Как жизнь? Звенит?

– Звенит, Сенья. Только и делает, что звенит.

– А что такое?

– В январе двенадцать ден прожили, а в них девять ден праздники.

– Вот это да-а! – Сенья искренне удивился, он не вошел в новую жизнь и не знал, что так много теперь празднуют. – В старое время нас так не уважали. Теперь вам и прогулы делать не надо.

– Какие прогулы! Раньше думал, как с работы сбежать, теперь – как на работу попасть. Вот какие мы стали сознательные, Сенья!

Сенья вглядывался: нет, вроде не темнит Вася, вроде и его, бугая, жизнь гнет. Гнет-то гнет, но он-то, Сенья, здесь при чем?

– Да-а, значит, обстановочка такая, что гуляй не хочу. – Сенья повел разговор ближе к цели.

– До «не хочу», Сенья, это верно.

– Так уважение к нам поднялось – водку в нашу честь стали делать. «Ангарская» называется, предприятия «Кедр». Видал?

– А чего на нее глядеть? Я ее пью, – хмыкнул Вася. – Я никогда попусту не гляжу.

Д-да, вот тут бы Сенья воспарил! Он почувствовал, как его обдаёт нетерпеливым жаром вдохновения, которое, не удержи он его, в такую высь, в такую поэзию бы его вознесло, что только держись! Но нет, сказать надо было так, чтоб ничего не сказать и в то же время дать Васе понять, что ему, Сене, все известно.

– А я вот попусту, на пустую, значит, бутылку гляжу, – подхватил он, – которая, значит, с крылышками. Сама летает. Знаешь такую?

Вася делал вид, будто не понимает, смотрел на Сенью по-бараньи.

– А у меня все старые... накопились за прежнюю веселую жизнь, – продолжал Сенья. – Не такие красивые. Но – если надо – полетят! Полетят! Куда хошь!

– У меня их, старых-то, мильен, – сообщил Вася, и Сенья понял это так, что весь мильён будет в его огороде.

– Мильёна у меня нету, хвастаться не буду, – отвечал он. – Но полмильёна в строй поставлю.

– Богатые мы с тобой, Сенья...

– Богатые.

И – разошлись. Понял Сенья, что борьба предстоит серьезная.

* * *

Дни стояли солнечные, яркие, снега искрились, обжигая глаза, и Сенья, по двадцать раз на дню озирая брызжащее искрами поле своего огорода, никак не мог разглядеть, есть свежие следы от падающих предметов или нет. А заходило солнце – снега синели, превращаясь в слитное, светло-вишневое, все густеющее полотно, не выдающее ни единой выбоинки. На всякий случай, чтобы не остаться в дураках, Сенья пометывал когда по одной, когда по две бутылки, но без задора и без злости – ответных действий он воочию не наблюдал. Но и там, куда он пометывал, тоже не рассмотреть было следов – значит, и на своей территории они могли быть обнаруженные.

Оконце летней кухни выходило в огород, Сеня в сумерках забирался туда и, не включая огня, курил, поглядывая. Но хитер был Вася и дожидался темноты. А в темноте хоть сто глаз выставляй, все равно не увидеть.

А потом, потеряв интерес, Сеня и вовсе забыл о состоянии войны, в котором он находился.

Но тут пришли к нему мужики, два брата – Кеша да Гена Солодовы. Кто из них старше, Сеня забыл. Тот и другой здоровые, крупные, с широкими и темнокорыми, приплюснутыми, как у всех коренных забайкальцев, лицами. На лесной работе мужики получают крепкие, не мельче шахтеров, а от свежего воздуха – продубленной, покржистой.

Братья были полгода в ссоре, а в этот день помирились. И пошли в магазин. У Сени поленица находилась за оградой, он набирал в беремя дрова, когда они с бутылками наголо шествовали мимо. Громко, довольные тем, что помирились и что предстоит главная часть мировой, поздоровались.

– А чего мимо? – как сказал бы раньше, сказал Сеня и теперь.

– А чего? – Братья притормозили. – Заводи, ежели не шутишь. – Это Кеша говорил, шофер КраЗа, сразу с работы – в пропитанных соляжкой телогрейке и валенках. Гена держал себя чище, а в этот день не работал и был в китайском синем пуховике, в выходных сапогах и ондатровой шапке. Но на погрузчике он и вообще меньше мазался. – К бабам нам и без желанья идти, – признался Кеша. – Это они нас развели.

– Галя! – кричал он, входя. – Вот ты баба мировая! Сколь ты Сеню, этого архаровца, терпела – ни одной не вытерпеть. Ты нам стол с краями не наставляй, только на занюшку. Мы здесь одну бутылку попробуем, а с темя по себя пойдем. Будем своим бабам объявление делать.

Бутылки были с нею, с «Атпарской». С новинкой, которая в Заморах очень понравилась, поскольку в названии почтен был ангарский народ, живший в неизвестности. Мужики пристроили бутылки справа от двери, возле посудного шкафчика, одну без промедления выставили на стол. На остальные Кеша, чтобы не дразнили, набросил телогрейку. Галя расторопно и дружелюбно подала закуску – сало да огурцы – и принялась за вечернюю толкотню с печкой и скотом.

Солнце перевалило на ангарскую сторону, на закатную, и било прямо в кухонное окно, озаряя его полно и ярко, как чело горячей печи. Стол, за которым сидели, стоял в прихожей напротив кухонного проема, солнце и его веселило и еще больше поднимало настроение.

Пили стограммовыми гранеными стаканчиками – как принято в Заморах всюду. Стаканчики эти в огромных руках братьев выглядели стеклянными наперстками. Но ничего, чаще наливали, а Галя то подрезала сало, то подносила рыжики. Позже подала горячую картошку.

– Из-за чего ругались-то? – спросила она. Все в Заморах знали, из-за чего ругались, но интересно было услышать из первых уст.

– Из-за отцовской машины, – отвечал более разговорчивый и простоватый Кеша. Он и примирению радовался больше. – Отец у нас ишь, как помер постижно, дарения не успел сделать.

– А теперь как? – допытывалась Галя.

– Теперь продадим. Цыган тут один приехал – берет. А деньги поделим и пропьем.

– Машину пропивать долго надо. Сопьетесь.

– Закусывать будем. – Кеша был уверен в своих силах, но пил хоть и метко, но редко. Свалить его – требовалась бочка. – Третий месяц зарплату не везут – это как? Вот туда она, машина, и пойдет – вместо зарплаты.

– Вам же предлагали: кругляк берите. В других местах кастрюлями, сапожным кремом зарплату дают. Кто что производит. А вы – кругляком!

– Из кругляка скоро дрынья будем делать.

– На дрынья береза лучше пойдет, – сказал Гена. – Она увесистей.

– Ну и береза есть, ежели что...

Выпитую бутылку сунули туда же, под Кешину телогрейку. Потом тот же путь проделала и вторая бутылка. Солнце садилось четко очерченным остывающим диском, свет его в натопленной избе казался жарким. Мужиков пробрал пот. Сеня так же хмелел, как пьющие, так же потел и трезвым умом замечал, что так же начинает сбиваться со слова у него язык. Кеша, с коротко стриженной большой головой и обросшим лицом, в распушенной толстой клетчатой рубаше, с широко раздвинутыми плечами, под которыми натекла могучая бугристая фигура, сидел во главе стола лицом к солнышку, щурился, отводил голову и походил на старовера. Гена, сидевший от брата по правую руку, ближе к бутылкам, был той же кости, но, видать, каким-то изворотом реже упирал он свою кость в физическую работу и не раздался в отпущенный ему природой масштаб. Так же обветренный, с таким же продубленным лицом, остался он еще и с румянцем на щеках, чисто выбритых. Полагается: жена у Гены учительница.

– Ты, Сеня, у нас орел и сокол, – неторопливо вырубал слова Кеша. – Ты мужик умный, в Москву летал...

– Летал, летал... – как тут и была, подхватила Галя в кухне и появилась в проеме. – Вы спросите у него, сколь пролетал?... Сколь пролетал! Полхозяйства!

Сеня привычно и обреченно поправил:

– Я не летал, я по железной дороге ездил...

– А железная твоя дорога тоже по небу протянута, – наступала Галя. – Иначе бы по столь не брали! Летал он, Кеша, как не летал!.. Мы бы проруху-то эту, может, до конца продержались, когда бы не летал...

Кешу интересовало не это.

– Ты летал – шибко Москва умная? Как ты смотришь?

У Сени наболело, им давно было высмотрено.

– Шибко. Не поверите, мужики, только ступил – сразу видать: один другого умнее. Аж искрят от ума. Над Кремлем или там еще где молнии так и брызжут, так и брызжут от умных идей. Там уже не одно возгорание было. Это же в пожарном отношении шибко опасно... когда столько умников в одном месте собирается.

– Ав магазинах тоже искрит?

– В магазинах из глаз искрит. От цен.

– А чего ездил-то туда? – не отступался Кеша. – Дело-то свое справил? Я слышал, ты на телевизор Ельцину ездил жалобиться... Дошел ты до его?

Сеня, умудренный поездкой, хмыкнул:

– Ему на телевизор жалобиться – все равно что левой руке жалобиться на правую. Они из одного тулова растут, одну работу делают. Для их руководства голова есть.

– Я тоже так думал, что должна быть голова. Видал ты ее?

– Нет, она засекреченная. До нее не достать.

Кеша подумал, вынес суждение:

– Это она не в нашу сторону наклон держит. Ежели бы она о своем народе тужила – не надобилось бы секретить. Сталин как секреты любил, – вспомнил он, – а у его все головастики на портретах были.

– При Сталине телевизора не было, – пояснил Гена. – Теперь они вживе по телевизорам шмыгают.

– Ну и шмыгают... видать, что шмыгают. Несерьезные люди, – поморщился Кеша. – Беспородные. Я, к примеру, жулика сразу отличаю, у его глаза бегают. Ты не все в телевизоре разглядел, Сеня. Ты, однако, не разглядел, что он от каждого жулика прямо в азарт входит. Как баба. Прямо так и подмахивает, так и подмахивает – до того ему любо жулика за отца родного казать! Чего это он так старается?

– Чтобы нас душить.

– Ежели все время дурить – они же умными нас сделают. Чурка сосновая и та... подурика ее каждый день!.., она вывернется и по тебе же ударит! А мы все ж таки чурку переросли.

– Должны бы, – неуверенно подтвердил Сеня и подумал: а переросли ли? Почему тогда мы позволяем ноги о себя вытирать? Почему мы позволяем... ох, сколько мы позволяем!.., ни одно бы растение не позволило так на себе топтаться!

Кеша продолжал пытаться:

– Ну и кому ты свою жалобу подал? Подал ты ее?

– Таким же дуракам, как я, и подал, больше некому. – Сеня сказал и оглянулся: нет Гали, она бы обрадовалась. Она бы не упустила. <Ата, – вскричала бы она в этом месте, – наконец все ж таки поумнел! Наконец все ж таки за дурака себя признал!> Сеня вздохнул. Не тянуло его рассказывать, какого он дал маху – поехал в Москву искать правду! Разве там ее ищут? Там супротив нее огромная армия стоит, она уже давно сбежала оттуда в леса и горы. – Мы втроем ходили, – неохотно и коротко говорил Сеня. – Один с самой Москвы, другой с Рязани, я – третий дурак. Вот друг дружке жалобы и подавали. Все к начальству пробивались – где там! Вышел к нам из Останкинской башни один катышок с брюхом, повел вовнутрь. Не знаю, нарочно решил поиздеваться или уж так получилось. Приводит в помещение... большое такое... штук со сто телевизоров всяких разных там стоит. Все показывают. Показывают, как мужик бабу ломает. Вот и вся правда. После этого я домой поехал.

– Ты гляди-ка: сто телевизоров показывают...

– Есть прямо огромные, все в подробностях видать. Я даже испугался. Всосет, думаю, как пушинку, в самый срам – и концов не сыщут. Скорей к Гале.

Мужики посмеялись, обсудили грозившую Сене опасность.

– А вот скажи ты мне, – любопытный Кеша мужик, до всего ему интерес, – это наш-то председатель области...

– Губернатор, – поправил Гена. – Глава администрации.

– Дак он это... голова-то голова... Он что говорит... что район наш пойдет под планомерное помирение. Это как понимать?

– Так и понимать, – хохотнул Гена. – Помирать будешь.

– Помирать я без его буду. Но он решению такую принял: планомерное помирение. Специалистов хотят куда-то эвакуировать, а нас?

Мне это... планомерное... шибко не глянется. Че-то они опять придумали.

Сеня согласился:

– Они давно уж придумали. Всю Россию под планомерное вымирание.

– Но с нашего-то району пошто?

– Тут народ крупный, его вымаривать долго надо. Это они правильно делают, что с нас начинают. Дальше – легче будет.

И третья бутылка была доставлена на стол, и ее постигла общая участь.

Смеркалось. Галя, управившись с хозяйством, втихомолку исчезла. Не требовалось большого ума, чтобы догадаться: сбежала на телевизор. Ничего не мог поделать с нею Сеня. Свой телевизор, воротившись из Москвы и убедившись, что очищения экрана не предвидится, он ликвидировал. Галя бегала под чужой – и все тут. И никаким вразумлениям, как полоненная, не поддавалась. Свой стоял – могла неделю не включать. Не стало своего – прямо как зуд появился. Чуть зазевался Сеня – шась – и нету.

Кеша, как сидел в рубаше, не одеваясь, прогулялся до ветру. И, воротившись, подивился без одобрения:

– Сосед-то твой, Вася-то, рас-стро-ился! Я его с этого боку не видал. Едва не все обновил, жмот.

Сеня прислушался к Кешину голосу: нет, не любил Кеша Васю. За что-то не любил. Это Сеню подбодрило.

– Расстроился – это его дело...

– Как его? А на што, на какие шиши он в эту дурю так взлетел? Тут сколь кубов материалу надо было?..

– Я говорю: это его дело... – Никак не мог Сеня оттолкнуться от вступительного коленца и продолжить.

Кеша настаивал:

– Это не его дело!

– Ты послушай... – Сеня поднялся, чтобы остановить Кешу, и почувствовал: да ведь пьян он! Пьян сильнее Кеша. И с чего – с паров, что ли, пьян? – Послушай! – закричал он. – Построился – стой! А тут гляжу – летит! Прямо в мой огород!

– Кто летит?

– Вот такая же вточь. – Сеня показал на бутылку, что осталась на столе. – Это я потом обнаружил. А визуально в этаку же пору под темно – летит и шлеп. В мой огород. Это он приспособил бутылки в мой огород запускать.

Гена задергался на табуретке в счастливом смехе, вскудахтывая, как курица. Кеша неодобрительно покосился на него.

– А ты? – сурово спросил он у Сени.

– А что я? Я же не знаю, сколько он их туда напулял.

– А тую, которую ты отрыл? Ты ее отрыл?

– Отрыл.

– И куда девал?

– Ту я со злости Васе воротил.

– Сеня, – назидательно разъяснил Кеша, – Вася по одной бутылке не пьет. Он тебе в тот вечер не мене, как четыре штуки, запузирил. Пошли! – Кеша решительно поднялся, в одну руку прихватил из-под телогрейки бутылки, во вторую Сеню. – Пошли, Сеня, отдадим Васе долг.

– Да остыньте вы, – пробовал удержать Гена.

– Ничего не остыньте. Идем, Сеня.

Дело было недолгое. Сеня стоял подле и еще раз подивился Кешиной силушке. Ему самому в такие пределы было не достать. В сгустившихся сумерках три бутылки, взмывая одна за другой, даже и не блеснули на прощанье.

Гена наблюдал за метанием с крыльца.

– Довольны? – спросил он, когда возвращались.

– А он доволен? – поставил его на место Кеша.

Вошли, включили свет. Свет давали до семи часов, а там, хошь не хошь, – спать. Сеня первый заметил, что одна бутылка спаслась на самом на виду – на столе.

– Глите-ка, всех обманула, – показал он.

Кеша уставился на бутылку, замигал глазами до скрипа. Или это скрипели, зашевелившись тяжело в голове, шестеренки. С бутылки он перевел глаза на Сеню, потом на Гену.

– Мы сколь выпили?

– Три, – сказал Гена.

– А эта откуль?

– Это третья.

Сеня сообразил вторым. Он метнулся к телогрейке, поднял ее, встряхнул.

– Выбросил! – закричал он. – Ты три раза кидал. Выбросил вместе с пустыми!

– Не валяйте дурака! – не хотел верить потрясенный Гена.

– Выбросил! Я помню: три раза кидал!

На полчаса: мать-перемать! мать-перемать! Все вскочили, все кричали, искали виноватого. На Сеню:

– Ты-то трезвый! Ты куда смотрел?

На Кешу:

– Неужели чутья не было – полная она или пустая? Человек ты или пушка, которой все равно, чем стрелять?

Кеша бухнул на стол свои руки. Что, правда, такими клешнями под горячую руку да на горячую голову мог он почувствовать?

Все было испорчено – и вечер, и мировая, и разговор по душам. Сеня очень хорошо понимал трагедию мужиков: когда взято четыре бутылки, на четыре и настроение. Организм получил задание – на четыре. Три – тоже, хорошо, три – даже лучше, но тогда с самого начала говори ему, что три, иначе обманутое нутро грыжей хищной вцепится в тебя за недоданное.

* * *

Следующий день угадал на субботу. Всегда это был выходной только для конторских, но теперь как развернулось: не вышел на работу – лишь спасибо тебе скажут. Лес никому стал не нужен – чего и валить, на корню от него пользы больше.

Кеша после вчерашней мировой на работу не поехал. Он пошел к Сене. Все в той же телогрейке, в тех же валенках и та же на шее выглядывала клетчатая рубаха. Это значило, что менять сегодня свою жизнь Кеша не намерен.

– Галя! – зашумел он, входя. – Всюю ночь не спал – гадал. Вче-рась рыжики ели – ты где их взяла? В прошлом годе не было же рыжиков!

– Для кого не было, а для кого были, – отвечала Галя настороженно, без прежней приветливости.

И вышла. Она не любила, когда шли в ту же избу по вчерашнему следу.

Но Кеша рюмки не собирал, за ним не водилось, чтобы он вдругорядь шел туда, где накануне гулял. Тут было другое.

– Подарили вечер Васе пузырек-то, а? – пытливо всматриваясь в Сеню, уточнил он.

– Подарили.

– У меня вроде че екнуло... но уж когда она с руки сошла. Она должна дальше всех залететь.

– Быстрее там, ближе-то к меже, вытает.

– Он ее выпьет, Сеня. Она ж под винтом, в ей можно не сумлеваться. Подымет и выпьет.

– Что ж не выпить, если валяется... выпьет.

– Надо ее воротить, Сеня. Это негожее дело, когда она в Васином снегу валяется.

Сеня опытным глазом поизучал Кешу. Да, никакому богатырю выпивка без поседа не дается. Кешины глаза были в красных прожилках, будто морщинки такие на глаза легли, лицо под щетиной было в ямках и буграх.

– Давит? – посочувствовал Сеня.

– Давит – это чепуха, – твердо сказал Кеша. – Давит – я в магазин схожу. Но пошто я должен позволять, чтоб моя бутылка, как курва, в чужом огороде валялась? Мне это обидно. Мы с тобой оплошали – давай назад.

– Да мы с тобой в чужой огород с обыском залезем – всю деревню соберем. Мы такую потеху устроим – цирка не надо. Ну, откопали мы бутылку, – вел Сеня картину дальше, – и что мы скажем, как она там оказалась?

– Скажем, обронили.

– Как обронили? Над Васиным огородом, как птички, летали, и она из зубов незначай выпала?

Кеша рассуждал – долго, угрюмо, спрятав глаза под мохнатыми белесыми бровями. И вынес решение:

– Нет, доставать надо. Мне это обидно. Он тебе весь огород пустырем закидал, а мы свою законную не спасем? Нет, так не пойдет.

Сеню тоже сжала обида: действительно, Вася вытворяет, что ему на ум взбредет, а он, Сеня, будет переживаниями маяться? Нет.

Пошли. Вооружились лопатой, зашли с переулка на соседнюю нижнюю улицу. Стали высматривать на снежной целине следы. А уж повело снег под солнцем и ветром – где узор, где шишка, а где рытвинка. И разбери, отчего рытвинка. С расстояния ничего не понять. Разбираться надо было на месте.

Кеша медведем полез через прясло, верхняя жердина под ним хрустнула. Сеня перебрался без нанесения ущерба. Взяв фронт метров в сорок между собой, двинулись поперек огорода. Только снег от каждого волной на две стороны бьет.

– Тормози! – кричит Кеша. – Здесь, кажись.

– И вот там еще заметина.

– Лопату давай.

Рыли-рыли – ничего. Ни пустой, ни полной. Траншею прорыли, наддали с боков – на случай, если в сторону вильнула. Ни-че-го.

И тут Сеня увидел Васю. Вася стоял во дворе, положив руки на калитку в огород, и хладнокровно наблюдал разворачивающиеся перед ним события.

– Здорово, Вася! – растерянно крикнул Сеня. – А ты чего не на работе?

– Здорово, мужики! – отвечал озадаченный Вася. – Помешал, выходит?

– Да нет, что ты!.. А мы думали-думали, как тебя вызвать... вот, значит, и придумали.

– А что, вообще, надо-то? – поинтересовался Вася.

– Да вот вчера история вышла. Кеша у меня сидел – ну и взял хорошо. Я говорю: хватит, Кеша. Но его разве остановишь? Ты же знаешь, какой он, Кеша! Я от греха подальше, как непьющий и ответственный, оторвал от него бутылку, размахнулся и – р-раз! Хотел в свой огород, а она сорвалась да в твой.

Кеша, презирая болтовню и вранье, молчал.

– И что – невыпитую закинули? – продолжал интересоваться Вася.

– В том-то и дело, что невыпитую. Ради спасения Кеши. А сегодня она бы в самый раз.

Вася, сложив толстые губы сердечком, затрясся – словно выдувал из себя воздух. И вдруг, будто достал искру и запустил мотор, заржал так захлебисто и громко (конечно, нарочно громко), что полдеревни вздрогнуло и завывовывалось посмотреть, что случилось.

Кеша рыкнул по-звериному на Васю:

– Давай вторую лопату, ржало ты конское!

У Васи это вызвало новый приступ смеха. Он и с лопатой шел – сделает два шага и захлебнется, сделает еще два шага и скрючится в припадке.

Сеня отобрал у него лопату и врезался в снег под высмотренной меткой на своем фронте. Под лопатой у него звякнуло, он нашарил бутылку, из вчерашних, но пустую, и засунул ее поглубже.

Шла мимо тетка Федосья, одинокая старуха, ходившая за хлебом, и остановилась, встретив незнакомую работу. Мужиков она узнала, а вот что делают в три мужичьи силы, никак не могла понять.

– Вася-а! – не утерпела Федосья. – Это че у тебя тако? Снега держанье, че ли, проводите?

Сеня торопливо перехватил слово:

– Нет, это, тетка, такое решение вышло – снег рыхлить. Как в Америке. Президент указ дал. Ты-то рыхлишь, нет?

– Я че, совсем, че ли, рехнулась? Это уж ты рыхли.

– А пенсию получать хочешь?

– Ну... пенсию...

– Хочешь получать – рыхлить придется. Без рыхленья не дадут.

– Ботало ты, Сеня, ой ботало!

Федосья направилась уходить, но приостановилась: кого бы еще послушать?

Подрулил Миша Стерников, с одной почкой, вторую вырезали два месяца назад. Голос до сей поры слабый.

– Что, братцы, пашем?

– Пашем! – весело крикнул Вася.

Но Сеня и тут встрял:

– Теперь, Миша, три пахоты надо делать. В январе – снег пахать, в апреле грязь, а уж в мае землю. Вот тогда и урожай будет.

– Кончите – переходите ко мне. А я пока за бутылкой сбегаю.

– Ну, так какое дело – поможем.

Тетка Федосья все еще топталась.

– Сеня-а! – позвала она.

– Что, тетка?

– У тебя когда язык смозолится?

– Ничего ты не поняла по старости. Снег рыхлить – это и есть пахать. Всякая пахота – это рыхленье. Запустили землю – вот наш президент и беспокоится. Поняла или нет?

– Когда он у тебя смозолится, я спрашиваю?

Подгреб Кеша, буркнул:

– Кончай.

– Нашел? – встрепенулся Сеня.

Васю за работой не видно было, мощным рукавом, как из-под комбайна, летел от него поднятый снег. Вот что значит мужское дело: ха-ха, ха-ха, а ведь захватило, заело – и про смех забыл.

– Ты гребь, мы пока отдохнем, – крикнул ему Сеня.

– Пошли отдыхать ко мне, – предложил догадливый Вася.

* * *

Бутылка ничуть не пострадала – что ей за ночь в снегу делается! Даже бумажная этикетка посвежела. У Сени – ну того дрогнуло перед бутылкой, прошедшей такие приключения, сердце. Но он устоял. Вся жизнь теперь сплошное приключение пополам с недоразумением, надо научиться устаивать.

Вася с Кешей выпили. Закусили вяленным мясом, поданным Васей на разделочной доске.

– А ты, Сеня, так и не пьешь? – спросил Вася.

– Не пью.

– Это хорошо. Это правильно. Тогда тебе задание: весна придет, будешь трезвым у меня в огороде бутылки собирать. Подходит?

– А ты у меня. Хоть пьяный. Подходит?

Кеша, почувствовавший душевное и прочее облегчение, засмеялся – густо, громотком.

– Ты чего мне тут, Вася, подсунул? – Они сидели в горнице за круглым столом, застеленным клеенкой, которая разрисована была, как скатерть-самобранка с блюдами и приборами, – вот Кеша и хватался за нарисованную вилку, а поймать не мог. – Экую обманку придумал. Тебе, парень, хорошо гостей потчевать.

– Бери рукой, чего там! – Сеня показал на прямо-таки живьем сияющую горку круглых красных помидоров.

Кеша не купился. Он бережно сгреб добытую из-под снега бутылку, погладил ее нежно и восхитился:

– Нашли, а, Сеня? От нас хрен че спрячешь! Она за ночь ишо скуснее сделалась. Нет, правда скуснее. Хошь каждый раз на вытяжку теперь к Васе в снег заталкивай.

– Заталкивай. Я деньги собирать буду.

– А без денег никак?

– За скус платить надо. Теперь за все платят.

– А какие твои труды, ежели она в снегу полежит? – задирался Кеша. – Она лежит, ты к ей не трожься. За что деньги?

– Я тебе говорю: за скус. В Сенином огороде она скус не возьмет, а в моем возьмет. За бесплатно к Сене толкай, она там дури наберется.

– Это пошто она у меня дури наберется? – Только что радовался Сеня: как хорошо, что они с Васей помирились! А он вот что!

– Потому что ты сам дурной.

Сеня подтянулся, заострился, каждую клеточку собрал в готовность.

– Почему это я дурной, Вася? Жду разъяснений.

– Снег вытает, вот тебе и разъяснения будут.

– Ты снегу не давай вытаивать, Вася, – с прищуром и с голосовым прижимом посоветовал Кеша. – Деньги будешь и середь лета грести. Нынче с зарплатой туго.

– Пошли вы! – взъелся и Вася.

Сказано было так, к слову, не для выгона. Так говорят, когда не хотят слушать. Но Сеня с Кешей обиделись и ушли.

Уж и день опять клонился к закату, когда вышли. Сеня расстроился: снова день пропал, снова с Васей поцапались. А с чего поцапались-то? Ни с чего ведь. Совсем ни с чего. Как маленькие.

– Ты за что его не любишь-то? – спросил он у Кеши.

– Жмот он! – все еще горячась, сказал Кеша. – Ишь ты, за снег он будет деньги брать!

– Да он дурака валял. Кто из нас не валяет? Не всерьез же он, в самом деле!

– А что дури бутылка в твоём снегу наберется – это он всерьез? Ты-то чего на него?

– Я по-соседски.

– А я не по-соседски.

Они помолчали, задумавшись.

– Эх, надо было мне эту скатерку-обманку у него поторговать! – сказал на прощанье Кеша. – Чего только не придумают, чтобы людей дурить! Не отдал бы: жмот.

1995

Красный день

Вспоминаю себя, мне тринадцать лет. Мы живем в леспромхозовском поселке, я только что вернулся на летние каникулы из школы, которая находится в райцентре, в пятидесяти километрах от дома. Живем без отца, нас у матери трое, я самый старший.

С вечера мать начинает тяжело вздыхать: завтра и послезавтра, в пятницу и субботу, общественная баня, мать – банщица. Ей надо натаскать с речки подле Ангары по крутому красному яру сотни ведер воды, чтобы заполнить два огромных чана. Руки у матери вытянуты, болят, болит и спина, а на коромысле воду по крутяку не поднять, коромысло не годится.

Я уже решил, слушая мать, что утром помогу ей, хоть она и не просит, считая, что после школы надо дать мальчишке отдохнуть. Но что такое «помогу»? Это значит, что я с ведрами и она с ведрами, на узкой каменистой тропке не разойтись, и мать то и дело будет заставлять меня отдыхать. Уставая сама, она считает, что я, мальчишка, устаю еще больше, что детские мои силенки надрывать нельзя.

Поэтому я решаю поступить по-другому. Светает летом рано, по первому же свету можно подняться и до того, как уберется по дому мать, перетаскать хоть пол-Ангары. Но для этого надо подняться так, чтобы не разбудить мать. И я выдумываю, что мне в избе душно, я буду спать в сенях.

Утром вскакиваю часа в четыре. Еще сумерки, прохладные, знобкие, но с чистым небом, обещающим красный день. Бегу, согреваясь, к бане, отмыкаю ее и заглядываю в чан – в тот, который на топке. Дна не видать, это преисподняя, туда провалится с потрохами все что угодно. Но делать нечего, я берусь за ведра и скатываюсь к речке. Она шумит, прыгает по камням, над Ангарой рядом стоит парок. Плещу себе из речки в лицо, на мгновение замираю. Все, теперь вперед.

Часов у меня нет, я знаю только, что надо торопиться. Подъем занимает минуту-полторы, но взбегать приходится с задержанным дыханием. Чуть расслабишься, чтобы перевести дух, – сдвинуться потом трудно. И я еще от воды разбегаюсь с поднятыми на руках ведрами, чтобы не задевать о камни, и все равно задеваю, все равно плещу на себя. Остатки приношу в чан, и они булькают где-то так глубоко, что едва слышны. Потом снова вниз. Вверх и вниз, вверх и вниз, десятки и десятки раз. Запалившись, припадаю к речке, жадно пью; от пота и наплесков я мокр с головы до ног, но обсыхать некогда.

И я успеваю. Но, возвращаясь домой, я знаю, что такое усталость. Меня качает. В избе у нас еще тихо, я осторожно приоткрываю дверь в сенцы, отметив, что мать не выходила, сбрасываю мокрую одежду в угол и залезаю под одеяло. Все равно матери разогреть топку, все равно ей идти. Вот удивится-то! Так и подогнуты под нею ноги! Я моментально засыпаю.

Просыпаюсь от плача. Дверь из избы в сенцы приоткрыта, и я слышу, как топчутся вокруг матери сестренка с братишкой, как она сквозь слезы что-то отвечает им. И плачет, и плачет. И чувствую, как у самого у меня проступают слезы, как сладким страданием забивает горло. Так хорошо!..

...Мы жили в непролазной нужде, видели, каково приходится нашим матерям накормить-обшить нас, и взять на себя доступную нам, ребятишкам, долю их трудов было для нас так же естественно, как съесть кусок хлеба. Подталкивать к помощи нас не приходилось. У матери радостей было в те суровые годы еще меньше, чем у нас, всякая радость от нас и шла, и мы своим услужением старались ее доставить. Мы рано становились взрослыми, и, с точки зрения иных теоретиков воспитания, детства у нас не было.

В самом деле: где ему быть? С семи годочков верхом на лошади возишь копны в сенокосную страду, с десяти кормишь ушей всю семью, с двенадцати боронишь колхозные поля, с четырнадцати пашешь, как взрослый мужик... Не бывали мы в пионерских лагерях, не слы-

хали об «Артеке», костры жгли в лесу да у Ангары больше за делом; за ягодой, за грибами шли с ведрами, чтобы принести домой, на острова плавали, чтобы нарвать дикий лук и чеснок... С малых лет в работе, в пособи, как говорилось о ребятишках, но почему же тогда с такой радостью, с такой полнотой и теплотой, с таким чувством необъятности выпавшего нам счастья вспоминаются те годы? Детство есть детство, это верно. Оно, открывая мир, удивляется и радуется любой малости. Но и при этом никогда не соглашусь я, что мы были чем-то обделены (кроме, быть может, книг, которые узнавали позже), напротив, считаю, что повезло нам с выпавшими на детство трудными годами, ибо тогда не было времени на воспитание, а шли мы вместе со взрослыми ото дня к дню и шли, естественно, научаясь любви, состраданию, трудам и правилам, которые вкладываются в нравственность... А уж как мы верили, что наступят лучшая жизнь! И она наступила.

<1995?>

Россия молодая

Это было еще в те времена, когда самолет был доступен. Не каждому, как в еще более отдаленные времена, но все-таки... карман среднестатистического гражданина мог посягнуть на воздушное пространство. Для перелета из Иркутска в Москву содержался особый рейс, где подавались водка с икрой и где позволялось делать все, что угодно душеньке новоиспеченного толстосума, который выкладывал за билет почти в пять раз больше иного-прочего пассажира, летевшего тремя часами позже. Этому прочему водки, разумеется, не предлагали. Не всегда предлагали и кусок хлеба.

Я летел среди прочих, как и до того дважды – с тех пор как произошло разделение. Но от последнего перелета минуло три с лишним месяца, за которые жизнь стремительно ушла вперед. Я почувствовал это еще при посадке, очутившись среди не разношерстного, как обычно, народа, а какого-то заметного содружества, объединенного одной целью, как если бы это летела туристическая группа. Но это не была туристическая группа; устремленность этих молодых по большей части людей была иного свойства – какая-то охотничья, дерзкая. Они узнавали друг друга и перекликались, но мне показалось – без радости, даже, пожалуй, с ревностью. Почти все в «упаковке»: кожа, джинсы, кроссовки, на лицах впечатанная небрежность, движения порывистые, резкие, глаза с быстрыми прицельными взглядами. Странная похожесть замечалась и в женщинах: глянцевые лица с глазами в черном ободке краски, сытые рослые тела, не более двух фасонов экипировка – все выделанное, форменное. Нет, тут не туристическая группа, эти люди походили на выпускников чрезвычайно престижного заведения. Как питомцы МГИМО отличаются манерами и лоском, даже физическим сходством, так и тут... Родство выучки, выправки, профессиональная сбитость невольно бросались в глаза и заставляли подозревать в них что-то вроде тайного экспедиционного отряда, спешно направляемого к месту события.

И вдруг меня осенило. Господи! – какой там тайный и экспедиционный, какие там питомцы! Ведь это же они, кормильцы наши, спасители Отечества, труженики киоскового изобилия – коммерсанты! Не те, что успели накачаться, как пауки, и в великосветском обществе друг друга улетели утром, а те, что только избрали стезю и, как приказчики, собственно-ручно «гоняют товар», вынужденные мириться с обществом прочих. Конечно же, они: и фразы о том, и молодцеватость, и победительность среди неудачников... Еще не купцы, подкупечники только, но уже с взглядом, с характером, с лицом. И как же их много! – нас, обыкновенных, путавшихся у них под ногами, едва бы насчиталось три-четыре десятка из полностью загруженного «ТУ-154».

Мы взлетели. Как водится, прозвучала команда: не курить, спиртные напитки не распивать! Но кто теперь считается с такими пустяками, если даже библейские заповеди занесены в старорежимное тягло, стесняющее, как кандалы, свободу человека, наконец-то участливенного без них. И ухом не повели. Через полчаса, едва успели набрать высоту, потянуло едким запахом курева, и я, никогда не куривший, не умеющий отличить благородный табак от мужицкого в общем его неприятии, потянулся к регулятору обдува над головой.

Мне досталось место посреди второго салона с левой стороны у окна. И повезло – соседями по ряду оказались такие же, как я, разночинцы, осколки прошлого, муж и жена не местного вида, который всегда замечается в лице, как акцент в голосе, непохожестью выражения. Возвращались они, как я понял из их разговора, от сына, осевшего в наших краях, и приезжали, чтобы посмотреть, можно ли здесь жить. В Риге, где дом, житья для русского человека не стало. Он был явно из отставников, она, очевидно, только его женой. Офицеры в прежние времена могли позволить себе такую роскошь – не отправлять жен на работу. Женщина с мягким и чувственно вылепленным лицом, круглым и светлым, какие в юности украшаются косой, нисколько и теперь не испорченным возрастом, а только припозднившимся и притомившимся,

сидела рядом со мной; муж ее, крупный, набрякший, потерявший выправку, если она у него когда-нибудь была, вчера, на мой опытный взгляд, «проводжался» и дышал тяжело. По другую сторону прохода в нашем ряду расположилась компания из трех молодцев, как-то умудрявшихся бить картами по откидному столику со стуком – как в домино. Через ряд впереди по нашей стороне слышался громкий манерный голос, уверявший, что его хозяйка была комсомолкой.

– Не заливай, – задирает ее сосед, говоривший явно на публику, для «представления». – Таких, как ты, в комсомол не брали.

– Каких это «таких»? В комсомол всех брали. С пятнадцати лет. Я, конечно, по внешним данным была девочка не комсомольская...

– А какая ты была по внешним данным? Для какой деятельности?

– Я не для деятельности... Всякие там поручения... это я не любила. С меня в восьмом классе учитель физкультуры глаз не сводил. Девчонки с ума сходили, что у нас будет...

– И что было?

– Ничего. Он боялся, что я школьница...

– Но ты-то, конечно, ничего не боялась?..

– Я была девочка... мечтательная. Намечтаю, намечтаю – до температуры. Сейчас в кино показывают, а я мечтала ничуть не хуже...

– Хоть голыми руками бери, да?

– Не шибко-то. Я как стеклышко была, хочешь знать...

– Ав пионерах ты, стеклышко, ходила?

– Конечно. В третьем классе принимали. Как бы я не ходила – всех принимали.

Вмешался еще один голос:

– В Мексике восьмилетняя родила...

Голос девицы достиг неподдельного целомудренного изумления:

– Зачем рожала-то?

– Во славу мексиканского отечества. Ей, как рекордистке, миллион зелененьких отвалили.

– Вре-ошь!

– Ты что – Америку не знаешь? Не там ты, стеклышко, родилась.

– Еще не все потеряно. Она махнет туда и двинет рекорд с другого конца. Родит в восемьдесят восемь лет. Сразу сорокалетнего.

...Всегда были такие разговоры, как без них?.. Но не было – чтобы на весь салон, демонстративно.

Я откинулся к окну, прислонившись к прохладной обшивке, и закрыл глаза. Размышлял: почему раньше высота, неестественное, висячее положение над пропастью в десять тысяч метров от земли всего с двумя металлическими крыльями почти на двести человек невольно смиряли страсти, невольное чувство опасности заставляло говорить глуше, притаенней, уходить в себя и почему этого нет среди теперешних молодых? Другие люди, другое поколение, сделавшее шаг вперед по сравнению с нами в новую атмосферу, физическую и психическую, для психики которых становится обычным, рядовым то, что в нас только еще зарождалось? Или от более простого чувственного сложения, от происходящего изменения, перерождения человека в какое-то новое существо, приготавливаемое для встречи с будущим? Я летал много, привык к высоте и вступаю на борт «воздушного корабля» без страха, отдаваясь на волю случая и Бога, но всегда, как только самолет отрывается от полосы, не могу я не ощущать свою вырванность из земли, как растение с оголившимися корнями, не могу я избавиться от чувства беспомощности, являющегося от неспособности пользоваться данными природой приспособлениями для жизни. Мои крылья там, внизу. Эти несколько часов перелета из пункта А в пункт Б я не живу, а сохраняю способность к жизни, хотя и могу занять эти часы тем же, что и в

нормальных условиях, – чтением, обдумыванием, заметками «на полях», определенным итоживанием «земных» дел... Но все как-то подсеченно, без полного дыхания.

Эти – нет. Они чувствуют себя на высоте... как на высоте, для которой они созданы, они верят, что руки при необходимости способны вымахнуться в крылья, и тогда им удастся испытать еще более приятные мгновения, которых жаждет молодая душа.

Стюардессы вкатили в салон тележку и принялись быстро раскладывать перед нами тощие комковатые пакеты в хрустящей бумаге. Всего там и было: холодное вареное яйцо (без соли), две печенюшки, измазанные яблочным джемом, и пакетик с растворимым кофе. Одно утешение, что к кофе принесли кипяток, а не что-то такое, что напоминает собираемую с крыльев и едва подогретую наморозь. Но мы еще не знали, что этой малостью нам придется довольствоваться до Москвы, что Новосибирск, где происходит дозаправка, самолет заправит, а пассажирам откажет. Опять будет утешение: хорошо, что не наоборот. Наш брат, отдаваясь Аэрофлоту, только и делает, что радуется. Радует, что досталось место, что удалось попасть в туалет, что на десять минут из шести часов в воздухе выключили музыкальный рев, какого не держат и в аду, что перед трапом в клящий мороз или лютую жару держали не до смертного, а только до сердечного удара, что чемодан вернули годным еще для одной поездки.

Счастливые были времена! И каждый из нас, выходя в порту назначения, считал себя заново родившимся. Оттого и грустно расставаться с Аэрофлотом, что навсегда теперь мы лишаемся этих воскресительных радостей приземления, чудесным образом умевших превращать неприятности полета в забавные приключения.

Но пока мы летим... летим, протыкая небо птицеподобной стрелой, в полном чреве которой гулко и дробно бьется жизнь.

Обед был так непритязателен, что на него хватило пяти минут и на десерт осталось удивление, вместе с которым можно было поразмышлять о неровностях дорог, избираемых отечественной историей. Но и после этого меня ожидало вознаграждение: стюардесса предложила второй пакетик с кофе и подлила кипятку. Закуска раздражила аппетит, а кофе притупил. Очевидно, еще лучше он притупляется табаком. Зачадили, зачадили уже открыто, намешивая, нагушая «атмосферу», превращая ее в клубящуюся облачность, забивающую дыхание. Вспомнилась фраза Толстого: «...поощряя пищеварение курением сигареты». Для «поощрения» врубили еще музыку, способную дробить камни. Я прежде запасался затычками для ушей – не помогает, децибелы, как рентгеновские лучи, проникают сквозь любую оболочку. Но прежде до такого громоподобна и не доходило. Неужели все это способно оставаться внутри самолета и не выплескивается наружу – разорвет же! На этот раз не я, а женщина рядом со мной придерживала стюардессу: нельзя ли потише? «Нельзя, требуют еще громче». – «А что – можно еще громче?» – удивился я. «Нельзя», – как будто понимающе вздохнула стюардесса.

Игра в карты продолжалась – все с тем же стуком и распалющимися вскриками. Игроки достали вторую бутылку водки. Все было выброшено за борт – и «не курить», и «не распивать». И как быстро: три месяца назад еще поддерживалось, теперь – рухнуло окончательно. Крайний к проходу парень, джинсовый костюм на котором только подчеркивал порочные манеры, в такт музыке и игре, вскрикивая, выплясывал в кресле какой-то уж очень отчаянный танец. Сидевший за ним, с оббитыми коленками, терпел. Игра «поощрялась» матом. Отставник, мучающийся за жену, вмешался – его в три глотки тем же словом одернули; жена торопливо и испуганно принялась удерживать: не надо, не надо, успокойся. Он закрыл глаза.

Закрыл глаза вслед за ним и я. Должно быть, для соседей моих, возвращающихся в Ригу, вопрос решен: России нет. Искать пристанища по кровному родству негде. Там глухая нелюбовь, подчеркнутая, рассчитанная, там люди решительно разошлись на «своих» и «чужих» и «свои» выживают чужаков по племенному неприятию; здесь – разгул нравов, выплеснувшихся со дна. Там расистское, десятилетиями лелеемое «я хозяин», которому выпал случай показать себя во всей красе своего самолюбия; здесь «я хозяин» – от социального пиратства, захватив-

шего дрейфующее государство, от «паханства», выпущенного на волю и получившего простор для утверждения своих законов, по которым людской мир состоит из своих, «воров» и предателей, «сук». Последние ничего другого не заслуживают, кроме презрения и смерти. И как там узнают друг друга кожей, так и здесь свой всегда отличит своего и вместе они сойдутся, чтобы явить право сильного.

Наступил праздник воли, грянуло неслыханное торжество всего, что прежде находилось под стражей нравственных правил, – и тотчас открыто объявило себя предводителем жизни таившееся в человеке дикобразе, тотчас выступило оно вперед и повелительно подало знак, до того понятный только в узком кругу... Как в заброшенной деревне: едва лишь оставят ее, сразу наползает колючий густой кустарник, заполняя улицы, сразу до крыш вымахивает крапива, лезет в разверстые окна и двери, тянется из-под полов, семенится в протрухлявшем дереве амбаров и стоек. И ветры хлещут обезлюдившие дворы особенно нещадно, и дожди секут без меры, и река, кормилица-поилица, к которой приникала деревня за милостью сотни лет, выгрызает, ако хищник, берег... Что деревни! – города, огромные, богатые, камнем нетленным глубоко в землю вбитые и высоко в небо вздетые, дивной красой изукрашенные, бывшие столыными в своих государствах, на весь мир гремевшие, – и города зарастают лесами, заносятся песками, превращаются в одну могучую развалину былого могущества, как только отступает человек... Прежде отступает от правил, от установлений, крепящих нравственный порядок жизни, а уж после – спасаясь от воспламенившегося окаянства сограждан. Так же погибали государства, цивилизации. Существует свой пошив любой человеческой организации, будь то национальное государство или межэтническое поселение где-нибудь в Сибири или на Балканах, создаваемых с нравственными целями. Как только целью пренебрегают, швы расходятся...

Россия есть... Как бы сказать соседям, не обидев их вмешательством, что есть она, да только опять на вздыбах, как на дыбе, с вывернутыми руками. С Петра повелось и все не кончится, что пуще иноземного нашествия терзают ее собственные великие преобразователи, борющиеся с отсталостью. Из какой-то выцеленной, вытруженной магическим трудом, сквозь времена хранимой утробы рождаются они, с каким-то необъяснимым везением подвигаются к цели, пролезая и сквозь игольное ушко... И вот снова в сиянии, в славе, приветствуемый народом как спаситель, объявивший, что он выведет многострадальный народ из плена египетского, вернет его к обетованной жизни, освободит от физических и духовных теснений, – снова Он, и по его дерзкому призыву собираются люди со всех имен, больших и малых, российских владений на «подвиг спасения», оставляют труды и заботы, связанные с «проклятым прошлым», недосеянные поля, недостроенные дома и недокормленных детей... Жаждающими обновления тысячами тысяч сгруживаются на один край, а за другой, освободившийся, цепляют крепкими тросами и начинают накручивать на барабаны, отрывая от вековой сращенности. Тросы натягиваются, звенят, вспыхивают кисточками разорванных нитей – и взлетают в воздух с оборванными глыбами задираемого земного поля. Снова цепляют за него мощные тяги, закрепляют надежней и снова начинают накручивать еще яростней. Треск, стон, вздохи разрываемого тела, обнажившаяся плоть, открывшиеся гробы, спадающие с подножья отрываемой платформы, – и все же она ползет, поднимается, она все выше и выше... «Что вы делаете?! – кричат одни с нее. – Ведь мы же свалимся, уьемся, все настроенное сорвется и побьется в черепки!.. Как можно?! Прекратите!» – <Дд сгинет тьма египетская, в которой мы влачили жалкое существование, – отвечают другие, накручивая. – Да здравствует цивилизованная жизнь!»

Все выше и выше задирают – и вот уж на ребре Россия, с ободранными кровотокающими краями... Теперь развернуть и уронить, нагретым в испод. Валится, валится с нее нажить, личная и общественная, вся вековая обстановка, сползают лесные рощи, выплескиваются реки, из шахт глубоких, с гор высоких летят камни. Что не удержалось, то и не нужно, обойдемся. Разбившиеся – разбились, оставшиеся в живых – затаились. Государство переворачивают – не

щепки, а века истории прочь летят. И, развернув, примерившись, – хлоп на место, оборванным наверх. Все – возврата к старому нет, освободились. «Но как тут жить? – очнувшись, робко и недоуменно спрашивают наконец и потрудившиеся во имя оборотной России. – Тут же ничего не осталось... одна пустыня».

Преобразователь утомленно и презрительно улыбается. Он свое дело сделал. Подобно Моисею, он вырвал народ из-под власти фараоновой, но для этого пришлось вырвать его из родной земли и отправить в пустыню, пообещав после недолгих и нетрудных скитаний возвращение обратно, в преображенные и плодоносные Палестины. Надо было действовать решительно, дабы напомнить о пленении, зарастающем травой забвения, – и только он годился для таких действий, он был избран и наставлен, как заставить народ служить ему. Пустыня... По книге судеб и должна быть пустыня. Они, пошедшие за ним, еще не ведают, через какие стечения им придется пройти и какие фараоны будут искать их служения.

Перевернули – и все нижнее, потаенное, скрытое оказалось наверху. И наоборот. Надзиратели и камерники побратались, сделавшись учителями, и из ущелий человеческого духа вынесли свои нравы для общего пользования. Никакая революция, кем бы она ни затевалась, не может обойтись без того, чтобы ее не подхватили темные души и не превратили в свою собственность.

Что спрашивать с молодости, которую окунули в этот порядок, выдав его за воскрешающую купель, за благодатную ростепель после ледникового периода, под солнцем которой заиграла жизнь?! Не может не понимать молодость, что не ей гулять в тех райских кущах, что взращиваются торопливо с ее помощью среди попущений и разрушений, и что не она будет наследовать собственность, в которую, как строительный материал, вгоняется Россия. Но жажда сверкнуть, сыграть в жизни, урвать свой куш среди всеобщего растаскивания, превратиться во что угодно – в бабочку-однодневку, в жука навозного, в любого паразита с крыльями, но мелькнуть среди роскоши садов эдемовых, – жажда эта сильней, и ею лихорадочно стучит сердце, перегоняя слепую кровь. Что спрашивать с нее, если на глазах она перерождается в вид, не подлежащий спросу?

Я очнулся от «объяснений». Соседка спала, склонив голову на плечо мужа, и он, боясь потревожить ее, сидел неподвижно, уставив перед собой все так же обьятые болью глаза. Картежники продолжали развлекаться, тасуя то карты, то пластмассовые стаканчики. Музыка взяла короткий перерыв. Мы подлетали, при снижении она снова нас развлечет. В салоне стоял тот плотный и ровный сильный гул, соревнующийся с шумом мотора, из которого никакому отдельному звуку не выплеснуться. Мы сидели в нем, как камешки на дне мощного круговорота, оно ударялось в нас, оглохших и одновременно звучащих, подхватывало наши голоса, наполнялось, накалялось и кружило еще гульней. Впереди меня молодой человек, за полтора часа ни разу не напомнивший о себе неприятно, продолжал читать учебник по маркетингу. Странно, однако же, почему мне неинтересно знать, что такое маркетинг. Что-то из основ новой жизни... Не мое, меня от этой жизни уже отбило. Правила специальных движений для достижения успеха, для которого я не гожусь...

Да, включили, загрохотало с поднымами опять. Наш птицеподобный с поднырами пошел на посадку.

В Новосибирске, сходя под холодный порывистый ветер, секущий снежинками, я вдруг заблудился: что сейчас – весна или осень? Сошел снег или еще не нашел, последний или первый под ветром? С полминуты искал, пока не вспомнил с одуревшей в полетной «атмосфере» головы: октябрь, последняя декада, предзимье. До зимы еще месяц, но в эту пору она обычно и напоминает о себе на оголенной земле особенно гулко и зло. Скатываясь с трапа, мы невольно вжимались в один круг, запахиваясь, обдергиваясь, прячась друг за друга, беспомощно выглядывая автобус, должный отвезти нас под стены аэровокзала. Автобус не торопился.

Зато в аэровокзале, всегда, при всех порядках и ценах забитом необъятными узлами беспрочно, нас поторопились вытолкать обратно. Только втиснулись – объявляют посадку. По опыту нетрудно было догадаться, что соберут и на добрый час забудут в «накопителе» – так называется загон перед выходом на летное поле, в них я провел в общей сложности, наверное, с полгода, подпирая стены, когда они доставались, или по-братски поталкиваясь плечами с подобными себе. Но пришлось идти, рейс наш окликали снова и снова. И в «накопителе» держать не стали, а сразу вывели под ветер. И только здесь забыли.

Ветер задувал еще злей, поднимая в воздух сухие листья, и еще сильнее сек острым, как песок, мелким снегом. По полю несло мусор, над головами хлестало оборванным полотнищем старого призыва, нещадно трепало и нас. Прошло пятнадцать, двадцать минут, прошло полчаса. Молодежь, чтобы согреться, принялась поталкиваться, поругиваться, сначала между собой, между знакомыми, затем все чаще задевая и задирая всех подряд. Отсюда и «накопитель» казался раем. Мы, разночинные, какие-то домашние, штучные в сравнении с отборной вольницей, сбились в отдельную группу, совсем, как подтвердилось, невеликую.

А там, в главной группе, нашли занятие, превратившееся в открытие, которое увлекло всех и которое только в этой обстановке под ветром и снегом и могло родиться. Поставили под ноги маленькую, из-под «пепси» бутылку с узким горлышком и принялись целить в горлышко плевками. Ветер относил, разбрызгивал, набрасывал на одежду – увертывались, отскакивали, показывая ловкость, налетали друг на друга, азартно и односложно «делились впечатлениями»... С подветренной стороны образовался коридор из двух очередей, рвущихся к бутылке, были там и женщины, вскрикивающие пронзительно, по-заячьи. Неудачника в несколько рук выталкивали, он забегал в хвост очереди и начинал нажимать на передних. Быстро явилась организация, объявлены были правила, не упустившие, как оказалось, и вознаграждение.

Мы невольно вжали в себя головы, когда единым мощным духом раздался взрев. Кто-то поразил цель, в самое горлышко. Его чуть не растерзали от чувств – как в футболе или хоккее. Бутылка в суматохе брякнула, покатила из кучи-малы – ее бросились спасать, обласкали, вытерли носовым платком, вычертили для нее круг, но игру продолжили лишь после того, как с каждого в пользу «снайпера» собрали по сто рублей. Это сейчас они с копеечку, а тогда кое-что значили. Удача подогрела: срочно опорожняли вторую бутылку, из-под водки, и организовывали вторую команду.

Должно быть, эта игра с тех пор распространилась, не знаю. Судя по тому, с каким восторгом она была встречена, она не могла быть забыта. Сейчас много новых забав, под вкус и страсть нынешнего человека, до которых прежняя фантазия не доходила. Возможно, для нее, для этой игры с бутылочкой, родившейся на моих глазах в новосибирском аэропорту, создан теперь особый центр, как Монте-Карло для рулетки, вычерчены и крашеным песочком посыпаны поля, как в гольфе, бутылочку из-под «пепси» заменила другая, специальной конструкции с радужным стеклом и золотым ободком, подведено электричество для ветродуя, правила усовершенствованы, ставки подняты, налажено производство продукта для красивого и обильного слюновыделения – и ездят на нее в часы досуга члены правительства. Все может быть. Разве не слышали мы о распространившейся по России среди молодого поколения традиции – разбрасывать во время свадебного выезда по-царски деньги в людных местах, наслаждаясь давкой и криками. Я наблюдал, как перед старушкой, семенящей по скверу в поисках заброшенной бутылки, подкладывали крупную купюру, а когда старушка нагибалась за нею – бросались разоблачать и стыдить.

Много чему мы невольные очевидцы... Или это только и всего лишь мелочи жизни, не достойные внимания? – и через год, через два мы увидим новые сцены, куда более изобретательные, а эти забудутся. И, как в несмытых плевательницах, высохнут они корочкой, не достойной взгляда.

Мы проторчали на ветру не менее часа. А когда наконец бегом взбежали по трапу в непродуваемое чрево самолета и нас встретила музыка, мы обрадовались ей так, будто это сама удача посылает нам свои ласковые звуки. И когда неутомимое общество, согреваясь под бульканье опоражниваемых «снарядов» для новой игры, принялось подпевать – все нам было нипочем. Если даже продолжат игру на борту. Мы взлетали, вознося в небеса:

Бух-бах, тара-ра-ра-рах!
Тара-ра-ра-ра, тара-ра-рах!

...До Москвы оставалось четыре часа.
<1995>

В больнице

На третью неделю после выписки с операции Алексей Петрович Носов почувствовал себя совсем плохо. Шла кровь, лекарства не помогали, он спустил ее в унитаз, должно быть, с полведра. Поликлиники Носов избегал, не зная, примут ли его в старой, которой он пользовался несколько лет с тех пор, как переехал в Москву, ибо с переменой власти и отменой персональных пенсий поликлиника перешла на обслуживание нового начальства и на платное для богачей. А от старого смещенного начальства освобождалась. В том числе и от пенсионеров. Поэтому и тянул Алексей Петрович: в районную поликлинику он не успел перебраться, да и, признаться, боялся ее, а в прежней не хотел натолкнуться на неприятное: простите, вас у нас нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.